

P2

A 65

1951

Александр Андреев



Широкое ТЕЧЕНИЕ

Трудрезервиздат · 1955

Цена 6 руб. 30 коп.

P2
A 65

Александр Андреев

Внесено
в каталог

Широкое ТЕЧЕНИЕ

28601

Ленинская библиотека
Лен. отдел
Радиоинформации

8

ВСЕСОЮЗНОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ
МОСКВА 1955

79

Внесено
в каталог

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр |
|---------------------------|-----|
| Глава первая | 3 |
| Глава вторая | 56 |
| Глава третья | 92 |
| Глава четвертая | 119 |
| Глава пятая | 166 |
| Глава шестая | 222 |
| Глава седьмая | 275 |
| Вместо эпилога | 294 |



Глава первая

1

В синем и теплом небе над заводом грудились густые белые дымы, медленно сваливаясь в сторону, за Москву-реку. Молодые липы вдоль улицы зеленели свежо и дерзко, — осень запаздывала.

Но вот октябрьские ночи дохнули обжигающим холодом, и деревья, точно факелы, зажглись текучим оранжевым огнем. Налетавший ветер изредка встряхивал их, и тогда в воздухе тихо шелестел листопад.

Желтый лист, влетев в окно, скользнул по крашеным половицам и застыл в квадрате солнечного света, напоминая о золотом осеннем полдне.

— Скоро день кончится, Гришоня, а ты все возишься, — с упреком проговорил Антон Карнилин. Он стоял перед зеркалом — одна нога в ботинке, другая — на газете, в носке — и с озабоченным видом примерял новую шляпу, то прямо ее посадит, то накренит на правый бок, то надвинет на брови, а широкие поля то опустит, то загнет: видеть себя в шляпе было непривычно и немного смешно — он надевал ее впервые.

— Ты, смотри, долго не разгуливай, — услышал он в ответ. — Фома Прохорович наказывал, чтобы мы за во-

Автор *Андреев Александр Дмитриевич*
Редактор *Быкова И. В.* Техн. редактор *Крыночкина К. В.*
Художественный редактор *Родина К. И.*
Оформление художника *Соловьева Е. П.*

Л-122449. Сдано в набор 20/1-1955 г. Подп. к печ. 2/11 1955 г.
Бумага 84×108¹/₂—4,687 бум. л.=15,38 п. л. В 1 п. л. 41 600 зн.
Тираж 75000. Уч.-изд. л. 16,01 Уч. № 14/2299. Цена 6 р. 30 к.

Тип. Трудрезервиздата. Москва, Хохловский пер., 7. Заказ 72.

скресенье отдохнули вдосталь: завтрашний день потянет из нас силенок, а в особенности из тебя...

— Эх, ты! Да у меня ее, силы-то, на троих, а если разозлить, так и на пятерых наберется, честное слово. Мы такое выдадим, что все ахнут, — только успевай подсчитывать!

Утвердив, наконец, шляпу, Антон порывисто, на одной ноге, повернулся и нетерпеливо воскликнул:

— Долго ты еще будешь возиться? Эх, сапожник! За это время новые сапоги можно сшить.

Гришоня Курёнков, узкоплечий и смешливый парень с длинным птичьим носом, яркосиними младенческими глазами, окруженными игольчато-острыми белесыми ресницами, сидел на поваленном табурете и, зажав между коленями полуботинок, привинчивал к каблуку железную подковку. Приподняв голову, он взглянул на Антона, и лицо его удивленно вытянулось, брови цвета спелого колоса поползли вверх, рот приоткрылся, а молоток, занесенный для удара, застыл на уровне виска.

— Эх, да ты красивый, Антошка! — вымолвил он сокрушенным шопотом. — Гляди-ка... А я-то считал, что ты вроде меня, вахлак вахлаком. Подумать только, что может сделать с портретом хорошая рама! Ай-яй-яй! — И вдруг, откинувшись, тоненько засмеялся. — Теперь тебя можно выставить за стекло для обозрения. Оч-чень интересно! Повернись-ка...

— Ну, ну, — хмуро предупредил Антон, тщетно силясь сердито свести брови; статный, в непривычно красивой одежде, смущенный замечанием товарища, он скованно стоял посреди комнаты, и юношески чистое, немного широкоскулое лицо его выражало торжество; в улыбке по-мужски большого рта таилось что-то простоватое и лукавое.

— Будь другом, пройдишь, — просил Гришоня, влюбленно глядя на приятеля. — Тебе все равно, а мне забава... Все красиво, Антоша, только узел у галстука торчит под подбородком вроде кулака — великоват; да шляпу надо вот так, на бровь.

— Ладно, отдай ботинок! — Антон рассердился и шагнул к Гришоне, по-балетному ступая необутой ногой. — Тебя, видно, не дожدهшься. Прохожу без подковы...

— Еще один шуруп.

Гришоня схватил ботинок, ловко наколол шилом дырку в каблуке, наставил шуруп, пристукнул молотком, завернул отверткой, и ботинок был готов.

— Будьте любезны, поднимите ножку...

Завязав шнурки, Антон выпрямился и с беспокойством взглянул на часы.

— Где вы встретитесь? — любопытствовал Гришоня, словно коня, ласково поглаживая и похлопывая Антона по спине.

— В Александровском саду.

— Уютное местечко, — похвалил Гришоня. — Она тебя, пожалуй, и не узнает, Люся-то твоя.

Антону приятно было слышать слово «твоя», и чтобы скрыть появившийся румянец, он заторопился:

— Пойду пройдушь пешочком...

— Как пешочком? — испуганно спросил Гришоня и с серьезным видом пошарил у Антона за плечами. — А где же твои крылья? Я слышал, влюбленные на свидание на крыльях летят. — И заключил: — А теперь, если отгадаешь загадку — все сбудется: сидят три кошки, против каждой кошки — две кошки, сколько всех кошек? Скорей!

— Три, — ответил Антон.

— Правильно! — радостно воскликнул Гришоня. — Можешь следовать!

Антон рассмеялся и двинулся к выходу, наказав:

— Комнату прибири, дверь не запирай.

— Будет исполнено. Адю! Помахай мне ручкой на прощанье, — изысканно раскланиваясь, провожал Гришоня друга, и брови его блестели в солнечном луче, как серебряные. — Куда пойдете — на случай, если придется разыскивать?

— Москва большая, не найдешь, — ответил Антон уклончиво.

Он спустился по лестнице, минуту постоял у подъезда, потрогал шляпу, как бы проверяя, на месте ли она, и направился к метро. Идти было легко, шаги против его воли убыстрялись, полы плаща разлетались в стороны, а в груди, нарастая с каждой минутой, что-то ликующе пело, смеялось...

Молодые липы роняли листву, от мотылькового трепетанья листьев перед глазами день казался сказочно-пестрым, шелестящим. Вдалеке вставала над крышами зда-

ний батарея труб; из одного ствола вытекала жиденькая струя дыма, розовая на фоне предзакатного солнца, а еще дальше, за трубами, клубились, бродили по-весеннему грозовые облака.

Антону было жарко, хотелось снять шляпу, непривычно сковывавшую лоб, сбросить плащ и развязать галстук. Но он терпел. Вспомнив вопрос Гришони: «Куда пойдете?», он усмехнулся: не все ли равно — куда, лишь бы быть рядом с ней, смотреть на нее, не отрываясь, и видеть, как она медленно и смущенно опускает ресницы под его пристальным взглядом. Можно опять прокатиться на пароходе по Москве-реке до Парка культуры и отдыха, побродить по Нескучному саду, забраться в кабину «чортова колеса». Люся наверняка трусиха, как все женщины, и будет визжать и хвататься за его плечо, когда они начнут взлетать вверх...

Спустившись в метро, Антон доехал до площади Революции, взбежал по эскалатору, прошел мимо Музея Ленина, ловко лавируя среди скатывающихся с Красной площади машин, задевая полами плаща за их лакированные крылья, пересек улицу и с радостью бьющимся сердцем прошел сквозь тяжелые чугунные ворота сада.

Но как только он, очутившись за оградой, взглянул в сумрачную глубину на старые липы, на покорно падающие листья, на запутавшиеся в ветвях крупные шары фонарей, уже налитые белым светом, на серый гранитный обелиск, на осенние цветы в клумбах и на одинокую несмелую звезду в зеленоватом высоком небе, его вдруг насквозь прожгла острая и беспощадная мысль: Люся не придет, хотя шести еще не было. Сердце его как будто на минуту остановилось. Он крепко зажмурил глаза, как от внезапной боли, потом, повернувшись к обелиску, стал машинально читать высеченные на нем имена, — прочитывал и начинал сызнова.

Сквозь ветви и переплетения ограды видно было, как проносились мимо манежа, вылетая на площадь, легковые автомобили, троллейбусы с освещенными окнами...

Антон прошелся по дорожке в глубину сада.

В тени, прикрытая низко опущенными ветвями, как под зонтом, сидела на скамейке парочка: голова девушки склонена, пряди волос, свисая, закрывали одну щеку, руки кинуты вдоль колен; парень сидел на скамейке боком, лицом к ней и говорил что-то горячим шепотом, нежи-

данно и резко взмахивая рукой, а она как бы зачеркивала его слова сомнительным покачиванием головы; наконец он рванулся и встал, широким жестом перекинул через плечо плащ, должно быть собираясь уйти; она усмехнулась, и в мягком грудном голосе ее послышалась власть:

— Сядь. Успокойся...

Парень послушно сел и опять начал говорить что-то приглушенно, торопливо и обиженно.

Антону очень хотелось сейчас услышать такие же повелительные и в то же время мягкие и ласковые слова от Люси. Ему казалось, что он сейчас обернется и увидит ее, идущую к нему навстречу, доверчивую и легкую, как птица. Чутко прислушиваясь, он как будто слышал сзади ее шаги, а повернувшись, увидел лишь пустую тропинку и где-то в отдалении пожилую женщину, тихо бредущую с палочкой в руках.

Какими мерами измеряют ожидания влюбленных? Порой часы пролетают, как мгновения, иногда же минуты кажутся вечностью.

Антон ждал час, быть может два, страдая от одиночества и тоски. Потом он решительно вышел из сада. Не слыша сигналов машин, пробежал в вестибюль метро к автомату. Молодая женщина, выписывая пальцем вензеля на стекле, улыбаясь большим накрашенным ртом, разговаривала по телефону, глядела на Антона странным невидящим взглядом. Охваченный нетерпением, он постучал в стекло монетой, женщина отвернулась, выставив тугой пучок из-под шляпки. Он постучал еще раз, и она, распахнув дверцу и все так же счастливо улыбаясь, вышла из кабины, обдала Антона волной духов, спустилась вниз, дробно стуча каблуками по ступенькам лестницы.

Антон набрал номер и стал прислушиваться, туго прижав к уху трубку, и вскоре до него долетел произнесенный ровным женским голосом вопрос:

— Вам кого?

Он назвал себя и попросил Люсю. Последовала небольшая пауза, как будто женщина сговаривалась с кем-то, что ответить, и неуверенно промолвила, что Люси дома нет, а ему в это время как бы послышался знакомый ее смех; этот смех вызвал в нем огорченное недоумение, а затем вопрос: «Значит, обманула?»

Выйдя из кабины, он направился к Люсе домой, чтобы увидеть ее, спросить, зачем она так поступила? Не хотела приходить, так не обещала бы, насильно ее не тянули, сама согласилась, а предмет для своих насмешек пусть поищет другой.

Поднявшись на третий этаж, Антон позвонил. Дверь открыла мать Люси, Надежда Павловна, полная, еще не старая женщина в пенсне; сквозь четырехугольные стекла их вопросительно смотрели на него ласковые глаза.

— Где Люся, мне надо ее видеть, — сказал Антон, шагнув в переднюю. — Здравствуйте.

— Это вы только что звонили? — Он кивнул. — Вам уже было сказано, что ее нет дома. Зачем же приходить... утруждать себя?

— А где она?

— Она... приглашена на вечер, — не сразу ответила Надежда Павловна и, обратив внимание на его побледневшее лицо, на большие глаза, вопросительно устремленные на нее, пояснила уже мягче, участливее: — Вы, кажется, у мужа в цехе работаете? Знаете Костю Антипова, технолога? Он получил орден и по этому случаю пригласил гостей. Мы с мужем отказались, а Людмила пошла. Она ведь любит общество...

Антон снял шляпу, провел рукой по вспотевшему лбу, по глазам и, не проронив ни слова, повернулся и вышел.

Очнулся он на углу улицы, когда кто-то толкнул его и пробормотал извинения. Небо было обложено тучами, начинался ветер. Вокруг, в отсветах фонарей, спешили люди, пронеслись автомобили... Это безостановочное движение, как бы пробудив его, вызвало противоречивые, терзающие желания: хотелось скрыться от шума, огней, суеты, очутиться в тихой своей комнате одному, собраться с мыслями, успокоиться и в то же время тянуло в суматоху этой вечерней улицы, где можно затеряться в толпе, завертеться, забыть себя. Решение пришло внезапно, непреклонное и неотвратимое. Он не отдаст Люсю технологу Антипову, этому красавцу с вкрадчивым голосом и масляными, приутюженными к черепу волосами, разделенными тонкой ниточкой пробора. То-то этот Антипов неотступно увивался около нее на вечере во Дворце культуры, шептал что-то на ухо, улыбался!.. Он спросит и ее, как может она обманывать, как может лгать!..

Остановив такси, Антон сел и назвал адрес. У подъезда попросил шофера подождать и быстро взбежал на второй этаж.

Коридор был пуст. Среди гула голосов за дверью он различил звонкий Люсин смех. С минуту он колебался: войти или вернуться назад? Но смех этот жег и возбуждал, заставляя обо всем забыть... Антон рванул дверь и вошел.

В лицо плеснулся слепящий свет. Длинный, во всю комнату, стол был заставлен бутылками и разной посудой с угощениями. На мгновение взгляд Антона остановился на тарелке с селедкой: на одном краю хвост, на другом — голова с пучочком зеленого лука во рту, а середина — пустая. Странное состояние тревоги и отчаяния испытывал он в этот момент — состояние человека, идущего напропалую.

Сидевшие за столом смолкли, с недоумением глядя на парня. Может быть, он тоже приглашен хозяином, опоздал и вот влетел к ним. Но что-то уж слишком напористый и возбужденный вид был у гостя...

Антон увидел здесь многих своих знакомых. В дальнем конце стола утопал в мягком кресле старший мастер Василий Тимофеевич Самылкин, полный, распаренно-красный, с каплями пота на бритой голове. При появлении Антона он завозился в кресле, хмыкнул и как будто с восторгом сказал вполголоса: «Вот так гусь! Что это он, с ума спятил? Гляди... гляди...». Рядом с ним сидел и лукаво щурил синие глаза Алексей Кузьмич Фирсонов, парторг цеха, с женой Елизаветой Дмитриевной, крупной женщиной с косами, красиво уложенными высокой грядой.

«Кажется, назревает какая-то драма, — отметил Фирсонов. — Должно быть, произошло что-то серьезное...».

Антон, косясь на него, подумал с тоской: «Эх, зря пришел!.. Завтра вызовет, начнет нотации читать. Вернуться разве?.. Нет, будь что будет. Отступать поздно».

Тут же были Олег Дарбин и секретарь цеховой комсомольской организации Володя Безводов. В первый момент Володя решил остановить Антона, предупредить; он даже привстал, намереваясь подойти к нему, но тут же сел, — знал характер Антона, который пойдет на все и кончит все этой ссорой.

Находился тут и старший конструктор Иван Матвеевич Семиёнов, удивленно вытянувшийся, строгий, осуждающий: «Странная пошла молодежь: чувства большие, горячие, необузданные, а умишко крохотный. Вот и хлестывает... Любопытно». Слева от него сидела Таня Оленина, совсем юная женщина; она глядела на вошедшего, на его упрямо и как-то обреченно склоненную голову тревожно, непонимающе, даже немного испуганно.

Но Антон никого уже не замечал, кроме Люси, тоненькой, хрупкой девушки в пестром платье, с обнаженными руками. Он не отрывал взгляда от ее лица, украшенного зазорными ямочками на щеках, необычайно живыми глазами, чуть приподнятыми к вискам, капризно и озорно вздернутым носиком и крупными локонами до плеч. Застыгнувшая врасплох, она встревоженно огляделась, как бы прося защиты: «Почему все молчат? Что он хочет сделать? Что подумают? Решат, что у меня с ним какие-то отношения... Да я знать-то его не знаю. Ну, встретились раза два. Ну, вырвалось слово. Нельзя же принимать все за чистую монету. Завтра всем будет известно... Дойдет и до отца. Вот будет дело!.. Да и от матери влетит. Как он нашел меня здесь? Нет, какая дерзость! Какое хамство! И все почему-то молчат. Его надо прогнать. Впрочем, все равно всем ясно, что он пришел ко мне», — согласилась Люся, но сделала вид, будто все это ее не касается и Антон пришел не к ней. Она склонила голову над тарелкой, ей хотелось скрыться от его взгляда.

Но Антон настойчиво смотрел на нее. «Так вот ты какая!.. Глаза прячешь, боишься... Обещала свидание одному, а пришла к другому. И к кому? К этому... с проборм...». Он медленно перевел взгляд на Антипова.

Тот сидел бледный, растерянный, не понимая толком, что тут происходит. «Зачем пришел этот парень? — спрашивал он себя. — Что ему нужно? Неужели за Люсей? Вероятно, раз он так на нее уставился. Как она неосторожна! И как далеко может зайти в своем кокетстве... Может, пригласить его за стол, чтобы не подымать шума? Нет, это невозможно, это уж слишком, это равно капитуляции перед грубой силой. Его надо проучить, наглеца! Встать и выставить за дверь. А если не уйдет?.. Скандал! Нет, я ему сейчас скажу, чтобы он немедленно убирался! Все ждут моих действий. Что же я, в самом

деле, не могу защитить себя в собственном доме?..». Антипов встал навстречу Антону.

2

В конце войны, весной, три товарища — Володя Безводов, Олег Дарьин и Антон Карнилин — окончили ремесленное училище в маленьком приволжском городке. Самостоятельная жизнь их началась с томительного ожидания: куда пошлют на работу? По вечерам в общежитии среди ребят разгорались жаркие споры: одни уверяли, что всех выпускников увезут на Урал и там поставят на самые важные участки — работай, достигай вершин; другие рвались на Горьковский автозавод; третьи — на восстановление Сталинграда; четвертые соглашались ехать в любой город, лишь бы на крупный завод.

Чтобы не терзать себя бесплодными гаданьями, товарищи уходили на берег Волги, бродили там по сырому скрипучему песку у воды или садились на обрыве под старой ивой, мечтательным взглядом провожали пароходы, заманчиво сверкающие в ночи огнями, молчали, а если и говорили, то все о том же — куда все-таки придется ехать.

В глубине души Антон мечтал о Москве, но мечта эта казалась ему несбыточной, — еще ни одного человека из училища не послали в столицу. А попасть туда ему хотелось...

За два года учебы сильные и разные по своему нраву ребята сдружились. Володя Безводов был душой группы кузнецов, комсомольским вожаком; разговаривая, он беспрестанно тер ладонью — со лба к затылку — свои черные волосы, приучая их к новой прическе, и оттого они, короткие и жесткие, стояли сердитым дыбом. Олег Дарьин, невысокий, резкий, заносчивый, с неугасимой и злой искрой в светлых глазах, тайне завидовал Антону Карнилину, вспыльчивому и неуступчивому парню, крепкого сложения, который по праву считался лучшим кузнецом в группе. Между ними никогда не прекращалась молчаливая и упорная борьба за первенство: мастер предсказывал им обоим большое будущее.

С искренней верой убеждали они себя и друг друга, что никогда не расстанутся, чтобы с ними ни произошло. Но вскоре дружба их нарушилась неожиданно и горько. Антона, как наиболее сильного из кузнецов, оставили на

местном заводике «Труд», а Безводова и Дарьина с группой слесарей, токарей и кузнецов увез с собой в столицу представитель одного из московских заводов.

Они так поспешно укатили, что не успели попрощаться с приятелем, и когда Антон, встретив мастера, узнал об этом, то с минуту оцепенело стоял перед стариком, потом сорвался с места, метнулся на берег Волги и там, уткнувшись лбом в шершавый ствол ивы, заплакал от обиды, зависти и одиночества, точно друзья предали его самым коварным образом.

Три года работал Антон терпеливо и с каким-то ожесточением. Война давно окончилась. Где-то за стенами завода, — он это чувствовал, — широко и бурно текла жизнь, полная трудового героизма и славы, а он ковал здесь, в крохотном цехе, на старых захудалых молотах столовые ножи и вилки. Конечно, и без вилок людям не обойтись..., но все-таки молодые силы требовали чего-то большего, масштабного...

Два раза Антон писал друзьям в Москву, но точного адреса он не знал, писал просто на завод, и письма возвращались назад.

А за это время появились новые знакомства, интересы, привязанности. У заводских ворот, на Доске почета, в ряду других передовых рабочих висел и его портрет... Но стремление в Москву не проходило, тлело где-то внутри, приглушенное каждодневными заботами, и ждало случая, чтобы вспыхнуть и охватить его со всей силой.

Как-то раз в мартовский синий вечер, когда мороз, крепчая к ночи, глушил веселый звон капели, Антон выбрался в кино. Как только в зале погас свет и, сопровождаемые торжественным голосом диктора, замелькали в темноте кадры кинохроники, он вдруг вскочил и всполошенно, на весь зал закричал, перекрывая звуки музыки: «Олег!» — он увидел Дарьина.

На него зашикали, и он медленно сел, ошеломленный внезапной встречей с бывшим «ремесленником». Олег был снят у молота, штампуящим детали, затем в техническом кабинете Дворца культуры среди рабочих, с которыми он делился опытом: держал в руках поковку и объяснял им что-то. В заключение было показано крупное, во весь экран лицо Олега. Гордый, неукротимый огонь в отчаянных глазах потряс Антона. После хроники мелькали кадры кинокартины. Но он уже ничего не понимал

толком и не заметил, как окончился сеанс. Мимо, задев за коленки, боком пролезали люди, зал быстро опустел, свет потух, а он все сидел, не двигаясь, как в забытии. Уборщица, подойдя к нему и тронув за плечо, проворчала с беззлобным материнским укором:

— Вот так всегда: напьются да идут в кино спать. Эй, парень!..

Хоронясь в тени домов, долго бродил Антон по тихим, залитым лунным светом улочкам сонного городка, выходил на берег, под иву, слушал нежный свист ветра в голых ветвях, тяжкие вздохи и глухой треск льда на реке, затем вернулся домой и сел за письмо, позабыв, что когда-то недолюбливал Дарьина за гонор и чрезмерное самомнение.

«Здравствуй, уважаемый друг Олег! Пишет Вам Антон Карнилин, с которым Вы вместе учились в ремесленном училище № 9. Только что просмотрел кино, где тебя показывали как лучшего кузнеца, и хочу тебе сказать, что ты здорово, видно, прославился... Теперь, друг Олег, хочу описать тебе свою жизнь... С завода «Труд» я ушел — не поладил с начальством. Характер у меня, сам знаешь, какой... Устроился в Промкомбинат слесарем-наладчиком станочных станков. Оборудование здесь кустарное, а директора дольше полугода не задерживаются. Вот и работай тут... Да, Олег, ты достиг своей цели, ты при большом деле. А я тут выделываю жестяные украшения для кроватей, по-нашему «давочки», пряжки к дамским резинкам, кастрюли да наперстки. — И подумал, улыбнувшись: «Мне бы попасть в тот цех, где ты стоишь, я бы тоже кое-что смог...» — Если выпадет свободная минутка, черкани пару слов приветом, если не забудь, конечно, не загордился. Ну, до свидания. Желаю Вам успеха в Вашей повседневной трудовой жизни. Не знаешь ли ты, где сейчас Володька Безводов? Может, встречаетесь, так поклон ему передай от меня, не забыл, чай. Остаюсь твой друг Антон Карнилин».

Письмо это получил Володя Безводов и принес его Дарьину в цех. Они отошли от молота в сторонку. Олег осторожно разорвал конверт, вынул листок и, боясь запачкать его засаленными пальцами, держа за уголки, стал читать. Грустную нежность вызвали простые и немножко жалобные строчки товарища юности. Живо представилось им, как они, три подростка, сидели за партой;

как в спецовках с плеча взрослых и в большущих рукавицах степенно шагали в цех и там, надев очки, вооружившись клещами, вставали к полыхающей огнем печи, к молоту; как однажды подшутил Антон над Олегом: незаметно сунул в карман его куртки горячую железку, и карман задымился, вызвав всплеск ребячьего смеха; как, таясь друг от друга, были они влюблены в инструктора физкультуры, молодую, хорошо сложенную краснощекую девушку, и на уроках, на лыжных вылазках наперебой старались ей услужить...

Воскрешая в памяти мельчайшие, казалось, давно забытые подробности совместной жизни в училище, они удивлялись, как стремительно пролетело время...

Олег Дарьин, настойчиво проникая в тайники своей профессии, лез вверх, становясь лучшим кузнецом на заводе.

Безводов успел окончить вечерний автомеханический техникум, работал в кузнице сменным мастером; как и в училище, он завоевал любовь молодежи и был избран секретарем комсомольской организации кузнечного цеха.

Жалобы Антона тронули их обоих; они чувствовали неловкость перед товарищем, которого оставили одного.

— Как ты думаешь, сможет он устроиться в нашей кузнице? — спросил Безводов, прерывая молчание. Олег кинул письмо в кепку, надел ее на голову, отозвался неохотно:

— Почему же не устроится? Только с жильем как? Найдется ли в общежитии место, вот вопрос... — и, вспомнив свои частые стычки с Антоном, заметил ревниво: — И почему именно в Москву его тянет, к нам? Разве нет других городов, заводов? Была бы охота, а проявить себя везде можно.

Но Володя уже что-то придумал, жгуче-черные глаза его светились.

— Ладно, поживет у меня первое время. Я ему напишу... Вот здорово будет, если он приедет!

В апрельское воскресное утро поезд медленно подтянулся к платформе Казанского вокзала. Антон спрыгнул с подножки вагона. Он был в рыжем кургузом пиджачке, в расстегнутой рубашке без воротничка, на густых куд-

рях — кепочка с коротким козырьком; в одной руке он держал чемодан — самодельный сундучок с маленьким висячим замочком, через другую — перекинута грубошерстное демисезонное пальто. Шурясь от солнца, он обеспокоенно огляделся; нагруженные багажом, шумно проходили мимо него люди... В толчее, в спешке Антон не узнал двух молодых людей в хороших легких пальто; один из них был в шляпе, длинные волнистые волосы другого не покрыты. Молодые люди, наблюдая за Антоном, улыбались. Когда Антон двинулся к выходу, они загородили ему дорогу, и он, признав в них своих друзей, Безводова и Дарьина, широко и обрадованно улыбнулся, поспешно поставил чемодан, бросил на него пальто.

— А я ехал и всю дорогу думал: придете вы или я буду плутать по Москве, — обнимаясь с ними, сильно окая, говорил он простодушно и оживленно. — Это вы хорошо сделали, что пришли, честное слово!

Слушая выговор, от которого отвыкли, наблюдая за его торопливой и несколько смешной повадкой, Олег с Володей переглянулись и невольно рассмеялись. Уловив их взгляды, Антон смутился, насунул кепочку почти на самые брови и, быть может, именно в эту минуту почувствовал, как далеко отстал он от них, хотя виду и не показал. Он перекинул через руку пальто, Володя взял его чемодан, и они втроем пошли вдоль платформы. Мечта сбывалась...

* * *

Безводов отыскал Антону место в общежитии и помог оформиться в кузницу.

— Поработаешь пока нагревальщиком, — утешал его Володя, провожая в цех.

— Конечно, — с готовностью согласился Антон. — Очень хорошо! Я и сам не встал бы за молот — такой перерыв был... Отвык, да и позабыл многое.

Они спускались по лестнице; скользя рукой по перилам, Антон послушно следовал за Безводовым. На последней ступеньке им встретился старший мастер Самылкин, невысокий круглый человек с полными плечами; бритую голову его прикрывала плоская кепка; лицо у него было круглое, по-бабьи доброе, между пухлых подвижных щек утопал маленький нос торчком; халат накинута на синюю майку-безрукавку.

— Этот? — спросил Самылкин Безводова и, повернувшись к Антону, смерил его взглядом с ног до головы и сказал: — Значит, работать у нас отважился? Так... Дело хорошее. И давай порешим сразу: я, гляди, парень, человек строгий, нянчиться с тобой не буду, поблажек от меня не жди, а коли что не так — душу вытрясу. А попадешься под горячую руку — и по загривку получишь. Но и ты, коли что — спрашивай с меня, требуй, не будь тюфяком. Не люблю. Понял?.. И замечай, к кому тебя ставят — к Фоме Прохоровичу Полутенину. Старайся. Он, гляди, парень, лентяев и замухрышек тоже не почитает.

— Кто же их почитает, замухрышек-то? — согласился Антон, украдкой взглядываясь в старшего мастера, стараясь определить, что он за человек.

— Ну, шагай за мной, — приказал Самылкин и подмигнул Безводову: дескать, идем, потешимся...

Старший мастер любил сам вводить в цех новичков. Прямо у двери стояли и по-гаубичному ревели тяжелые паровые молоты — на них штамповались коленчатые валы. От ударов сотрясались стены здания, колебалась земля, и на входившего внезапно обрушивался грохот, в лицо кидались гривастые хлопья пламени, под ноги сыпался огненный дождь, и новичок или пятился назад, к двери, или скованно замирал на месте, невольно содрагаясь и прикрывая глаза рукавом. Старший мастер веселился, наслаждаясь произведенным эффектом «огненного крещения», лицо его расплывалось в добродушной улыбке, полный живот колыхался; наклонясь к уху новичка, он предупреждал с удовлетворением:

— Это тебе не парк культуры, а цех — настоящий горячий. Гляди, парень, не обожгись...

Но сейчас Василий Тимофеевич, протолкнув Антона в цех, разочарованно нахмурился и недовольно покосился на Безводова.

Объятый ревушим огнем печей, озаренный накалом металла, ободренный неумолчной канонадой молотов, Антон стоял, широко расставив ноги, и расширенными, восхищенными глазами смотрел в глубину корпуса. Над головой, под высоким стеклянным потолком величаво разгуливали мостовые краны, легко носили на цепях железные ящики с откованными деталями, споро и деловито ныряли по цеху юркие тележки, крутились вентиляторы, двигались конвейеры, вращались огромные зубчатые ко-

леса прессов. От закопченных стекол потолка до машин, наискось прорезая клубы черно-сизого дыма, тянулись тугие ленты солнечного света, освещаая предметы, одухотворяя людей. И над всем этим — над огнем и металлом, над оглушающими, громоздкими машинами — властвовал человек, грел до белизны сталь, а затем молотом мял ее, точно глину, придавая нужную форму.

— Вот это работа!.. — восторженно прошептал глубоко взволнованный Антон, наклонился к уху мастера и крикнул: — Показывайте, куда встать... — И пошел вдоль корпуса размашистым уверенным шагом.

Самылкин, оглянувшись на Безводова, который хитро ухмылялся — дескать, не удалось, — поспешил за новичком.

Василий Тимофеевич подвел Антона к молоту: два массивных чугунных столба-станины, а между ними вверх и вниз ходит тяжеленная стальная глыба со штампом, так называемая «баба». Кузнец Фома Прохорович Полутенин, плотный, несколько грузный человек с тяжеловатым — сквозь очки в железной оправе — взглядом умных глаз, стоял у молота; нагревальщик его заболел, и он, в ожидании другого, брал заготовки сам.

— Вот тебе, Фома Прохорович, новый нагревальщик... учи его, — сказал Самылкин, кивнув на Антона.

Чуть наклонив голову, кузнец сердито и оценивательно поглядел на парня поверх очков; тот, не мигая, ответил ему таким же прямым, внимательным взглядом. Новичок, должно быть, понравился кузнецу: за очками от глаз пошли в стороны лучики морщинок. Фома Прохорович повернулся и сделал знак головой. Откуда-то из-за станины вынырнул проворный, чумазый, тошенький парнишка в кепке козырьком назад, тоже в очках; подскочив к кузнецу, он с готовностью подставил ему свое ухо; тот что-то сказал ему и вместе со старшим мастером, грузно ступая, ушел попить газированной воды и покурить.

А парнишка — это и был Гришоня Курёнков, подручный кузнеца, — потянул Антона за рукав к печи. Привставая на цыпочки, подтягиваясь к его уху, он резво, заученно стал объяснять, как загружать печь новой партией заготовок, как подавать топливо, как держать температуру, чтобы не перегреть металл, как сподручнее доставать из печи заготовки и как легче их подносить к молоту.

Антон наклонился и заглянул внутрь печи: за железными заслонками бушевал огонь, длинные багровые, с черными прожилками ленты его свивались в спирали, текли, вихрились, накаляя добела стальные болванки.

— Для начала хочу загадать загадку, — сказал Гришюня, серьезно поджав губы. — Отгадай: сидит дядя Пахом на коне верхом, книжку читает, а сам ничего не знает... Ну-ка?

— Очки, — ответил Антон, не глядя на Гришюню.

— Ты знал, наверное, — разочарованно протянул Гришюня и, подтолкнув Антона в бок, предупредил: — Голову в печь не суй, если хочешь остаться красивым. Я вот спервоначалу тоже был чернобровым брюнетом, а часто совал нос в печку, стал блондином — опалило. Видишь? — смахнул он прокопченную кепочку и показал лыняные свои волосы.

Антон невольно и с опаской потрогал брови, но тотчас поняв, что его разыгрывают, замахнулся на Гришюню, который визгливо засмеялся, сгибаясь.

Вернулся Фома Прохорович, мотнул головой, подзывая к себе Антона.

— Как зовут? — спросил он и по привычке подставил ухо. — Иди сюда.

Обойдя молот, Полутенин остановился и, чуть запрокинув лицо, показал рукавицей вверх: на чугунной станине выделялась приклепанная бронзовая пластина с надписью: «На этом молоте в сентябре 1935 года было положено начало стахановскому движению в машиностроении».

— Понял, на какой молот встаешь? — со значением спросил Фома Прохорович. Не сказав больше ни слова, он включил пар, натянул рукавицы; справа от него пристроился Гришюня. Усатый прессовщик, докурив, бросил под ноги окурок и встал к прессу.

Без суеты, спокойно, длинной кочергой достал Антон заготовку из печи, пододвинул ее к краю пода, подхватил клещами и подал кузнецу. За ней вторую, третью... И по тому, как прочно стоял он у печи, как не спеша, несмотря на то, что не успевал за кузнецом, но уверенно подавал болванки, Фома Прохорович, все время наблюдавший за его движениями, решил, что оставит этого парня в своей бригаде.

Прошло два часа. Молот неустанно, то натужно, глухо, то молодо и торжествующе, ухал и ухал. Антон размеренно подавал раскаленные болванки, но тело — руки, плечи, лопатки, поясница — тупо ныло, будто распухало, ноги едва сгибались, в голове звенело, по спине струились жгучие ручейки пота, и ему казалось, что вместе с этими струйками, опустошая его, вытекает и сила. Но он все так же продолжал подавать, не показывая виду, что устал.

— Ты бы сел, отдохнул, надорваться можешь с непривычки, — посоветовал Фома Прохорович, наклоняясь к Антону.

— Перерыв будет — отдохну, — скупое отозвался нагревальщик, кидая на штамп заготовку. И молот все стучал, все гремел, плющил сталь, осыпал темный пол красными брызгами окалины...

Наконец наступила пора обеда. Молоты смолки, и в цехе, над цехом, во всем мире под голубым апрельским небом широко и вольготно распростерлась желанная томительная тишина, хотя в ушах Антона все еще бушевал хаос звуков, глухих взрывов, медленно отдаваясь и затихая, как, ворча и затихая, отдаляется гроза, с бурей, с громом и вспышками молний. Антон обессиленно сел на груды холодных болванок, и тотчас перед глазами начали играть, расходиться, сплетаться огромные круги необычайных волшебных цветов.

«Давно не работал в кузнице, отвык, вот и устал», — подумал он, прикрывая глаза отяжелевшими веками и улыбаясь новым, неиспытанным ощущениям.

Как сквозь дремоту долетел до него голос Гришюни:

— Говорили тебе — отдохни, нет: дай характер проявлю, силу покажу! Идем обедать. Ну, седлай меня, на закорках понесу.

Антон оперся рукой на плечо Гришюни и зашагал по опустевшему цеху в столовую.

Там стояла толчея и веселый шум. Фома Прохорович уже сидел за столом. Здесь он показался Антону не таким суровым, как в цехе, на переносице отпечаталась красная полоска — след очков; приподняв тяжелые брови и открыв участливый взгляд утомленных глаз, он сказал глуховато:

— Садись. Проголодался, наверно? Я уж постарался: заказал тебе и первое и второе. — И, помолчав немного,

испытующе спросил: — Уломала работка? Бежать не собрался? Признавайся.

— Нет.

— Наша профессия горячая и тяжелая, это верно. Зато и почетная, — весело, ободряюще заговорил кузнец, принимая от официантки тарелку с борщом. — Почетная и старинная. Токарей или там фрезеровщиков, электриков еще и в помине не было, а кузнецы уже стояли у горна, стучали своими молотками, ковали: для пашши — лемех, для поля брани — меч. Сколько лет ей, нашей профессии? Может быть, тысяча, может, пять, — поди, сосчитай! А она все такая же молодая, все служит людям, места своего не уступает, обновляется с каждым годом, новой техникой обрastaет... Ты этого, брат, не забывай! Мы, рабочие люди, — основа всей жизни, фундамент государства. Так, что ли, Гриша?

— А то как же! — отозвался Гришона, точно отмахнулся, — он торопился скорее поесть.

— Значит, каждый кирпич в этом фундаменте должен быть крепче стали! — заключил Фома Прохорович. — А что устал ты, Антон, так это ненадолго. Лет двадцать назад, когда я начинал кузнечить, я тоже первое время света белого не видел, а потом втянулся. И сейчас озолоти меня — я свою профессию не променяю ни на какую другую!

И действительно, недели через две Антон уже не так уставал, мышцы привыкли к нагрузке, руки и плечи не болели. А прошел месяц, и он прочно утвердился у печи, освоился в цехе, узнал многих кузнецов, прессовщиков, нагревальщиков. Вместе с ними он работал, жил в общезитии, ходил по вечерам во Дворец культуры.

Там в один из вечеров отдыха молодежи и познакомился он с Люсей Костроминой, девушкой, похожей на красивую пеструю бабочку. Она только что окончила десятилетку, и жажда веселья влекла ее всюду, где можно было развлечься, закружиться в танце, пошебетать; посмеяться. Смеялась же Люся неистощимо, заразительно весело, с упоением; при этом голова ее чуть-чуть запрокидывалась, ровные ряды зубов влажно блестели, ямочки на щеках углублялись, и в хитро прищуренных, приподнятых к вискам глазах вспыхивали пленительные огоньки.

Как-то раз, танцуя с ней и любуясь свежей, теплой кожей ее лица, Володя Безводов подумал: «Если бы она

хоть на минуту забыла, что она красива, то сразу стала бы простой и милой девушкой...». И тут же поинтересовался:

— В какой институт вы думаете поступать, Люся?

— Не знаю, я еще не успела подумать об этом, — ответила она беспечно, тряхнув длинными локонами. — Институтов много, а я одна. — Опираясь на его руку, оглядываясь, она наслаждалась музыкой, движением, карусельным мельканием лиц. — Знаете, Володя, так хочется отдохнуть от уроков, от учителей, от парты... — Помолчав немного, шурясь на свет прожектора, спросила:

— Почему вы сегодня один?

— А с кем же я должен быть?

— Я привыкла видеть вас в окружении приятелей.

— Сегодня со мной только мой старый друг Антон Карнилин.

— Где же он?

— Тут где-то...

Возле колонны стоял высокий узколицый Константин Антипов в тщательно отглаженном костюме; стрелой вонзался всем в глаза его аккуратный пробор.

— Куда же вы скрылись, Костя? — спросила его Люся с капризной ноткой в голосе. — Оставили меня одну, покружиться не с кем.

— Вы несправедливы, Люся, у вас такой кавалер... — с иронией отозвался Антипов, намекая на Володю.

— Он не уделяет мне должного внимания, — она лукаво скосила глаза на Безводова. — Я для него — лишь загадочное явление, абстракция...

— А это вы, между прочим, правильно — насчет абстракции... — подтвердил Володя усмехаясь.

Церемонно склонив перед Люсей голову, Антипов с шутилой учтивостью промолвил:

— Я готов танцевать с вами, Люсенька, хоть до утра, не переводя дыхания...

В это время, пробравшись сквозь толкающуюся в ожидании музыки разгоряченную толпу молодежи, приблизился Антон Карнилин, возбужденный, большеглазый, смелый. Но, увидев Люсю, он ступешался, знакомясь, долго и просветленно глядел на нее, позабыв выпустить ее руку из своей; девушка чуть смущенно, кокетливо потупила глаза, и улыбка превосходства тронула ее полные губы.

Как только заиграл оркестр, Антон, опередив Антипова, предложил ей:

— Потанцуйте со мной... пожалуйста. — И, танцуя, осторожно придерживая ее, боясь дышать, робко спросил: — Вы работаете на нашем заводе?

— Нет, мой папа работает.

— В каком цехе?

— В кузнице, начальником.

— Леонид Гордеевич Костромин? — воскликнул Антон и приостановился изумленный; тотчас их начали толкать и теснить другие пары, и Люся, смеясь, крикнула:

— Танцуйте же!

— Вы здесь часто бываете?

— Зимой часто, а весной к экзаменам готовилась — не до танцев. — И равнодушно, чтобы только не молчать, промолвила: — А вас я вижу здесь впервые.

— Я недавно приехал. Тоже в кузнице работаю, нагривальщиком у Фомы Прохоровича Полутенина, знаете?

— Я многих ваших знаю.

Музыка смолкла, а он все еще держал ее за талию, словно боялся, что девушка упорхнет. Люся запросто подхватила его под руку, и они направились к той колонне, откуда начали танцевать. Безводова и Антипова уже не было.

— Пойдемте поищем их, — предложила она, и улыбка, не покидавшая ее лица, сделалась грустной и по-детски обиженной.

Антон легко и свободно расчищал ей путь, гордый, счастливо улыбающийся.

— Отчего у вас такие странные волосы, дыбом? — поинтересовалась Люся, косясь на него. — Пригладьте хоть...

Антон покраснел.

— Их нельзя пригладить, не ложатся... шестимесячная завивка, — сознался он.

Она поняла, что это правда, приостановилась, бровки ее недоуменно и игриво взлетели вверх; запрокинув голову, она весело залилась смехом. Рассмеялся и Антон, виновато и простодушно.

— Зачем же вы это сделали? — спросила она, смахивая платочком слезу.

Он пожал плечами:

— Не знаю. Дурак был, вот и сделал...

Разговор этот происходил в зимнем саду дворца. Здесь густо росли в огромных кадках тропические растения с длинными и узкими, точно лакированными зелеными листьями и оживленно журчал фонтан. Антон был так очарован девушкой, что готов был сделать для нее все, чтобы доказать свою преданность ей, и тут же, подойдя к фонтану, подставил голову под тоненькую струю.

Сидевшие на лавочках заулыбались.

Люся любила все неожиданное, необычное, и поступок Антона удивил ее и приятно польстил, — ведь он сделал это ради нее, сделал просто, не раздумывая. И теперь стоял перед ней смущенный, даже чуть виноватый; с мокрых волос, омывая счастливо расцветшее лицо, стекала вода.

Сдерживая улыбку, все еще изумляясь, Люся подала ему платочек. Шелковый, надушенный, отороченный по краям кружевами, он не закрывал даже Антоновой ладони. Вернув его, Антон достал из кармана свой, большой и белый, и вытер лицо, затем причесал кудри и спросил:

— Теперь хорошо?

— Теперь немного лучше, — отозвалась Люся, продолжая улыбаться, и взяла его под руку. — Проводите меня. Мне пора домой.

Они вышли на улицу. Ночь была теплая и тихая, бархатная. Рассыпавшись по небу, переливались звезды. Переплетающимся потокам огней не было конца. Откуда-то из далекого репродуктора доносились едва различимые, полночные звуки гимна.

Подходя к подъезду ее дома, Антон спросил с надеждой:

— Я еще увижу вас когда-нибудь?

— Конечно, запишите мой телефон, звоните, когда вам захочется, я буду рада.

Он ушел, унося в душе чудесный образ этой девушки и весь полный незнакомым, неиспытанным чувством.

Антон каждый день порывался звонить ей, но, боясь показаться надоедливым, позвонил только через неделю.

Люся снисходительно согласилась встретиться с ним. На парходике они добрались до Ленинских гор. Окутанный темнотой, берег казался густо заросшим, глухим,

пугающе мохнатым. Они шли низом, у воды, вдыхая запах мокрых корней и росистой травы, взбирались по тропинкам вверх. Антон вдруг ощутил себя таким хорошим, мягким, уступчивым и от этого улыбался во тьме. Впервые зародилось в нем непривычное и радостное чувство нежности к ней; он боялся, как бы она не остушилась, и оберегал ее, поддерживал, чуть касаясь ее локтя; а голос звучал проникновенно, ласково... Но он не успевал подлаживаться под настроение спутницы: Люся то отрывалась от него, и ее белое платье мелькало среди темных стволов, задорный смех звенел, вспугивая дремоту деревьев; то становилась смиренной и настороженной, крадась на цыпочках, чутко прислушиваясь к чему-то, и голос, как бы угнетенный тишиной и мраком, шелестел таинственно, пугливо; то проказничала: как канатоходец, шла по стволу дерева, растущему почти горизонтально над водой, рискуя каждую минуту сорваться в реку, дразнила его, вызывая в нем страх за нее; то, прыгнув на землю, ступала впереди, суровая, неприступная, раздраженная, говорила отрывисто, насмешливо, капризно, повергая его в смятение. Непостижимая девушка!..

В одном месте, взбежав на высокий гребень берега, Люся остановилась между двумя березами. Антон остался внизу: на случай, если она захочет сбежать отсюда, не дать ей упасть. Но Люся позвала его к себе.

Отсюда хорошо видна была Москва. Она лежала как на дне огромной чаши, щедро рассыпав по всему пространству несметное множество огней, сложно оплетенная золотыми световыми узорами, осененная неугасимыми пурпурными звездами.

И вдруг в середине этого сверкающего моря появилась короткая красноватая вспышка, и тотчас в разных местах взметнулись ввысь волшебные фонтаны — голубые, красные, зеленые, оранжевые, расцвели чарующими букетами, рассыпаясь и опадая яркими лепестками. Антон и Люся, держась за стволы, замерли, пораженные фантастическими взрывами огня и красок, — они забыли, что был День авиации.

— Салют! — воскликнула Люся и коснулась плеча Антона, как бы требуя отклика на ее чувство восторга. Посмотрев на нее сбоку, Антон увидел, как в немигающем глазу ее взлетали и опускались разноцветные точки — отражение ракет.

— Вы любите Москву? — прошептала Люся.

— Да, — ответил он, помедлив, — потому что... вы в ней живете... Честное слово!

Она улыбнулась, довольная.

А там, в синей мгле над Москвой, все взмывало и опадали, зажигались и гасли сказочные гроздьи огней, и трепетный зеленовато-призрачный свет то плескался и отбрасывал тьму до самых звезд, то пропадал...

Наконец все смолкло и погасло. Антон, очнувшись, как от видения, сбежал по тропинке вниз, остановился, ожидая Люсю.

— Держите меня! — услышал он ее возглас и увидел, как она летела на него белой птицей. Столкнувшись, они на мгновение обнялись, и Антон невольно прижался губами к ее щеке возле рта. Люся отстранилась, как бы испугавшись, и пошла впереди него, загадочно примолкшая, резковатая, точно сожалела о проведенном с ним вечере. А Антон мучился, раскаивался в том, что поцеловал ее.

Позже, когда Антон позвонил ей еще раз, она небрежно, но с нескрываемым торжеством сообщила, что уезжает на курорт, а как только вернется, то они обязательно встретятся.

— Хорошо, — сказал он кротко, — я буду вас ждать...

Терпеливо ожидая Люсю, торопя дни, Антон делался все молчаливее, задумчивее, мягче; работал споро, но ровно, на шутки и загадки Гришони отвечал неохотно.

Как-то раз Фома Прохорович заметил пылливо:

— Что-то ты замолчал, Антоша? Работаешь, как машина, и молчишь. Отчего это? С радости, думается, не молчат, а с горя молчат не так...

Но порою захлестывала парня беспричинная лихая радость, и в такую минуту ему казалось, что он легко может перенести с места на место любой молот; хватал Гришонию в охапку, вскидывал его, как ребенка, сжимал железными руками, и Фома Прохорович только любовно и поощрительно посмеивался, когда подручный страдальчески пицал и молил о пощаде.

Антон купил себе такую же, как у Безводова и Дарьины, шляпу, новый плащ-пыльник, ботинки. Дня через три после возвращения Люси с курорта он позвонил ей; услышав его голос, она торопливо, захлебываясь от восторга, начала говорить что-то о своей поездке на море.

о проведенном там времени, потом назначила ему свидание в Александровском саду и — не пришла.

И вот он явился за ней на квартиру Антипова. Антипов с решимостью шагнул к Антону, но Люся остановила его.

— Это ко мне, — невнятно промолвила она и встала.

— Выйдемте на минуту, — глуховато сказал Антон, взяв ее за руку и пропустил впереди себя.

Боясь скандала, стыдясь знакомства с ним, проклиная тот час, когда она в великодушном порыве согласилась на свидание, возмущенная его поступком, Люся прошла по коридору, мстительно и со злорадством думая про себя: «Хорошо же!.. Ты у меня поплатишься за это. Я тебе скажу!..»

Остановившись у выхода, она спросила вызывающе:

— Что вы от меня хотите? — Взглянула в его каменное лицо с плотно сомкнутым ртом и испугалась, потеряв самообладание.

— Выйдемте, — повторил он твердо.

Подавленная его волей, она вышла на улицу, послушно, как в забытьи, села в такси и опомнилась только тогда, когда машина, взревев, рванулась с места и опрокинула ее на спинку сиденья.

— Куда вы меня везете?

— Почему вы не пришли? — глухо спросил он, сдерживая дрожь. — Я ждал вас два часа!..

Точно скрываясь от его пристального, пылающего взгляда, она плотнее вдавливалась в угол, кусала губы, готовая заплакать. Освещенные витрины, встречные машины, фигуры людей сливались в одну расплывчато-пеструю линию; изредка врывался яркий луч света и больно резал глаза.

— Я свободный человек, — произнесла она, сдерживая слезы, напуганная, — и поступаю так, как хочу. Не пришла — значит не пришла, не могла.

— Зачем вы меня обманули? Разве я принуждал, тянул вас? Вы сами согласились, назначили место и час. Значит, вам нельзя верить... А если задумали подшутить, так это бесчестные шутки. Люся... слышите?..

Помолчав немного, он придвинулся к ней и, как бы желая удержать ее, убедить, прошептал горячо и искренне:

— Я люблю вас, Люся... честное слово!..

Закрывая рукой горло, Люся оттолкнула Антона.

— Не трогайте меня! — крикнула она резко и со злостью. — Глупо же вести себя так... Оставьте меня в покое... Я не нуждаюсь ни в вас, ни в вашей любви! Понимаете? Остановите машину, я выйду.

Он отшатнулся, поморщившись, зажмурил глаза, стацил с головы шляпу. В крышу барабанил дождь, шины сочно шуршали по мокрому асфальту.

— Остановите! — крикнул он водителю, берясь за ручку двери.

Антон тяжело вылез, расплатился с шофером, приказал отвезти девушку обратно и пошел прочь, наискось пересекая улицу; раздался свисток милиционера, но Антон все так же размеренно шагал по скользкой, лоснящейся мостовой, по золотистым дрожащим световым полосам, подставив под дождь свою непокрытую голову.

3

Порыв ветра, распахнув неплотно прикрытые створки рамы, ворвался в комнату, откинул край одеяла и окропил спящего Гришону каплями дождя. Гришона вздрогнул и, думая, что это Антон брызнул на него водой, сонно, скрипуче протянул:

— Ну, не балуйся!..

Приоткрыв один глаз и никого не увидев над собой, он встал, на цыпочках подбежал к окну, захлопнул его, затем, повернувшись, озабоченно шевеля пшеничными своими бровями, стал рассматривать Антона, лежащего поверх одеяла, одетого. Рядом с кроватью, на спинке стула, висел мокрый пыльник, по полу растекались от него потеки, на сиденье валялась набухшая влагой шляпа, в стороне — грязные ботинки.

Гришона хотел разбудить Антона. Но взглянув на будильник, на мгlistый, дождливый рассвет, решил дать приятелю отдохнуть еще полчаса, нырнул под одеяло, сжался в комочек, задумался: что бы это могло приключиться с его другом?

Антон не спал, лежал, закрыв глаза; голова болела, мысли путались, ускользали, точно размывались потоками дождя за окном.

Тоска, ноющая боль в груди гнали его через весь город по мокрым опустевшим улицам под дождем. Мимо

него изредка мелькали раскрытые зонты, цветные дождевики... Он много километров отмахал по Садовому кольцу, утомился, но боль не проходила, сжимала сердце.

«Вот и все... — думал он с отчаянием. — Высоко залез... Вот сорвался — и вдребезги... Зачем она это сделала? Зачем?! Как теперь жить?! Как работать?! Эх, Люся!..» — Приостанавливался на минуту посреди тротуара и брел дальше, не разбирая дороги, по лужам.

И сейчас вот он лежит на своей койке, обессиленный, разбитый, с ужасом осозная, что все светлое, солнечное осталось где-то далеко — прошедшая ночь безжалостно разбила его мечту.

Антон со стоном вздохнул, повернулся.

— На работу пора, — слышался осторожный голос Гришони, — просыпайся.

— Я не сплю, — отозвался Антон, не подымая век; полежав еще немного, он приподнялся и сел на кровати, взглянул на заплаканные окна, на сырую одежду, на Гришонию, гремевшего чайником, встал, разделся: пиджак и пыльник оставил сушиться, а брюки положил под матрац — гладиться; в умывальной усердно плескал воду на лицо, голову...

— Почему ты спал одетым, где ты был? — настойчиво допрашивал его Гришоня, разливая чай. — Уж не напился ли ты?

— Да, почти что напился.

— С какой это радости?

— Отстань!

— Оч-чень интересно!

Выпив наскоро по стакану чаю, они вышли на улицу, прижимаясь к стенам домов, поспешили к трамвайной остановке.

Плотные, по-осеннему водянистые тучи опустились низко, на самые крыши домов, сеял мелкий и спорый дождь; еще недавно нарядные, в золоте ранней осени, деревья потухли, ветви их обвисли, листья посерели, набухли влагой и, падая, шлепались на асфальт грузно, как олады; в иссеченной водяными струями мгле расплывчатыми пятнами двигались торопливые фигуры людей.

В трамвае, сдавленный телами людей, Антон с тоской думал о том, что в цехе уже знают о его вчерашнем поступке, и живо представил, как рабочие, а особенно молодые, будут искоса поглядывать на него, усмехать-

ся, острить; и в первый раз за все дни жизни на заводе ему не хотелось показываться в кузницу: было стыдно.

Подойдя к молоту и застав там Фому Прохоровича, который пришел раньше всех и готовил рабочее место, Антон вспомнил, что сегодня они обязались дать наибольшую выработку дефицитной детали.

Печь уже была загружена металлом, разрастаясь, шумело в ней пламя, в потолок рвались черные и вязкие клубы дыма, расплывались и висели там, закрывая собой льющийся сквозь стеклянные квадраты неяркий свет.

— Долго спите, молодцы, — упрекнул Фома Прохорович, встречая своих помощников, и, скупой на шутку, оживленно прибавил: — Ты что, Антоша, голову повесил? Вчерашний день ищешь — не найдешь, брат, так что ходи веселее!

Вывернувшийся из-за печи старший мастер Самылкин, оглядываясь по сторонам, сообщил, как тайну:

— Замечайте, ребята, весь цех на вас смотрит: процентов двести пятьдесят должны дать, никак не меньше. — И откатился к другому молоту, как мальчику погрозив Антону пальцем.

— Слышали?.. — многозначительно напомнил Фома Прохорович.

Надвинув кепку на брови, Антон стал регулировать подачу горючего в печь. Сумрачный, по-вокзальному громадный корпус с приходом здоровых, хорошо отдохнувших людей оживал, отовсюду неслись веселые восклицания.

Прозвучал сигнал, и молоты один за другим пришли в движение; гром ударов, могуче, полноводно ширясь, смял людские голоса, подобно артиллерийской подготовке перед атакой, огненные вспышки озарили пространство; учащенный ритм труда властно захватывал людей.

Только Антон, угнетенный неотступной думой о том светлом, теперь уже навсегда потерянном, что было связано с именем Люси, оставался безучастным ко всему; как ни старался расшевелить себя, не чувствовал прежней удалости, игры сил; голова все еще болела, настойчиво звенели в ушах резкие слова: «Я не нуждаюсь ни в вас, ни в вашей любви!»

Фома Прохорович, наклонив голову, поверх очков смотрел на него из-под нависших бровей с недоумением, как бы не узнавая. От этих взглядов нагретый еще

больше волновался и нервничал. Кочерга как назло не слушалась, соскальзывала с горячих заготовок, болванка заваливалась в выщербленный печной под.

«Чорт бы тебя взял! — мысленно ругался Антон, напрыгаясь и исходя потом. — Неужели нельзя ничего придумать, чтоб полегче было?.. А то вот дергай ее, окаянную!.. Вон она завалилась и лежит, хоть разорвись тут! А ведь инженеров, техников в цехе тьма! Дать бы им кочергу в руки, пускай поковыряются, кочерга скорее заставит их пошевелить мозгами. — И, сердясь, с силой выворачивал болванку вместе с кирпичами. — А, чорт!... Рельсы бы тут проложить, что ли?..» Вслед за тем мысль назойливо возвращалась к одному и тому же: «Люси-то нет... К чему теперь стремиться?.. После работы чем заняться? Куда пойду?..» И, забыв о болванках, опираясь на кочергу, стоял в раздумье и глядел куда-то мимо прессов и печей, но ничего не слышал и не видел, пока Гришона, толкнув его, не заставлял очнуться, — молот ходил вхолостую, и Фома Прохорович сердился.

Торопясь успеть за кузнецом, Антон как-то неловко, неумело взял клещами болванку, не удержав, выронил ее, и она, искрящаяся, красная, будто налитая огненной кровью, покатила по полу к ногам Фомы Прохоровича. Тот, поспешно отступив, подхватил ее своими клещами, сунул обратно в печь, и над ухом Антона непривычно раздраженно и властно загремел голос кузнеца:

— Мы не мух давим, а детали штампует! Понял? Работаешь, как вареный, не руки, а крюки! — Сильный, грузный, чуть ссутулившийся, он шагнул к молоту, кинув на парня гневный взгляд, губы шевелились, — видимо, он недовольно ворчал. — Давай! — крикнул кузнец.

До обеда не отковали и половины обычной дневной нормы. Фома Прохорович отшвырнул клещи, взбил на лоб очки и пошел прочь от молота, устало, стесненно, неся впереди себя отяжелевшие руки. Гришона подбежал к Антону и участливо, ободряющее заговорил, хлопая его рукавицами:

— Ну, что ты, в самом деле, раскис? Всегда работаешь, словно забавляешься, а нынче ходишь, будто в воду опущенный. Видишь, Фома Прохорович сердится.

Подвернув форсунки, Антон убавил пламя в печи. На чумазом лице его серые глаза горели мрачноватым огнем.

— Идем подзаправимся, чудак, — уже шуточно сказал Гришона, подталкивая его в бок. — Нагонять надо...

В это время к ним приблизился старший мастер Самылкин, за ним Володя Безводов, хмурый, удрученный неудачей товарища.

— Ты гляди у меня, парень, — строго заговорил Василий Тимофеевич, насканивая на Антона и пытаясь сделать свое мягкое бабье лицо суровым, устрашающим. — Был ты у меня вот где, — он выхватил из нагрудного кармана халата засаленную записную книжечку и повертел ею перед носом нагревальщика, — на странице хороших, то есть на почетной. Хотел тебя на самостоятельную работу перевести, на молот поставить. А теперь вот, гляди, вычеркиваю, — он лихорадочно провел неровную жирную черту, — и заносу на страницу плохих — на «черную»! Вот, — и торопливо вывел три первые буквы его фамилии — «Кар.». — Все! Я тебя, гляди, парень, больше не знаю, не вижу, нет у меня такого на примете!.. А то я, старый дуралей, расхвастался, расхвалил... Что ты на меня уставился своими глазищами?

Прервав мастера, Володя Безводов сказал подчеркнuto официально, точно они были совсем чужими:

— Надо выправлять положение, Антон. Что же это, мы говорим о том, чтобы вывести цех на первое место, а тут комсомолец — и вдруг явился помехой в работе.

Гришона суетился вокруг Антона нашептывая:

— Ну, ответь, скажи, что поднажмешь, выправишь дело...

Антон исподлобья глядел на возбужденного, запаренного мастера, на Безводова и молчал, хорошо понимая, что нечего возражать, когда виноват.

Вернулся Фома Прохорович, спокойный, задумчивый, легонько отстранив всех от нагревальщика, отвел его к окну, смущенно кашлянул, дернул за козырек кепки, промолвил:

— Я тут давеча накричал на тебя, Антоша, ты, брат, извини. С тобой неладное что-то приключилось, а я не спросил, да и... В работе я забывчив, не сдержался... — Помолчав, еще раз кашлянул и добавил: — С деталью нашей на конвейере зарез, вот и вышло все. Вызывал меня начальник кузницы, и выговаривал. А я редко слышу выговоры-то. Мне, старому кузнецу, коммунисту, они обидны...

Антон чувствовал, что душа его размягчилась, согретая теплом и лаской скупых, по-отечески простых слов кузнеца; ласка эта вызвала в нем ответную нежность, доверчивость, и захотелось так же просто поведать обо всем этому большому, с виду угрюмому человеку.

Сквозь незастекленные клетки окна видно было, как дождь старательно моет груды железного лома, сечет тоненькие и уже голые деревца, растекается по земле рыжими радужными потоками.

— У тебя отец где? — спросил Фома Прохорович.

— Убит в сорок четвертом году, под Будапештом.

— Так... — тяжело вздохнул кузнец. — Один, стало быть, рос? Так... — повторил он. — У меня вот тоже двоих сынов война взяла... — И медленно отошел к молоту. А Антон ощутил в себе родственную близость к нему.

Вторую половину дня Антон работал лучше, но о рекордной выработке не приходилось и думать — еле дотянули до положенной нормы.

— Не горюйте, Фома Прохорович, — с трогательной нежностью успокаивал Гришоня кузнеца, помогая ему прибираться. — В другой раз обязательно поставим рекорд, нам ведь это не впервой.

— Слабо утешаешь, Гриша, — устало усмехнулся кузнец. — От нас именно сегодня детали требовали, конвейер ждать не будет. Может быть, вторая смена наверстает за нас...

Пришла вторая смена: кузнец Камиль Саляхитдинов, молодой татарин с широкоскулым лицом; в узких прорезях острыми лезвиями сверкали хитрые и насмешливые глаза, короткая могучая шея и широкие плечи налиты буйной силой, носки ступней повернуты немного внутрь, руки, жаждущие дела, все время в беспокойстве, в движении; и нагревальщик его, Илья Сарафанов, высоченный парень с унылым лошадиным лицом и трубным голосом.

— Иду, гляжу, плакат «молния» висит — десять метров в длину, двенадцать метров в ширину! — громко заговорил Саляхитдинов, протягивая Антону пачку с папиросами и не спуская с него острого, насмешливого взгляда. — На плакате первое слово — «Слава!» Где слава? Кому слава? Ага! Бригада Полутенина выполнила норму на двести пятьдесят процентов. Ай, как обидно, — почему не я! Закрыв глаза, ударил себя по лбу кулаком, от-

крыл — никакого плаката нет: померещилось. Ай, рекорд! — И захохотал, обнажая множество мелких белых зубов.

Илья Сарафанов, вторя ему, бухнул как в бочку:

— Не зная броду, не суйся в воду! — А в ушах Анто-на деревянно отдалось: «Бу, бу, бу!..»

Привыкший к похвалам, Антон мучительно переносил упреки старшего мастера, замечания и реплики рабочих, отворачивался морщась.

Вскоре, лавируя среди молотов, прессов, печей, перепрыгивая через конвейеры, огибая груды остывающих деталей, в бригаде появился Безводов и сказал:

— Антон и ты, Гришоня, прямо отсюда, не заходя в душ, поднимитесь в комсомольское бюро. Поговорить надо. — Он повернулся к кузнецу и, понизив голос, попросил: — Хорошо бы и вы пришли, Фома Прохорович. Это ненадолго.

Сарафанов подтолкнул Антона и с несвойственной ему игривостью пробасил:

— Иди, рекордник, получай нахлобучку.. — чем и вызвал в нагревальщике внезапный взрыв долго копившейся в нем ярости: рассвирепев, Антон схватил Илью за грудь, сильно толкнул его и выпалил:

— Замолчи ты, лодырь! Тебе не только нахлобучку надо дать — совсем из комсомола вышвырнуть пора. Не работаете — потолок коптите вместе со своим бригадиром! И туда же, критиковать...

Сарафанов ошеломленно глядел выпуклыми глазами, затем, придя в себя, криво закусив губу, двинулся на Антона и, не подоспей во-время Гришоня с Фомой Прохоровичем, драки бы не избежать. Разнимая их, Фома Прохорович проговорил, мрачно и укоризненно косясь на Саляхитдинова:

— Он правду вам сказал. На себя оглянитесь, — не бригада, а посмешище, для потехи в цеху. Подумали бы об этом...

Саляхитдинов, красный, зловеще поблескивая узенькими глазами, косолапо ступил к Полутенину:

— Не хочу думать! Думать не хочу, работать не хочу! Ну? В другой цех уйду, совсем уйду...

А Сарафанов пригрозил Антону:

— Я тебе попомню это... Столкнемся еще, не здесь, так в другом месте... узнаешь, как за грудки хватать.

Гришоня, отталкивая его дальше от Антона, уговаривал:

— Ну, не рычи, не рычи... Подумаешь, беда какая... обидели, младенца обидели... Стоит из-за этого нервы портить... — и двигал его все дальше, дальше, к печи, потом вздохнул сокрушенно: — Вот она, любовь-то, каким концом обернулась!..

4

Через десять минут Антон, Гришоня и Фома Прохорович появились в небольшой комнатке комсомольского бюро на втором этаже.. Тут находились кузнецы Олег Дарьин и Федор Рыжухин, сменный мастер, долговязый и невозмутимый Сидор Лоза, технолог Константин Антипов в курточке с клетчатой кокеткой, наладчик Щукин... Володя Безводов, откинув назад чуб, строго оглядел членов бюро и объявил негромко и деловито:

— Начнем, пожалуй?... Ребята, поговорим про сегодняшнюю работу нагревальщика Карнилина... Сейчас, когда мы твердо решили добиться звания передового цеха, мы не имеем права пройти мимо любого факта, который плохо отражается на работе бригады.

«Любого факта, — мысленно повторил Антон и горько улыбнулся. — Чудаки! Только бы говорить, обсуждать, прорабатывать. А что делается у меня в душе, им наплевать, честное слово! И Володя тоже заразился страстью к совещаниям. Чуть что — и сейчас же на бюро. Неужели он не понимает, что нехорошо это?.. Работа! Работа от меня не уйдет. Не тут, так в другом месте найду. А вот Люся ушла... Эх, вернуться разве и уйти? Ну их!..»

Но он не ушел, стоял, привалившись плечом к стене, сумрачно смотрел на Антипова, с надменным видом читавшего газету, на его белую и тонкую ниточку пробора, замечал затаенную улыбку Дарьина, и сердце его колотилось неудержимо. Он знал, что они сейчас начнут пытаться его про вчерашний визит к Антипову, и чувство обиды и протеста, подступая к горлу, затрудняло дыхание.

«Нет, я им отвечу.. Я им категорически запрещаю соваться в мои дела», — убеждал он себя с решимостью.

Гришоня ерзал на стуле, часто мигал белесыми ресницами, незаметно дергал Антона за полу куртки:

— Сядь, сядь...

— Фома Прохорович, — обратился Безводов к кузнецу, — расскажите, пожалуйста, как все это вышло?

— Может быть, нам послушать сперва Карнилина? — осторожно вставил Антипов.

— Фома Прохорович лучше объяснит, — сказал Безводов, — ему виднее.

Кузнец помолчал, как бы восстанавливая в памяти весь рабочий день. Затем глуховато и раздельно начал говорить, но Антон прервал его.

— Погодите, Фома Прохорович, я сам скажу. — И спросил враждебно, с вызовом: — Вы хотите меня судить? За что? За то, что бригада из-за меня не дала рекордной выработки? Или, может быть, за другое? Если за другое — то я никому не позволю вмешиваться в мои дела! А если за работу, то я вам вот что скажу: я не машина — включил рубильник, перевел рычаг на цифру двести пятьдесят и — чеши! Я — человек, а у человека раз на раз не приходится.

— Вот ты и разъясни, отчего у тебя раз на раз не пришлось, — попросил Володя мягко. — Помни, что мы не обсуждать тебя собрались не ругать, а просто поговорить по-товарищески.

Антипов, ногтем мизинца почесав бровь, поучающим тоном проговорил:

— Ведь все для высокой выработки было подготовлено: металл, инструменты... Что завод сильно нуждается в деталях, ты знал. Что же тебе помешало? Давайте разберемся общими усилиями, и, может быть, мы поможем тебе. — И, не утерпев, намекнул тонко: — За воскресенье ты, кажется, отдохнул, развлекся...

— Да уж, что другое, а развлекаться он умеет, — подтвердил Дарьин, усмехаясь светлыми глазами, и прибавил с чувством превосходства: — Если ты приехал добиться чего-нибудь, то уж вкалывай, себя не жалея, сил не щади! Правда, Фома Прохорович? Я ни о чем другом не думал, когда начинал свой путь...

Боясь, что они все-таки заговорят про вчерашний вечер, Антон торопливо и резко выпалил:

— В помощи вашей я не нуждаюсь! Но если я плох как нагревальщик, то пусть Фома Прохорович исключит меня из своей бригады! Вот и все.

Никто не ожидал, что Карнилин поведет себя так запальчиво и вызывающе. Наступила неловкая пауза. Дождь за окном перестал, но ветер неустанно гнал толпы серых туч, сильно напирал в окна, отступал и снова упруго штурмовал здание.

— Ты, Антоша, не прав, — слышался глуховатый голос Фомы Прохоровича. — На походе, бывает, идет солдат в первом ряду, песню запеваает, друзей веселит и вдруг — отстал. А друзья-то не пройдут ведь мимо, остаются, спросят — в чем дело, может, ногу натер, может, заболел. А как же! Без внимания не оставят товарищи-однокашники. И мы тоже вроде как на походе. Ты отстал, и вот тебя спрашивают: почему, что случилось с храбрым бойцом, то есть с хорошим рабочим? Они, товарищи-то твои, не осудить тебя призвали, как ты думаешь, а помочь. А ты на дыбы встаешь!

Антон покорно сел рядом с Гришоней и произнес, глядя в пол:

— Я и сам не знаю, отчего у меня сегодня все из рук валилось, честное слово... Голова болит, и вообще... Думаешь, хорошо мне, Фома Прохорович? Вас подвел... Я себя возненавидел...

Спустя полчаса, идя в душевую, Антон чувствовал, как в нем, остывая, оседает гнев и медленно затухает досада.

В душевой, наполненной паром, Фома Прохорович, растирая ладонью мускулистую грудь, говорил серьезно и заботливо:

— У нас, Антоша, все — в труде: в нем и правда, и слава, и все радости наши. Потрудишься хорошо, честно — и жизнь пойдет гладко; плохо работаешь — и все невзгоды на тебя наваливаются, точно черви на худосочное дерево, и не заметишь, как подточат! Да и от разных житейских, сердечных там и разных других неудач работа — первый лекарь. Я, брат, это давно понял, ты мне верь. — И, подумав немного, прибавил с сожалением: — Хотя если сердце защемлено чем, то и работа тоже на ум не пойдет... Значит, жизнь должна быть крепкой и чистой со всех сторон.

«Вылечит ли меня этот лекарь?» — мысленно спрашивал себя Антон, вставая под душ. Тонкие теплые струйки иголочками вонзаются в тело и, смывая грязь и усталость, приятно текут вниз, щекочут подошвы ног.

Через несколько минут, подняв воротник пальто, Антон задумчиво шагал по заводу, мимо лип с ошипанными ветром ветвями. Из открытых дверей корпусов вырывался ровный гул; вот из ворот сборочного цеха выкатилась только что сошедшая с конвейера машина, пробежала по двору и встала в ряд с другими, такими же зелеными, свежими, блестящими.

«Что ж, они, пожалуй, правы, — тоскливо думал Антон, идя к проходной. — Раз плохо работал, отвечай — почему? Ты не керосинку чинишь в своей квартире, а штампуешь поковки для машин. Все верно. А как они все смотрели на меня. Жалели... А Олег все усмехался. Чего это он усмехается все время?.. Хотя на его месте любой бы засмеялся. Первый кузнец! Эх, пропали у меня три года зря!.. Сколько бы сделать можно было!.. И Антипов... Тоже хорош гусь! На словах сочувствовал, а в душе-то, небось, ликовал, что сорвался я. Хозяином держался. Бровь почесал мизинцем, будто артист... А вечером я ему все же испортил, увез Люсю! — Мысль эта будто обожгла опять, заставила остановиться, лоб вспотел. — Лучше бы не увозил. Хоть надежда была бы... Нет уж, лучше сразу все узнать. Когда не знаешь, страшно. А вот узнал — и еще страшнее. Пусть!..»

Антон смутно ощущал в себе потребность поделиться с кем-нибудь своим горем. Безводов был занят, Дарьин расфрантился и отправился, должно быть, на свидание, а жена сидит дома одна; да к нему и не тянуло: пожалуй, иронизировать, поучать начнет. Имя Дарьина все чаще повторялось в цехе, на заводских собраниях, в газетах. Но изо дня в день росли в Антоне настороженность к нему и неприязнь.

Гришоня убежал на занятия шахматно-шашечной секции. Антону не хотелось сидеть в пустой комнате наедине со своими мыслями, и он, выйдя из проходной, решил:

«Пойду в кино... Сколько картин пропустил. Зайду домой, переоденусь и уйду».

Он пересек сквер и, подойдя к остановке, прыгнул на подножку переполненного трамвая.

— Подвигайся! — услышал он сзади знакомый голос.

Поднявшись ступенькой выше, Антон обернулся и увидел парторга Алексея Кузьмича Фирсонова, ловко вскочившего на ходу.

— Ты что так поздно едешь, Карнилин? — поинтересовался он.

— К Беззодову заходил. Прорабатывали, — неохотно улыбаясь, ответил Антон. — Поднимайтесь сюда.

— Ничего, скоро сходить.

Они спрыгнули на остановке, где вокруг высились многоэтажные заводские дома.

— Прорабатывали, говоришь? — усмехнулся Алексей Кузьмич, крупно шагая, обходя лужи с рыжими пятнами отсветов на них; при движении прорезиненный плащ на нем певуче шелестел. — Я слышал, неважно работалось нынче. Отчего это?

Антон начал сбивчиво говорить о печах, о загрузке и выемке заготовок, а Фирсонов понял, что с парнем творится что-то неладное, — это видно было по его отчаянному взгляду, по порывистым жестам, по напряженному голосу.

— Зайдем ко мне, — неожиданно предложил Алексей Кузьмич. И, побеждая стеснительность Антона, по-свойски взял его под руку. — Идем, идем, посидишь в семье, чайку попьем.

Со стороны завода вместе с дымными облаками нахлынула осенняя мгла; густая, отсыревшая, она затопила пространство, и дома, как бы расплывшись в ней, потеряли свои очертания; вспыхивали клетки окон, заманчиво напоминая об уюте обжитых гнезд.

В передней они вытерли ноги о дерюжный половочок у порога, разделись. Вслед за Алексеем Кузьмичом Антон вошел в небольшую комнату, наполненную теплым полумраком и приглушенными звуками музыки. В углу на маленьком столике горела лампа под сиреневым абажуром, неярко освещая двух женщин, сидящих на диване; одну из них, Елизавету Дмитриевну, жену Алексея Кузьмича, старшего технолога, он видел каждый день в цехе; вторую, сидящую на диване с ногами, конструктора Татьяну Оленину, он встречал мельком, лишь на комсомольских собраниях, — конструкторское бюро находилось в стороне от их корпуса, — но память сохранила ее девически стройную фигуру, забранные наверх волосы, прикрытые цветной косынкой, и прямой строгий взгляд темных глаз.

При появлении мужчин они прервали беседу и с любопытством посмотрели на Антона, вчерашнего похити-

теля Люси Костроминой... Чувствуя на себе пытливые взгляды, он сконфуженно топтался у двери. Хозяин как будто забыл о нем, перекидываясь короткими фразами с женой, шутил с Таней Олениной; сняв пиджак и повесив его на спинку стула, приблизился к приемнику и стал ловить другие станции.

— Что же вы стоите у порога? — сказала Елизавета Дмитриевна и встала, приглашая Антона: — Проходите, садитесь...

Таня спустила ноги на пол, сунула их в туфли, подвинулась, как бы давая ему место. Связанный ее пристальным взглядом, он робко шагнул к дивану, но Алексей Кузьмич, боясь, что женщины непременно учинят допрос по поводу вчерашнего и окончательно смутят Антона, быстро позвал, проходя в другую комнату:

— Иди сюда, Карнилин.

Антон боком проскользнул в дверь, осторожно прикрыв ее спиной, и услышал сзади, как ему показалось, насмешливо удивленный голос Олениной:

— Трудно поверить, что это он устроил набег на нашу компанию вчера...

Отделившись от женского общества, Антон сел в глубокое кресло, шумно и облегченно вздохнул.

— Как у вас хорошо, — невольно вырвалось у него.

— Вот и приходи, когда захочется, — живо отозвался Алексей Кузьмич. Он сидел напротив в таком же кресле и набивал трубку табаком. Их разделял низенький круглый столик с фарфоровой пепельницей на нем — бородастый карлик, сидящий на лапте, в зубах длинная, до полу, трубка, за спиной полый ранец для спичечной коробки; в лапоть стряхивали пепел.

Слушая нагревальщика, Фирсонов зажег спичку, раскурил трубку, встал и открыл форточку.

— Понимаете, Алексей Кузьмич, — убежденно говорил Антон, выделяя букву «о» и размеренно взмахивая рукой, — я тяну заготовку к себе, а она заваливается в ямку и не идет, а ведь жарко, лицо жжет, глазам больно смотреть, и Фома Прохорович стоит, ждет, злится — молот входостую ходит... Ну и сам злишься тоже, начинаешь с силой ковырять кочергой, тащить болванку, выворачивать ее вместе с кирпичами... Смотришь, и под в печи нужно заново настилать. Да и тяжело, честное сло-

во. — Открыв подсиненные крупные белки, взглянул на Фирсонова внимательно, лицо пылало от возбуждения.

— Ну, ну, — как бы подтолкнул его Алексей Кузьмич. — А как же сделать по-другому, полегче?

— Вот я и думаю, как сделать, — парень качнулся к нему, поведал как по секрету: — Вот если бы там, в печи, железные полосы настелить, вроде рельсов, чтобы заготовка скользила по ним, как по маслу, не задерживаясь, — и провел пепельницей по лакированной крышке стола; заметив улыбку на лице Фирсонова, хмуро свел брови. — Я понимаю, что простое железо там расплавится, сгорит. Но вот если бы... — замолчал в затруднении, с сомнением следя за выражением лица парторга.

— Говори.

— Если бы оно не сгорело, тогда это было бы здорово. — Подумал и добавил неуверенно: — А что, если вместо рельсов по поду печи трубы такие протянуть, а по ним воду пустить, они ведь тогда не сгорят, как вы думаете?

— Не сгорят, — подтвердил Алексей Кузьмич, поднялся и заходил по комнате; он знал, что многие печи именно так и оборудованы, но не сказал ему об этом, — пусть поразмыслит сам. — Знаешь что: я сведу тебя с Антиповым, ты объяснишь ему все свои соображения, он парень толковый.

Антон откинулся назад, на спинку кресла, словно на него замахнулись.

— Можно кому-нибудь другому?

Фирсонов вынул трубку изо рта.

— Почему?

Антон молчал, опустив глаза, сжав рот. Вспомнив про вчерашнее, Алексей Кузьмич рассмеялся, негромко, беззлобно, сел, навалился локтями на столик, положил трубку в пепельницу, — от нее вверх, извиваясь, побежала тоненькая струйка дыма.

— Как ты осмелился на такое, Карнилин? — спросил Алексей Кузьмич. — Пришел в чужую квартиру, увез девушку...

Крепко, до боли вцепившись пальцами в подлокотники, парень глухо и как бы с трудом вымолвил, не поднимая глаз:

— Не знаю, Алексей Кузьмич. Теперь жалею, что так вышло...

— Выходит, ум с сердцем не в ладу...

Алексей Кузьмич сосредоточенно перерубал пальцем текучую ленточку дыма над пепельницей.

На улице опять начался дождь, по стеклу резво побежали ломаные ручейки, в форточку ветер заносил освежающую водяную пыль.

Взглянув еще раз на Фирсонова, склонившегося над столом, на его приятное, хорошо выбритое, моложавое лицо, Антон почувствовал расположение к этому человеку.

— Я думал, нет на свете никого счастливее меня, честное слово... А она сказала, что не нуждается во мне, — тихо и с горечью сказал Антон.

Сквозь дверь вместе с тягучей музыкой просачивался невнятный говор женщин, короткий, приглушенный смехок; к их голосам присоединился мужской баритон — это зашел старший конструктор Иван Матвеевич Семиёнов, живущий двумя этажами ниже. Он вел себя тут как свой человек. Сейчас он принес большой пакет, с шутливым поклоном преподнес его Елизавете Дмитриевне. Таня заглянула в пакет и воскликнула обрадованно:

— Какие чудесные яблоки! Крупные...

— К Елисееву, небось, съездил. Не поленился, — сказал Иван Матвеевич и прислушался к голосам за дверью. — Кто это там?

Таня ответила шопотом:

— Вчерашний похититель Люси Костроминой.

Семиёнов удивленно приподнял брови:

— Да ну?! Любопытнейший экземпляр! Налетел, как смерч. — Он даже придвинулся к двери, прислушиваясь к разговору.

Елизавета Дмитриевна позвала пить чай.

— Идем, — отозвался Фирсонов и встал, приблизился к окну, с минуту прислушивался к накрапыванию дождя; надо было что-то сказать парню, ободрить, посоветовать.

Антон ждал.

— Смешно мне утешать тебя, Антон, — сказал он просто. — Характер твой не слабее моего, а может, сильнее, крепче, и воля, наверно, найдется, и мужская гордость, как что ты сладишь с собой и со своим сердцем. Скажу только одно: если любовь не помогает жить, работать — она недорого стоит. И еще скажу откровенно: ты лучше Люси.

— Не надо больше говорить о ней, — попросил Антон тихо и твердо.

Алексей Кузьмич уловил в его взгляде, в наклоне головы что-то решительное, волевое и в то же время чистое и одобрительно кивнул соглашаясь:

— Как дальше будешь?

— Работать буду, Алексей Кузьмич.

— Ну, это само собой. А еще?

Антон пожал плечами. Алексей Кузьмич сел, положил локти на столик, пристально вглядываясь в серьезное лицо Антона, повторил:

— Да, ты лучше ее. Но и в тебе чего-то не хватает, и, пожалуй, главного: задачи не вижу, цели. Не забывай, что ты в Москве, — это ко многому обязывает. Не пользоваться хоть частицей того, что накоплено здесь за многие века, — преступление. Так-то!..

Антон сосредоточенно молчал, не двигался.

Алексей Кузьмич открыл шкаф, снял с полки книжку, положил перед Антоном.

— Будет время — почитай. Только оберни ее газетой, что бы не запачкать переплета.

Антон взял книгу в руки, прочитал: — Джек Лондон «Мартин Иден».

Елизавета Дмитриевна, распахнув дверь, спросила с нетерпением:

— Долго вас ждать еще?

От чая Антон отказался и поспешил уйти.

— Не хочу я, честное слово. Я в другой раз лучше... — говорил он, пятась к двери, стесненный пристальным взглядом Тани Олениной, и ушел, позабыв попрощаться.

Проводив нагревальщика, Алексей Кузьмич сел к столу и, пододвигая к себе стакан с чаем, отметил довольный:

— Интересный парень...

— Ну, вот и новый объект для воспитания нашелся, — заметила Елизавета Дмитриевна с мягкой иронией. — Олега Дарьина вырастил, теперь, кажется, за этого взялся...

— Куда он умчал ее, Алексей, как? Расскажи, — живо и со скрытой насмешкой спросила Таня, намекая на Люсю Костромину.

— Дело в том, Танечка, что совсем это не смешно, скорее печально, — с легким упреком сказал Алексей

Кузьмич. — Ты понимаешь, что значит влюбиться впервые в жизни? И как! А та оттолкнула его. Вот он и страдает.

Склонив голову над столом, Таня медленно помешивала чай, звеня ложечкой о тонкий край стакана.

— Я не смеюсь, — сказала она вдруг изменившимся голосом. — Над такой любовью не смеются, ей — завидуют...

— Завидовать тут, я думаю, нечему, — солидно заметил Семиёнов, — а парня стоит пожалеть: ошибся адресом...

Таня и в самом деле искренне завидовала чужой любви. Судьба Тани сложилась странно, лишив ее удачи и счастья в личной жизни, как часто и непонятно почему случается с красивыми, умными и обаятельными женщинами.

В годы войны, когда Таня, дочь учительницы из волжского городка, заканчивала десятилетку, класс шефствовал над воинским госпиталем. Там она и познакомилась с молодым раненым летчиком Сергеем Олениным. Он завладел ее девическим воображением и, окончив лечение, женился на ней, увез в Москву к своей матери, заботливой старушке, души не чаявшей в своем единственном сыне. Кратковременный отпуск быстро пролетел. Таня проводила мужа в часть, не успев привыкнуть к нему как следует. Уезжая, он крепко, до боли, поцеловал ее и приказал ждать. Она ждала, но он не вернулся: в знойный июльский полдень пришло извещение о гибели Сергея Оленина.

Мать бесшумными шагами ступала по комнатам, безучастная, скорбная, сраженная горем. Она тихо, безропотно угасала на глазах Тани, как угасает догоревшая свеча. И осталась Таня одна, девочка-вдова; жила, будто затаив в себе крик отчаяния и боли. С осени она стала учиться в институте, вела себя подчеркнуто строго, чем и вызывала снисходительные улыбки подруг.

Практику Таня проходила в кузнице завода, где и подружилась с Елизаветой Дмитриевной, которая относилась к ней с материнской нежностью и вниманием. Алексей Кузьмич насмешливо-любовно именовал Таню вдовой.

Однажды во Дворце культуры Таня познакомилась с инженером соседнего завода, скромным на вид, прият-

ным человеком. Они ходили в театр, кино; Таня как будто увлеклась им всерьез. Но однажды инженер пригласил ее на вечеринку к приятелю. Их посадили за стол рядом, и тут Таня с ужасом увидела, что перед ней другой человек. Напившись, он напирал грудью на ее плечо и, обдавая водочным духом, хвастался: какой он замечательный и незаменимый работник на заводе, насколько он умнее всех в цехе, как независимо он ведет себя с начальством, как с ним считается сам директор... А не ставят его на высшую должность только потому, что завидуют ему... Он лениво облизывал губы, подымал брови и морщил потный лоб, чтобы поддержать налитые хмелем веки; лицо, расплываясь, таяло и лоснилось, как масляный блин; в одной руке он держал вилку зубьями вверх, другой, горячей и липкой, касался руки Тани.

Она едва досидела до конца. Когда они вышли на улицу и он хотел поцеловать ее, Таня оттолкнула его и убежала.

По окончании института, когда Таня осталась работать в конструкторском бюро, за ней стал ухаживать Иван Матвеевич Семиёнов, неистощимо внимательный, ровный, приятно услужливый, со скептическим складом ума. Несмотря на то, что ему было под сорок, он оставался холостяком. Волосы его, отступив со лба, начинались на темени и, пышно взбитые, шелковистые, стояли над затылком, подобно нимбу, виски несколько вдавлены и от этого лоб выпукло нависал над лицом с ястребиным носом.

Как-то раз, прохаживаясь с ним по саду «Эрмитажа», его излюбленному месту гулянья, Таня любопытствовала:

— Иван Матвеевич, почему вы не женитесь?

Он ответил с шутливой торжественностью:

— Не могу найти человека, которому я без опаски мог бы вручить свое замечательное сердце.

Таня лукаво прищурилась и усмехнулась:

— Просто вы трусите. Сознайтесь...

— Может быть, и так, — согласился он. — Храбрецов в этом деле не поощряю. И вообще горячность и агрессия в отношениях кончаются слишком трагично, в большинстве случаев для женщин. А женщины мы обязаны поклоняться как непревзойденной красоте земли, — так,

кажется, учат нас классические книги? — И он тихонько погладил руку Тани, лежавшую на сгибе его локтя.

Тане было спокойно и уютно с ним, он подкупал ее вниманием, зрелым житейским опытом и знаниями. Он ничего от нее не требовал, не лез целоваться...

Комната Семиёнова была увешана клетками с птицами. Впервые придя сюда, Таня была поражена веселым птичьим хором; очарованная, недвижно сидела она, следя за неугомной жизнью пернатых пленников: чижей, синиц, щеглов, попугаев и канареек. Стоял конец апреля, в окно светило солнце, и птички вели себя особенно неспокойно.

— Скучно-то им, наверное, бедненьким, — пожалела Таня, вздохнув.

— А вот сейчас мы их выпустим, — сказал Иван Матвеевич. — Для некоторых окончился срок заточения...

Он снял клетку с двумя синицами и позвал Таню:

— Идемте.

Выйдя во двор, где росли опушенные нежными кружевами листья молодые деревца, Семиёнов открыл дверцу клетки и обратился к синицам:

— Прощайте, крошки, вылетайте в большой мир, живите, веселитесь. Дарю вам свободу..

Синицы, примолкнув, вертели головками с крошечными точками глаз и не вылетали.

— Глупышки, выхода не знают, — проговорил Иван Матвеевич растроганно и выгнал их: одна вылетела из клетки и села Семиёнову на плечо, вторая вырвалась, покружилась и села на клетку; затем, как по команде, вспорхнули и пулями врезались в воздух, пропали в дальних деревьях.

Иван Матвеевич и Таня часто проводили вечера у Фирсоновых, и Семиёнов по обыкновению провожал ее домой.

На другой день перед обедом в бригаду Полутенина как бы мимоходом заглянул Антипов; из-под черной, застегнутой на все пуговицы куртки его выглядывал воротничок рубашки в клеточку и красный узел галстука, приглаженные волосы прикрывал черный берет, немного сдвинутый на левую бровь; технолог скупно кивнул Фоме Прохоровичу и, приблизившись к Антону, крикнул на ухо:

— В обед найди меня!

— Зачем? — спросил Антон и, перехватив клещи из одной руки в другую, передвинул заслонку, загнал внутрь печи рвущиеся наружу клочья огня, отступил от печи к окну; Фома Прохорович, пользуясь перерывом, стал закуривать, а Гришоня, по-заячьи подскочив, сунул свою острую, в крапинах мазута, мордочку между Антиповым и Антоном, спросил с любопытством:

— Чего, а?

Над заводом, в светлосинем высоком небе, двигались редкие сухие облака, по земле ползли тени, и порыжелые увядшие цветы в клумбе то золотисто вспыхивали, будто расцветали вновь, то опять скучно потухали, меркли.

— Зачем я тебе нужен? — еще раз спросил нагревальщик.

— А куда он тебя зовет? — допытывался Гришоня, дергая Антона за рукав.

— Алексей Кузьмич Фирсонов сказал, что у тебя предложение есть какое-то относительно переоборудования печи, чтобы я помог тебе технически оформить его. — И, не встретив готовности со стороны нагревальщика, проговорил, пожав плечами: — Впрочем, если не хочешь, — не надо.

— Ладно, — кратко молвил Антон, — в обед подходи сюда, скажу.

Но, видя, как технолог, удаляясь, с опаской нарядно одетой женщины обходил печи, ящики с деталями, прессы, внезапно и со злостью решил не разговаривать с ним.

Фома Прохорович, узнав о цели прихода Антипова, строго посоветовал:

— Нет, ты расскажи ему, Антон, а вдруг из твоей затеи толк выйдет? Ты, брат, этим не шути...

— Еще и премию отхватишь, чудак! — воскликнул Гришоня.

В перерыв Антипов опять появился у печи и, выслушав сбивчивые объяснения нагревальщика, принужденно улыбнулся.

— Опоздал ты несколько. Пойди на молоты, где штампуют коленчатые валы, там печи именно так и устроены, как ты говоришь.

— Почему же здесь нельзя так?

— Заготовка ваша коротка, — разъяснил Антипов, беря в руки металлическую болванку. — Нужно слишком

плотно класть трубы, чтобы она не соскальзывала, а это уменьшит нагрев печи. И вообще неразумно. Так-то... Подумай о чем-нибудь другом, — снисходительно посоветовал он уходя.

Антон не обиделся на Антипова; он искренне позавидовал ему:

«Вот она, сила!.. Пришел, бросил небрежно два-три слова, и нет меня. Да еще и улыбается при этом... А я перед ним вроде мальчишки или щенка какого. Этим он и Люсю покорила, независимостью, непринужденностью. Эх, учиться надо идти, пока не поздно!..»

В столовой Безводов позвал Антона к своему столу и, пристально разглядывая его, проговорил:

— Я к вам заходил вчера, стучал, стучал — никто не ответил. Где ты был?

— В гостях у Алексея Кузьмича: вместе с завода ехали, зазвал к себе, честное слово.

— Я верю, — улыбнулся Безводов. — Что вы делали?

— Расспрашивал, почему я плохо работал вчера. Я ему про печь свою объяснил в том смысле, чтобы переоборудовать ее малость. Ну, прислал он ко мне пижона этого, Антипова. Говорили сейчас... Тот сказал, что все это уже давно известно и рассуждаю я задним числом. Ну и пошел он к чорту! — угрюмо закончил Антон.

— Вот почему ты тигром смотришь, — засмеялся Безводов; рассмеялся и Антон, — словно молния в черной туче, сверкнула белозубая улыбка, озаряя чумазое его лицо. — А ты думал, что тебя в гениальные изобретатели сразу зачислят!

— Ничего я не думал.

— А вот это зря, — подхватил Володя. — Вместе с руками заставь потрудиться и эту деталь, — постучал пальцем по козырьку его кепки, — нечего ее жалеть, она не только для кудрей предназначена...

Антон поспешно снял засаленную кепчонку, сунул ее себе в колени.

— От кудрей остались одни воспоминания. А на что я тебе понадобился вдруг?

— Не вдруг, — сказал Безводов, осторожно принимая с подноса тарелку с борщом и ставя ее перед собой. — С тех пор как ты приехал, мы ни разу не виделись как следует. После смены зайди за мной, Дарьин тоже зайдет. Поговорим хоть. Может, в кино сходим после...

Вечером, когда Антон поднялся в комсомольское бюро, там играла музыка — Олег заводил патефон. Володя, как всегда, сидел на своем месте за столом и что-то писал. После дневного гула кузницы музыка действовала освежающе. Антон стал выбирать пластинки и подкладывать их Олегу.

Оторвавшись от бумаг, Володя сделал знак Дарьину; тот закрыл патефон, не проиграв всю пластинку, и пересел к столу. Они переглянулись, помолчали...

— Что же мы сидим? Опоздаем в кино, — сказал Антон и, не вызвав отклика, смущенно потоптался на месте.

— Подожди, обсудим один вопрос, — проронил Безводов и этим заставил Антона насторожиться.

— Какой вопрос?

— Твой, — сказал Дарьин резковато. — Садись.

Антон неуверенно сел и выжидающе застыл: он невольно ощутил приближение атаки и внутренне приготовился к отпору.

— Я наблюдаю за тобой с первого дня твоего появления в цехе, — заговорил Безводов, рывком откидывая назад густой чуб. — Не нравишься ты мне все больше и больше... Не таким я тебя знал. Ничто тебя не трогает, кроме разве заработка: получить побольше, купить лишний костюм, нарядиться — вот и вся твоя цель в жизни. Газеты в руках не держал. Что делается в стране, в мире, — для тебя покрыто мраком неизвестности, точно в глухой тайге живешь. Обывательщина...

Володя сердился на себя за необходимость высказывать товарищу обидные слова, и от этого его голос звучал отчужденно, почти презрительно.

— А я другое скажу, — прервал его Дарьин и повернулся к Антону. — Довольно прятаться за спину Фомы Прохоровича, греть руки у огня и гнать деньгу за его счет, — бросал он отрывистым, беспощадным тоном, точно давал пощечину. — Стыдись! Пора самому за молот вставать.

Антон был внешне спокоен, глаза опущены, только брови смыкались то жалобно, то сердито. Это было как бы продолжением вчерашнего разговора с Алексеем Кузьмичом Фирсоновым.

— Вот как вы заговорили, — прошептал он с трудом. — За твоей славой, Олег, не угонишься. Надо кому-то и у печи стоять.

— Моя слава невелика и останется при мне, я добывал ее горбом да вот этими руками. И пусть она тебя не тревожит. Мы обсуждаем сейчас твою судьбу, твою работу.

— Какая там к черту работа! — воскликнул Безводов с неожиданной злостью и с шумом выдвинул и задвинул ящик стола. — Его голова не тем загружена. Ухажером возомнил себя... Ты думаешь, нужен ты ей, Люське Костроминой? Ты не то дерево, на которое бы села эта птичка. И любовь твоя не нужна ей, и сам ты, такой...

— Какой? — выдавил Антон, задохнувшись внезапной обидой, — вспомнил слова: «Не нуждаюсь я ни в вас, ни в вашей любви», — и покраснел от стыда, густо, мучительно.

— Вот такой, какой ты есть.

— Ну и ладно! — процедил Антон сквозь зубы и почему-то с ненавистью поглядел на Безводова.

— Удивляюсь я тебе: сильный, неглупый парень, а знания у тебя, как были у подростка-ремесленника, так и остались в этакое... эмбриональном состоянии, — безжалостно бросил Безводов.

Антон встал, сказал враждебно:

— Хватит! Поговорили и будет. Я не хочу больше вас слушать. За то, что помогли приехать сюда и устроиться, спасибо. А выслушивать вас больше не буду, своим умом проживу. Вчера отчитывали, сегодня опять. Хватит! — повторил он и повернулся к выходу.

— Стой! — крикнул Володя и, выбежав из-за стола, схватил Антона за плечи, силой посадил на стул.

— Что вам от меня надо? — угрюмо спросил Антон.

— Сколько раз говорили тебе: иди учиться, — потребовал Безводов. — В вечернюю школу поступай.

— Что ты мне все тычешь: учиться, учиться... А если я не хочу учиться? Ну? Сам-то ты учишься? Думаешь, техникум окончил, так и образован со всех сторон?

Безводов сел, в замешательстве глядя на Антона. Тот смягчился, проворчал:

— Легко сказать — учиться! При такой-то работе...

Дарьин возразил не без гордости:

— У меня работа не легче твоей, а потрудней, пожалуйста. Но я учусь на курсах мастеров. Володя поступает в вечерний институт.

— Занятия в школе давно начались — не примут, — с грустью сказал Антон, понимая, что товарищи тысячу раз правы, что он должен не возражать им, не сопротивляться, а благодарить их за участие, за поддержку; как бы рассуждая сам с собой, он повторил с беспокойством: — Нет, не примут меня.

— Устроим! Через Алексея Кузьмича устроим, — закричал Володя.

Посидели молча, не двигаясь, как бы считая подземные толчки, — внизу били молоты.

6

Неуверенно вошел Антон в школу рабочей молодежи. Тишина, пустота и полумрак в коридоре заставили его настроиться. Отогнув воротник пальто и сняв фуражку, он неслышно, почти на цыпочках, прошел к столику у стены, где сидела дежурная, склонившись над раскрытой книгой, и спросил шопотом:

— Где можно видеть директора?

— Дмитрий Степанович сейчас на уроке, — ответила дежурная и, взглянув на будильник, посоветовала: — Посидите, через пятнадцать минут я дам звонок на перерыв.

Антон сел. Покой, монотонный голос учителя за дверью, невнятное ощущение множества примолкших людей в классах напомнили детство, хитрые ученические проделки, чехарду в коридорах, игру в снежки, чтение исподтишка под партой истрепанных книжек про пограничников, про Чкалова — все хотели быть летчиками; тишина здания точно взрывалась, наполняясь неистовым, распирающим стены гулом, звоном, топотом сотен рысистых ног... Антон улыбнулся, как бы услышав издали угасающий звон веселых колокольчиков тех далеких и милых лет. Садиться вновь за ученическую парту было непривычно.

Антон и сейчас ждал такой же суматохи и разногласия, когда дежурная нажала кнопку звонка. Но звон рассыпался по этажам и затих, а тишина все еще оставалась неколебимой. Только спустя некоторое время из классов стали появляться ученики: скупые на улыбку парни с утомленными лицами и медлительными движениями останавливались у лестницы покурить; девушки

неторопливо прохаживались по коридору, с деланным безразличием глядели в окна, где за стеной огромный город жил вечерней жизнью.

И Антону жадно захотелось так же вот, жертвуя веселыми вечерами, сидеть в классе, слушать учителя, решать задачи и возвращаться домой каждый день новым, обогащенным.

Но, глядя на директора школы, Дмитрия Степановича, высокого, угрюмого старика, который не спеша шел среди учеников, подумал с тоской и страхом: откажут.

— Идите скорее за ним, — сказала Антону дежурная, когда учитель, пропустив впереди себя худенькую, с черной челочкой женщину, вошел в свой кабинет.

Приоткрыв дверь и спросив разрешения, Антон вошел следом за ними.

— Я хочу поступить в школу, — проговорил он, окинув взглядом стопки книг и глобус на столе.

Дмитрий Степанович устало и равнодушно ответил:

— Прием закончен.

Антон качнул головой и, как бы соглашаясь с ним, сказал упавшим голосом:

— Я же говорил, что не примут... — и продолжал стоять посреди кабинета, теребя в пальцах фуражку, с сожалением думая, что пройдет еще год без пользы.

Учитель и учительница тоже хранили молчание. Антон жалобно и с надеждой взглянул Дмитрию Степановичу в глаза и покоряюще просто попросил:

— Примите меня, пожалуйста... Мне очень надо подучиться, честное слово!

Учителя переглянулись, едва приметно улыбнулись, Дмитрий Степанович пожал плечами. Антон стоял молчаливый и понурый.

— В какой класс вы хотите? — спросил учитель, как бы сжалившись над ним.

— В восьмой.

— Документы с вами?

Антон поспешно вынул бумаги и с готовностью подал их. Дмитрий Степанович просмотрел свидетельство об окончании семилетки, заявление, характеристику с места работы, и лицо его смягчилось, жесткие седоватые усы, косо свисающие книзу, шевельнулись, лохматые, ежистые брови приподнялись, открыв потеплевшие глаза. Он провел ладонью по густому ежику, в котором будто навсегда

застрял дым или осел туман, и проговорил молодым рочующим басом:

— Право не знаю, что с вами делать? — повернулся к женщине с черной челочкой. — Что вы скажете, Анна Евсеевна, а?

— Давайте примем его, Дмитрий Степанович, — отозвалась та.

— Где посадим? Переполнено...

— К зиме-то ведь наверняка отсеется часть.

Дмитрий Степанович обратился к Антону:

— Учтите, молодой человек, уже месяц как идут занятия.

— Я догоню, честное слово, — быстро заверил Антон. — Только примите... пожалуйста.

— Из кузницы мало кто учится у нас, — проговорил учитель. — Работа там тяжелая, напряженная. Это я хорошо знаю. Нелегко придется. Многие начинали, да бросали, не выдерживали. Вы не бросите?

— Я не брошу.

Дмитрий Степанович смотрел в его юношески нежное лицо со свежим румянцем на щеках, с непреклонным взглядом зеленоватых немигающих глаз и упрямо сжатым ртом.

— Приходите завтра на занятия, — сказал Дмитрий Степанович и привычным жестом разогнал усы по стономам.

Антон поспешил уйти; пятясь к двери, пробормотал неразборчиво:

— Спасибо, Дмитрий Степанович, спасибо, Анна Евсеевна...

Выйдя из школы, Антон, не застегивая пальто, крупно зашагал по улице. В стороне над высотным зданием ярко сияли электрические лампы подъемного крана, похожего на клюв огромной птицы; огни над городом сливались в сплошное зарево; морозный ветер развеивал полы пальто, гасил и не мог загасить горячего румянца на щеках, блеска в глазах.

На другой день, перед концом работы, когда Фома Прохорович отлучился от молота, Гришона известил, подойдя к Антону и передвинув заслонку печи, чтобы пламя не так палило и выло:

— Сегодня во дворце вечер отдыха. Пойдем? Будет очень интересно!

Антон оставил кочергу, снял рукавицы, протер глаза и сказал со сдержанной радостью:

— Отгулялся я, Гришона, хватит — впрягаюсь в воз.

Спрятав руки в рваные карманы спецовки, Гришона прицелился в него одним глазом.

— В качестве лебеда или шуки? — И, уткнув губы ему в ухо, посоветовал, как по секрету: — Выбирай лебеда, все-таки заоблачные выси... — откинувшись, сморщился и захохотал.

— В школу я поступил. Учиться буду.

— Знаю я вас, энтузиастов, — пренебрежительно махнул рукой Гришона и сплюнул на горячую деталь — слюна закипела и испарилась. — Все храбрые поначалу, а потом в кусты. Я здесь два года, видел таких храбрецов! И ты свернешь в кусты: веселиться любишь, кино любишь, маскарады любишь, Люсю любишь, а она не даст тебе учиться: встретить, проводи... Лучше и не начинай.

При упоминании о Люсе Антон помрачнел, и Гришона прочитал в выражении его лица, глаз ожесточенную решимость.

— В образованные тоже, значит, подался... — сказал он с ноткой осуждения и зависти; петушина бойкость исчезла, он сник, поскукшел, сделался как бы еще острее и меньше ростом; он отодвинулся к молоту навстречу Фоме Прохоровичу, сверкая засаленными штанами с прорехами.

Узнав о решении нагревальщика, кузнец точно расцвел весь, одобрительно закивал Антону. Тот легко вымахнул из печи белую, почти прозрачную, переливающуюся и весело стреляющую искрами болванку, поднес и положил ее на штамп. Фома Прохорович молодо встряхнулся и с каким-то торжествующим гулом обрушил на нее увесистую «бабу», бил и мял сталь, пропуская через ручьи, как бы выжимая из нее живые багряные соки, и сталь меркла, гасла, твердела, становилась иссиня-черной.

— Слежу за тобой, Антон, что ты и как!.. — кричал кузнец вперемежку с ударами. — Вот... Хвалю! Гришона тоже вот... бойкий, но, как воробей, прыгает по верхушкам, по веточкам и щебечет. Глубины не вижу... Хочу, чтобы ты кузнецом стал. Приглядывайся...

По окончании смены Антон против обыкновения не

задержался в цехе, а, сбросив спецовку и наскоро испу-
павшись, убежал.

И вот он сидит в классе, за партой, где вырезано но-
жом и покрашено черпилами имя «Лилия». Рядом с ним —
фрезеровщица Марина Барохта, стройная, высокая де-
вушка с вызывающе смелым лицом: густые, сросшиеся на
переносице черные брови, продолговатые глаза с жарким,
непотухающим блеском, пышная, сбитая в одну сторону
черная грива волос, улыбка ослепляющая, а временами
злая; во всем ее облике что-то вдохновенное, неукроти-
мое и ожесточенное. Но неуловимо, где-то в глазах, в
складке рта, таится горечь и печаль.

— Нагревальщик? — спросила она, познакомившись с
Антоном. — С Полутениным куете? Знаю. Получше бы
работать не мешало. Поковки шлете — дерешь, дерешь
их, ворох стружек навалишь, пока до сути доберешь-
ся... — Снисходительно окинув его взглядом, едва примет-
но улыбнулась. — Учиться отважились? Многие из ваших
разбегались, да мало кто прыгнуть смог — страшились
высоты, сворачивали.

— А я не сверну, — сказал Антон, как бы дразня ее.

Она с сомнением хмыкнула и отвернулась.

Прошел первый урок, второй, третий, начался четвер-
тый... Заложив книгу пальцем, Дмитрий Степанович то
прохаживался возле доски с картой, то останавливался у
стола, и в классе монотонно звучал его сочный басок...

Постепенно веки Антона стали набухать, наливаясь
свинцом — настолько отяжелели, что тянули всю голову
книзу; фигура учителя, расплываясь, неясно отдалялась
и уменьшалась, и откуда-то издалека просачивался сквозь
клейкий туман дремоты его рокочущий голос:

— Восточные славяне занимались земледелием... Лю-
ди выжигали леса, корчевали корни деревьев, взрыхляли
почву... Гончарное производство, охота... — слышалось
Антону; он высоко поднимал брови, чтобы поддержать
веки, но они опять мучительно-сладко слипались.

Изредка Дмитрий Степанович умолкал и поверх ро-
говых очков скользил взглядом по рядам учеников, по
их лицам, вдумчивым и утомленным, полным спокойного
осмысленного внимания, замечал на партах усталые от
работы руки с карандашом в загрубелых пальцах; мно-
гие из этих взрослых работающих людей — отцы семейств;
жертвующая временем, покоем, отдыхом, они изо дня в день

приходят сюда. терпеливо проводят в классе вечера, для
того чтобы немножко больше знать. И Дмитрию Степа-
новичу страстно хочется отдать им все свои знания, обо-
гатить их душу, насытить ум.

Но вон там сзади чья-то голова упала над партой и
не поднимается, другая голова скользнула по руке вниз,
вскинулась и оперлась подбородком на ладонь, чьи-то
глаза медленно-медленно закрываются, и пальцы роняют
карандаш.

«Засыпают, устали, еще не втянулись», — думает он с
отеческой нежностью, и в сердце предательски закрады-
вается сентиментальная старческая жалость к ним.

Дмитрий Степанович, скрывая под висячими усами
улыбку, откладывает книгу и неожиданно громко и гроз-
но командует:

— Встать:

Антон вздрогнул, вскинулся бессмысленно, вытара-
щив глаза. Послышался шорох, стук, возня поднимаю-
щихся людей. Ученики непонимающе глядели на учителя.

— Повторяйте за мной, — приказал он и выбросил
руки вперед. — Раз!

Класс с удивлением повторил его движение. Дмитрий
Степанович. быстро согнув руки в локтях, прижал кула-
ки к груди:

— Два!

Раздались глухие удары десятков кулаков в грудь.
Учитель выбросил руки вверх:

— Три!

Взлетели ввысь широкие, увесистые ладони и снова
гулко стукнулись в широкие груди.

— Четыре!

— Еще раз повторим, — скомандовал учитель. — Раз,
два, три, четыре! Быстрее! Раз, два, три, четыре! Еще
быстрее! Раз, два, три, четыре!

С шумом мелькали взмахи, в единые вздохи слива-
лось учащенное дыхание, глаза искрились смехом. Ка-
кая-то девушка в заднем ряду не выдержала, срываясь,
тоненько взвизгнула, за ней несмело прыснули двое-трое,
их громко поддержала одна половина класса, потом со
всей силой зарокотали мужские басы. Смех гремел буйно
и раскатисто; скромно посмеивался в усы и Дмитрий
Степанович, поглаживая дымчатый ежик волос.

— Теперь хотите спать? — спросил он устрашающим тоном.

— Теперь не до сна, Дмитрий Степанович, — откликнулось несколько голосов. — Теперь на беговую дорожку вприру.

— То-то! Вы у меня живо отучитесь спать на уроках, — ворчливо грозил он, беря книгу. — Я вам покажу сон!.. Карнилин, идите к карте, будете ответ держать. О чем я говорил? Чем занимались восточные славяне? Я только что объяснял...

Антон взглянул на карту, всю изрезанную извилистыми линиями, странную, не похожую на современную — она ничего ему не говорила. Смущенно потоптавшись, взял указку, покосился на Марину Барохту — девушка наблюдала за ним пылливо, как бы поддразнивающе, — сознаваться, что проспал, не хотелось.

— Чем занимались? — повторил он вопрос, напрягая ум. — Простые люди, славяне или какие другие народности всегда, во все времена работали, трудились, Дмитрий Степанович... А что они могли делать?.. Я думаю, землю обрабатывать, леса корчевали, хлеб сеяли, рыбу ловили, если у воды жили, охотились, наверное... Какие ремесла были?.. — Антон остановился, подумал, глядя указку, вспомнил слова Фомы Прохоровича и разъяснил убежденно: — Конечно, тогда и в помине не было электриков, фрезеровщиков, радиотехников, конвейеров, заводов-автоматов. А вот кузнецы были. Были, Дмитрий Степанович, стояли у горна, у наковальни, стучали молотками, ковали: для землешца — лемех, для воина — меч. И еще раньше были кузнецы... Наша профессия идет, можно сказать, из седины веков... И до сих пор не утратила она своей важности, значимости.

Дмитрий Степанович, улыбаясь, негромко крикнул, тронул усы и позволил Антону сесть, а Марина Барохта, встречая Антона, удивленно отметила:

— Вывернулся-таки!..

Глава вторая

1.

Безводов любил ранний час выхода на работу. Над заводом, в бесцветном, будто вылинявшем за лето, небе с неяркими лучами восхода, распростертым крылом ворона

висит дым. Утренний зеленоватый воздух насыщен пронзительной свежестью первых заморозков. Протяжные гудки особенно певучи в этой утренней чистоте. И как бы повинуясь родному, волнующему зову, текут по тротуарам, по мостовым и бульварам людские потоки. Солнечные лучи золотят юношеские лица, озорные глаза, в которых искрится смех при воспоминании о минувшем вечере и неожиданных лукавых сновидениях. Пожилые рабочие идут размеренно и споро, полные сосредоточенной суровости.

В этом шествии людей к месту своего труда было что-то торжественно-праздничное и могучее, и Володя Безводов, шагая, оглядывался и думал: «Кто-то из них совершит сегодня открытие, пусть самое незначительное, но крайне необходимое для его станка, для молота, кто-то вырвется вперед, выполнив две, пять, восемь дневных норм... А сколько ценностей будет создано за этот день!» И, ощущая себя живой частицей огромного коллектива, Володя радостно вздрагивал и убыстрял шаги.

Фому Прохоровича Полутенина он увидел издалека — узнал по широкой, чуть сутуловатой спине, по крупной наклоненной голове в кепке, по грузным шагам и скупым взмахам рук; догнав его, тронул за плечо.

— А, это ты, Володя, — приветливо сказал кузнец, не сбавляя ходу. — Иду вот и гляжу: много у нас ребят, и ладные все какие...

— Только в одной нашей кузнице половина рабочих — молодежь. Сила! Обучить бы ее и дать полный ход...

— Верно, — подтвердил кузнец.

— Хорошо бы прикрепить к каждому опытному рабочему-коммунисту по одному комсомольцу — учи. Как вы думаете, Фома Прохорович?

— Тоже дельно.

— А вы могли бы пригреть кого под своим крылом?

— Двоих грею: Курёнков и Карнилин у меня. Хватит, я думаю.

Они свернули на бульвар, ведущий к проходной; кое-где на голых ветвях деревьев зябли одинокие почерневшие листья, возле железной ограды мерцала посеребренная инеем жухлая трава.

— Довольны вы теперь своим нагревательщиком, Фома Прохорович? — спросил Володя.

— Ничего, ловкий парень, — промолвил кузнец, привычно покашливая, и доверчиво посмотрел на Володю. Тот немедленно подхватил:

— А не пора ли ему к молоту вставать?

— Пора. Но он что-то не больно рвется вставать-то.

— Еще бы! — воскликнул Безводов. — За вашей спиной ему куда лучше: и почет, и заработок, и никакой ответственности.

Кузнец сдержанно усмехнулся:

— Может быть, и так...

— А вы приструните его как следует, — горячо посоветовал Володя.

— Ладно, — пообещал Фома Прохорович.

Антон шел по цеху, за ним семенил Гришоня Курёнков и говорил что-то, но тот не слышал его, думал, с завистью глядя на кузнецов, которые по-хозяйски подступали к своим молотам: «Чем я хуже их? И голова на плечах есть, и сила в руках, и ловкость найдется. А вот трушу, все боюсь чего-то. Олег правду сказал: прячусь за спину Фомы Прохоровича. А чего тут бояться, в самом деле? Хватит! Сегодня же скажу Василию Тимофеевичу, чтобы переводил на молот. Только вот с учебой как? Трудно будет, вот беда... Но попробую! Молот школе не помеха. Согласится ли старший мастер, — вот вопрос. На него как найдет...».

Поворачивая к своему агрегату, Гришоня отшвырнул ногой валявшийся на полу шатун. Деталь звякнула об угол станины и завалилась в ямку. К Гришоне сейчас же подбежал Василий Тимофеевич, возмущенно по-бабьи всплеснул короткими руками, бугристые щеки его задрожали, и парень заметил колючий блеск маленьких глаз.

— Ты видишь, что швыряешь?.. — угрожающе спросил Василий Тимофеевич, тыча пальцем в деталь. — Десятку найдешь, небось, подхватишь и в карман скорее — на кино, на пиво. А деталь дороже десятки, в нее люди силу свою вливали, она труда стоит, а ты ее ногой — пусть валяется. Подыми и положи в ящик. Рачитель!..

— Кто-то раскидывает, а я должен убирать, — заворчал Гришоня, нехотя поднимая шатун.

— Без разговоров, — прикрикнул на него Самылкин, повернулся к Фоме Прохоровичу и, не меняя тона и вы-

ражения лица, приказал: — Захвати своих помощников. Прохорыч, и зайди ко мне. Слово хочу сказать.

Через пять минут старший мастер, перебирая на столе бумажки со множеством неясных маслянистых отпечатков пальцев на них, увещевал рабочих; они набились в маленькую комнатку, сидели на серых засаленных скамьях, на корточках на полу, привалившись спиной к стене, курили, и синий дым слоисто колыхался под потолком.

— Так вот... Среди нас затесались мелкие вредители... — объявил старший мастер, подождал, сняв кепку, провел ладонью по круглому гладкому черепу от затылка ко лбу. — Я говорю именно про тех людей, кои делают бракованные детали и боятся показать их — прячут в разные места: нынче утром вынул из вытяжной трубы клапаны, шатуны и так далее... — Василий Тимофеевич возвысил голос, лицо и шея его побагровели. — И что вы делаете? И как вам не стыдно, дорогие товарищи!

В углу девушки нашептывали что-то Гришоне, и тот, мотая желтой, как расцветший подсолнух, кудлатой головой, трясся в беззвучном смехе, изредка срываясь и то-ненько взвизгивая.

— Гришка, перестань смеяться, — не поворачиваясь, бросил ему Василий Тимофеевич; Гришоня пригнулся, продолжая всхлипывать от смеха.

— Получается так, — выговаривал старший мастер, — люди льют для нас хорошую сталь, стараются, думают — на дело она пойдет, а мы ее портим и в угол, в яму сплавляем от глаз подальше — ржавей. Некрасиво!.. А если кто и завидит, что лежит на полу поковка, так не то что поднять ее, ногой пхнет еще дальше — пропадай!

Рабочие молча прятали за дымом улыбки: были уверены, что старший мастер если и нашел бракованную деталь, то одну-две, не больше, и сейчас сгущает краски. Резко повернувшись, Василий Тимофеевич крикнул Гришоне:

— Брось смеяться, тебе говорят! Что ты нашел смешного? Про тебя речь веду.

Поперхнувшись смехом, Гришоня вытянул шею наивно и пискливо проговорил:

— Да меня рассмеивают, дядя Вася...

— Сколько раз тебе говорили — не садись с девчонками, а ты свое — липнешь к ним. — И, сохраняя в голо-

се тот же гнев, пригрозил всем: — Я, гляди, ребята, предупреждаю вас: дознаюсь, кто прячет брак, тому не сдобровать!..

Рабочие не спеша выходили из конторки.

Антон решил не откладывать разговора со старшим мастером. Он задержал и Фому Прохоровича на случай поддержки, если мастер будет артачиться. Остался и Гришоня.

Антон молча встал перед столом Самылкина. Тот хмуро, ворчливо спросил:

— Что тебе?

Антон поглядел на Полутенина и сказал твердо:

— Хватит мне, дядя Вася, у печки греться. Переведите на молот.

— Что? На молот?!.. — переспросил Василий Тимофеевич, вдруг засмеялся, встал; Антон удивленно отступил. — Милый, да какой же ты молодец!.. У нас же с кузнецами зарез. Я было подумал о тебе... Но ведь я знаю твой характер: уставишься своими глазами — лучше не связывайся. Вставай, дорогой!.. — Повернулся к Полутенину. — Как ты думаешь, Фома, сгодится?

— Сойдет, — отозвался кузнец.

Вмешался Гришоня:

— Он же у вас на «черной» странице числится, дядя Вася. А вы его кузнецом. Логика не вижу, Василий Тимофеевич.

— А ты молчи! — сердито крикнул старший мастер; Гришоня юркнул за спину Фомы Прохоровича и прыснул.

То, о чем все время мечтал Антон, находясь там, в маленьком волжском городке, о чем неустанно думал, работая здесь, в кузнице, с Полутениным, в чем завидовал Дарьину, приблизилось; это обрадовало и немного испугало его. Взволнованный, он взглянул на Фому Прохоровича, улыбнулся и вышел, направился к своему рабочему месту, вдумчивый, собранный, строгий...

В цехе то там, то здесь уже начали раздаваться первые, еще неуверенные пробные удары молотов. Фома Прохорович приблизился к стоявшему у печи нагревательному, дернул за козырек кепки, смущенно кашлянул и сказал сдержанным баском:

— Я тоже, Антоша, думаю, что тебе пора вставать к молоту. Как раз сегодня мы говорили с Володей об этом. Глаз у тебя зоркий, руки крепкие, удар верный. Талант

в себе имеешь — ты мне верь, — и хоронить его не резон. Надевай очки, иди пробуй!..

Антон с волнением встал к молоту, натянул рукавицы, взял в руки клещи.

И вот легла перед ним пылающая стальная болванка. Антон нервничал, плечи сводила судорога, нога нажимала педаль рывками, и многопудовая «баба» со штампом едва притрагивалась к заготовке, металл не заполнял форму ручья, и Гришоня, который стоял возле правого плеча Антона и сжатым воздухом сдувал с поковки окалину и смазывал раствором горячие ручьи, сопровождал удары ироническими замечаниями:

— Погладь ее, Антоша, нежнее, еще нежнее, вот так!..

Иногда же обрушивалась «баба» со всей яростью, жестко, с хрустом, так что пол вздрагивал под ногами, и тогда Гришоня, захлебываясь в восторге, издевательски взвизгивал:

— Хлещи ее, кузнец-молодец! Дави в лепешку, не жалей!

Антону надоели насмешки, и он в порыве гнева замахнулся на Гришоню клещами; тот метнулся за чугунную станину, испуганно выглядывая из-за нее на разъяренного парня.

— Убью, если будешь зубоскалить, честное слово!

Наблюдая за ними, Фома Прохорович усмехнулся; сняв рукавицу и доставая папиросу, он посоветовал Антону дружелюбно:

— Ты не злись и не торопись, рассчитывай, приравнивайся. Что ты ему прикажешь, молоту, то он и сделает, как закажешь, так и ударит!.. А начнешь злиться, рвать, он тебе отомстит, — не любит он плохого обращения. — Повернулся к Гришоне: — А ты не лезь: кинет тебя Антон на штамп вместо болванки.

— С него хватит, — обиженно проворчал Гришоня, выходя из-за станины, с опаской взглядывая на приятеля и желая все свести к шутке. — Оскалился!.. У, хищник!

— Давай, я постучу, — предложил Фома Прохорович, протягивая руку за клещами.

— Погодите, я сам.

Антон окинул взглядом цех: ревели печи, над ними вибрировала красная метель искр, ухали молоты, языки пламени разрывали сумрак, мелкие искрящиеся звезды чер-

тили воздух, движения людей были привычны, размеренно-ритмичны.

— Давайте! — крикнул он Фоме Прохоровичу и опустил на глаза очки. Быть может, именно в этот момент Антон впервые почувствовал в себе настоятельную потребность подчинить молот своей воле.

2

Весь день ковали они, меняясь местами. Несмотря на усталость и первые неудачи, Антон был весел и задирист. Когда пришли сменщики, он крикнул Илье Сарафанову:

— Эй, нагревальщик, подкинь болванку, проверю твои способности!

Сарафанов уныло мотнул головой и презрительно отвернулся.

— На молот перехожу, видишь? — с гордостью поведал ему Антон.

— Наплевать мне. Я скоро уйду с завода, — буркнул Илья неожиданно угрюмо.

— Почему?

— Нагибаться тяжело, — бросил он мрачно.

— Ох, пожалеешь!.. — предостерег Антон.

— Не твоя забота. — Придвинувшись к нему, Илья спросил сердито: — С Безводовым обо мне ты говорил?

— Ну, я.

— Тебя кто просил?

— А что особенного? Он не первый встречный, а комсорг.

Два дня назад, придя рано в цех, Антон с удивлением и испугом заметил торчащие из-под печи длинные ноги. Он осторожно тронул их носком ботинка; ноги сейчас же скрылись, послышался недобрый возглас: «Чего надо?» — и показалась взлохмаченная голова Сарафанова. Он вылез, сощурился покрасневшие глаза с отечными припухлостями под ними, взглянул за окно, где студеной и прозрачной ключевой водой разливался синий рассвет, спросил со скрытым беспокойством:

— Смена пришла?

— Сейчас будут сходитьсь, — ответил Антон. — Что ты здесь делал?

— В бильярд играл, — хрипло ответил Илья, прокашлялся, отряхнул кепку о колено, прикрыл ею пыльные всклокоченные волосы и, ссутулившись, побрел в душевую мыться.

Антон догадался, что Илья ночевал здесь, на теплом полу, и в тот же день, зайдя к Безводову, все рассказал.

— Не может быть... — смятенным шопотом произнес Володя. Сузившимися глазами долго и остро смотрел в одну точку. — Неспроста же он ночевал в цехе, а?

Дождавшись обеденного перерыва, Володя поднялся в столовую, чтобы встретить там Сарафанова. Он обошел все столы, но нагревальщика не нашел. Тогда он спустился опять в цех и увидел его у печи. Сарафанов сидел на куче сырых, холодных болванок, неподвижный и безучастный, и жадно затягивался горьким махорочным дымом большой, как сигара, самокрутки.

— Почему ты не идешь обедать? — спросил Безводов, приближаясь к нему.

Сарафанов подтянул ближе к животу колени, нахмурился.

— Я уже пообедал.

— Врешь. Я только что из столовой, тебя там не было.

— Да я и не больно хочу есть-то, — выдохнув густой клуб дыма, неохотно пробурчал Илья.

— Может быть, ты заболел, Илья? Как же ты будешь работать без обеда? — Черные глаза Безводова смотрели на парня пристально и требовательно; тот отвернулся и сказал сдавленно:

— У меня нет денег.

— Идем, — сказал Безводов решительно, — вставай,

Сарафанов нехотя поднялся и понуро побрел за Безводовым.

— И часто у тебя так бывает? — спросил Володя.

— Случается, — неохотно признался Илья.

В столовой нагревальщику принесли обед. Многие рабочие уже отобедали и не спеша выходили, закуривая, и в помещении становилось тише, просторнее. Сдерживая себя, Илья, не торопясь, ел подернутый золотистой яской жира густой борщ.

Безводов внезапно и строго спросил:

— Почему ты ночуешь в цехе?

Утопив в борще ложку, Сарафанов вскинул голову.

— Кто тебе сказал? Карнилин?

— Ты ешь, знай... Не все ли равно, кто сказал. Тебе негде жить?

Сарафанов, накренив тарелку, дохлебывал борщ: молоденькая девушка в белом фартучке и белой наколке принесла и поставила перед ним котлеты и стакан вишневого киселя. Видя доверчивое внимание Безводова, Илья ответил, разделяя ребром вилки котлету:

— Сколько раз просил, чтобы общежитие дали — не дают: живи, говорят, где живешь... А мне жить там невозможно. У тетки поселился, а она женщина нервная, шипучая, только и знает, что ходит по комнате, углы вылизывает, накидочки и скатерти поправляет... Я дальше дивана и не хожу. И то она ворчит, что во сне я много ворочаюсь, пружины порчу. Сильно не любит, когда я с ночной смены прихожу, ругается... — Смахнул со лба капельки пота, добавил: — Когда у приятелей ночую, а уж если нельзя, так... в цехе остаюсь. Тетка обижается, что денег я мало ей даю. А у меня самого их нет.

— А почему у тебя нет их? — быстро спросил Володя.

— Сам знаешь почему: норму не выполняем... Ну и приходится на руки две-три сотни.

— А почему норму не выполняете?

— Это бригадира надо спросить, Саляхитдинова, он лучше знает. — Подумал и прибавил: — Уйду я от него. Кипит, как самовар, а толку чуть... Вообще уйду из кузницы.

— Ты говоришь, что две-три сотни на руки получаешь, так? Но ведь получка была позавчера, куда ты девал деньги?

Сарафанов глядел в тарелку, часто мигал, потом свел брови, хотел что-то сказать, но промолчал, потянулся за киселем.

— Ты к кому ходишь в общежитие-то?

— К Варлагану, прессовщик он.

Безводов откинулся на спинку стула, вздохнул.

— Понятно. Допивай кисель, сейчас перерыв кончится.

Наутро Безводов, дождавшись секретаря партбюро, рассказал ему о Сарафанове.

— Надо что-то делать с этой бригадой, Алексей Кузьмич. Вызовите Саляхитдинова еще раз, они оба уходят собираются, — заключил Володя с беспокойством.

Фирсонов сидел за столом, протянутая рука его лежала на телефонной трубке, но не снимала ее, гладко вы-

бритое лицо дышало свежестью, покоем, синие глаза чуть сощурены: он решал какую-то сложную задачу.

Несколько раз пытался он вызвать Саляхитдинова на откровенную беседу, но всегда терпел неудачи. Кузнец влетал в комнату заранее накаленный, ошестившийся, нелюдимо вставал у двери и, уставившись на него диким взглядом, отрывисто спрашивал:

— Зачем звал, секретарь?

— Садись, Камиль, — предлагал Алексей Кузьмич дружески.

— Не хочу садись, — отвергал Саляхитдинов и, багровея, выпаливал без передышки: — Хочешь в душу мою глядеть? Гляди! Вот она! Не хочу работать, уйду из цеха! Металл другим дают, много «кроватей» металла дают — куй, а мне не дают — я стой! Наладчики, мастера, слесари к другим идут, ко мне не идут — Саляхитдинов плохой. У других нагревательники — держись! У меня Сарафанов — шайтан, лентяй. Как тут норму гнать! Живу в общежитии — знаешь, сколько людей? Шестидесят человек людей, а комната одна! Хорошо это? Невеста есть, жениться надо, детей надо, куда приведу жену? Думай, секретарь! Можешь помочь Саляхитдинову? Можешь дать комнату?

— Нет, сейчас не можем, — отвечал Алексей Кузьмич.

Кузнец возвышал голос:

— А зачем звал, если не можешь? Слова слушать, обещания слушать — не хочу, не буду! — И высказывал, исступленный.

— Замечай, Володя, — заговорил Алексей Кузьмич и отнял руку от телефона, — когда человек не любит свою профессию, то работа у него, как правило, не клеится, и цех и завод ему не нравятся. А не любит он ее потому, что она не дает ему радости, ну и заработка, конечно, то есть материального достатка. Надо помочь ему полюбить профессию, чтобы работа стала его потребностью, без которой он не смог бы жить, как без хлеба, без воздуха.

— Но как это сделать?

— Погоди, сейчас придет Василий Тимофеевич, посоветуемся.

Старший мастер вкатился в комнату, грузно рухнул на стул и блаженно заулыбался, шумно отдуваясь.

— Бывало, я любую лестницу одним приступом брал, как орел взлетал, а теперь отяжелел. — Он снял с головы кепку и стал обмахивать ею горячее лицо.

— Надо спортом заниматься, дядя Вася, — улыбнувшись, сказал Володя.

— Хорошо бы, да, гляди, парень, опоздал — устал. — Всем корпусом повернулся к Фирсонову. — Зачем звал, Алексей Кузьмич?

— О бригаде Сяляхитдинова хочу потолковать.

Старший мастер поморщился:

— Хватит уж пестовать ее — распустить пришла пора, да и только...

— Распустит легче всего, Василий Тимофеевич. Это всегда успеется.

— А что делать? Я, гляди, парень, к ним по всякому — и лаской, и сказкой, и таской, и ругал, и угрожал, голько наизнанку не выворачивался. Станешь говорить, а татарин этот как распалится, замечется, — не рад будешь, что связался...

— Надо помочь им в этом месяце выполнить норму и хорошо заработать. — сказал Фирсонов и засмеялся, когда Самылкин протестующе вскочил.

— Это невозможно!

— Ты ведь не пробовал.

— И не стал бы пробовать! Но если ты просишь — могу, — нехотя согласился Василий Тимофеевич. — Но, гляди, ребята, предупреждаю: все это не в коня корм.

Самылкин ушел, и Фирсонов сказал Володе:

— А Сарафанова надо бы поселить в общежитие, поближе к хорошим, крепким ребятам, — скажем, к твоему Карнину...

Когда Сяляхитдинов пришел в цех, то заметил возле своего молота необычное оживление. Вобрав голову в могучие плечи борца, косолапо переступая с ноги на ногу, он подозрительно озирался. Слесарь-наладчик выверял, регулировал штампы после утренней смены, крановщик подвез и свалил возле печи металл; у окна Безводов убеждал в чем-то склонившегося к нему нагривальщика Илью Сарафанова, и Сяляхитдинов улавливал обрывки его фраз:

— Фирсонов сказал... выпустим «молнию»... переселим в общежитие... Дай мне слово... разве сил не хватит...

Сяляхитдинов видел, как Илья, согнув длинную руку, с мрачным видом предлагал пощупать мускулы и басил:

— Ты меня знаешь.

Старший мастер Самылкин, который раньше обходил Сяляхитдинова стороной, теперь торжественно подступил к нему вплотную и, напирая на него животом, загадочно ухмыльнулся всем своим мягким и добрым лицом.

— Как живешь, Камиль? Здоров ли? Гляди, парень, старайся... — И покотился дальше, а Сяляхитдинов озадаченно нахмурился, потом усмехнулся:

— Что стараться, почему стараться? — приложил палец к виску, покрутил им: — Старик шарик потерял.

Перед самым началом работы появился Фирсонов, празднично-веселый, приветливый, и, отведя Сяляхитдинова в сторону, сообщил доверительно, как по строжайшему секрету, рассчитывая на его детскую непосредственность:

— Многие говорят, что работаешь ты с прохладцей, потому что выдохся, силенок нет, а я не верю, вот убей меня — не верю! — Он хлопнул кузнеца по железному плечу. — Я сказал, что в кузнице нет человека сильнее и ловчее Сяляхитдинова.

Фирсонов ушел, а Сяляхитдинов долго стоял на месте, озадаченно соображая:

«Зачем приходил, зачем смущал?.. Ай, хитрый человек секретарь!.. Значит, он верит Камиле. Значит, Камиль должен ответить, что он умеет, может ковать».

Надев рукавицы, пуская молот, он крикнул нагривальщику незнакомым для него, срывающимся голосом:

— Подавай, Илья!

В конце дня, когда старший мастер известил Сяляхитдинова о выполнении сменной нормы, когда Камиль увидел у входа в табельную свеженаписанный плакат-«молнию», извещавший о скромном, но для бригады Сяляхитдинова неожиданном достижении, то он внезапно в диком восторге облапил Сарафанова, поднял и внес его в душевую.

Гришоня Курёнков весь вечер просидел дома в одиночестве; хотел заняться починкой обуви, просмотрел ботинки свои и Антоновы; они, как назло, оказались крепкими; тогда он лег на кровать и, закинув ноги на

железную спинку, попробовал читать — книжка попалась не смешная; отбросив ее, он встал, поглядел в окно; на дворе было сыро, ветрено, тускло, в водянистой мгле потонули фонари без лучей и блеска, жалобно гнулись на ветру липы, под ними маслянисто отсвечивали лужи; вот торопливо прошел человек с поднятым воротником — руки в карманах; Гришоня представил себя на его месте, и по спине поползли холодные мурашки, отвернулся, поставил шахматные фигуры на доске и застыл над ними в позе великого мыслителя, важно пошевеливая пшеничными бровями.

Антон возвратился из школы поздно. Гришоня предложил ему, кивая на шахматы:

— Сразимся, студент?

Антон бросил учебники и тетради на тумбочку, разделся и утомленно сел на койку, как всегда в такие минуты смирный, ласковый, на предложение Гришони отрицательно покачал головой.

— Устал? — участливо спросил тот и, смешав фигуры, подсел к нему, заглянул в глаза.

— Немножко, — отозвался Антон.

— Бросал бы ты эту канитель, — быстро заговорил Гришоня, чувствуя, что скучал он весь вечер именно из-за учебы Антона, из-за его школы. — Ты что, плохо зарабатываешь, да? Дай бог каждому! Ты и так сильный — зачем тебе тетрадки, учебники. Только время зря тра-тишь! Погляди: на кого ты стал похож. Одни глаза остались. Ничего не дадут тебе твои уроки, уж я знаю!

— Знания каждому нужны, Гришоня: и сильному и слабому, — тихо и серьезно молвил Антон. — А сильному вдвойне нужны. Его сила должна опираться на науку, иначе он, сильный, да неразумный, в один ряд с дураками встанет. Вот этого я боюсь. А большими заработками ты можешь манить Олега Дарьина. Мне про деньги не говори. Будет работа, будут и деньги. И вообще, Гришоня, мелковато мы живем: получить побольше да нарядиться. Обывательщина!..

Гришоня изумленно свистнул:

— Ишь ты, как заговорил!.. Где только слов таких набрался?.. Оратор!

Антон рассмеялся и спросил:

— Нет ли чего поесть?

Гришоня поднялся, предложил:

— Могу яичницу сжарить.

Ушел на кухню, и вскоре в комнате вкусно запахло жареным луком, горячим сливочным маслом.

— Ты там задачи решаешь, а Люся твоя в это время с кавалерами гуляет, — Гришоня нарочно выделил слово «твоя», зная, что роман Антона и Люси кончился, и приврал при этом: — Сегодня видел ее возле Дворца культуры. И знаешь с кем? Все с Антиповым. Под ручку ее держит, на «вы» величает. Оч-чень интересная парочка! — и с ужимками изобразил, как ухаживает за ней Антипов, исподтишка косясь на Антона и ожидая, что тот замахнется кулаком, рассмеется.

Но Антон перестал есть, усталился в одну точку невидящим взором и тяжело молчал. Потом поднялся, со скрытым страданием провел по лицу ладонью, разделся и лег в постель. Смотрел в белеющий во тьме потолок: звук ее имени отдавался в его сердце тупой, сжимающей болью — он завидовал чужому счастью.

* * *

Люся Костромина действительно была в этот вечер с Антиповым и вернулась домой в первом часу. В квартире еще не спали — отец работал у себя в кабинете, мать в халате, накинув на ноги клетчатый плед, лежала на тахте с книгой в руках. Надежда Павловна отвела от себя книгу и, сняв пенсне, близоруко шурясь, посмотрела на дочь.

— Как ты поздно приходишь, Люся, — проговорила она осуждающе. — Отец недоволен тобой!..

— Где он? — быстрым шопотом спросила Люся и глазами показала на дверь. — Там? — Повесила пальто, сбросила с ног туфли, прыгнула на тахту и прижалась к теплой спине матери.

— Как у нас хорошо, тихо, тепло, и ты такая теплая, — зашептала она, уткнувшись холодным носиком в шею матери. — А на дворе такое безобразие: дождя нет, а кругом лужи, и я промокла, как мышка, — она вздрагивала, сжимаясь в комочек.

— Накинь на себя плед, — сказала мать, — обними меня. Ух, руки, как лягушата!..

Так, в обнимку, они часто и подолгу лежали на тахте; дочь, как подруга, поверяла матери свои девические

тайны, делилась впечатлениями от вечеров, советовалась, жаловалась. Мать знала ее романы, мимолетные встречи, знала по именам всех ее знакомых и поклонников, имела о каждом свое суждение, тонко и умело предостерегала ее от рискованных поступков. Она гордилась и радовалась за свою красавицу-дочь, которая, по ее мнению, была интереснее, умнее и ярче многих.

Случалось, что мать и дочь засыпали вместе и утром долго нежались в дремотном полумраке — на окнах опущены шторы. Люся шептала матери очередной сон, лениво шевеля припухшими пунцовыми губами:

— Будто стою я в поле, на дороге, одна... Кругом темно, холодно, пусто... И я жду, когда солнышко выглянет и отогреет. Смотрю, а из-за горизонта вместо солнца рыжая голова показалась, осмотрелась по сторонам и засмеялась... Потом гляжу, будто выскочил оттуда, из-за края земли, парень на красном коне, молодой веселый, весь сияет, конь под ним на дыбы встает... Вот думаю, безобразие какое!.. А он приметил меня, прищпорил коня, свистнул и помчался прямо ко мне. Я бросилась бежать, а он за мной... Догнал, схватил и на лошадь к себе поднимает... И я как закричу! — Люся замолчала, удивленно приподняв бровки, а мать, поведя плечом, усмехнулась:

— Глупость какая-то, Люська.. А красиво. То-то ты ворочалась всю ночь и била меня ногами!

Леонид Гордеевич не мог видеть равнодушно жену и дочь в положении людей, так обидно и глупо убивающих время; проходя мимо них, он отворачивался, и руки против его желания раздраженно расшвыривали вещи, или, оглушительно хлопнув дверью, запирался в своем кабинете; иногда же, хитро пощипывая бороду, усмехался с убийственной иронией:

— Можете вы хоть ради оригинальности принять положение человеческое, то есть вертикальное?

Надежда Павловна сводила длинные брови и несколько наигранно стонала:

— Ты несносный человек, Леонид. Что ты от нас хочешь?

Много лет назад, еще студентом, Леонид Гордеевич без памяти влюбился в Надю, хрупкую, всегда нарядно одетую девушку.

— Простой парень, из деревни, а такое красивое имя — Леонид, — услышал он тогда ее певучий голосок.

В присутствии ее он всегда терялся, робел, покорно и с лихорадочной поспешностью исполнял ее желания.

Прошло много лет их совместной жизни, а Леонид Гордеевич попрежнему любил ее, побаивался и, строгий, до жестокости требовательный на работе, дома был уступчив — быть может, потому, что хотел избежать лишних ссор и трагических вздохов жены.

Когда Леонид Гордеевич узнал, что Люся не хочет поступать в институт, он не поверил сначала — настолько диким показалось ему это решение, потом дал волю своему долго копившемуся в душе возмущению: выйдя из кабинета, он подступил к дочери, которая стояла у пианино, боком к нему, схватил за плечики, сильно встряхнул — колыхнулись золотистые локоны — спросил с приглушенным гневом:

— Ты не хочешь учиться?

В глазах ее вдруг мелькнули злые, непокорные огоньки, она упрямо вскинула голову и с неожиданной дерзостью процедила:

— Нет.

— Работать будешь?

— Не буду, — с тем же упорством бросила она сквозь зубы.

Он оттолкнул ее от себя в кресло, схватившись за бороду, озадаченно глядел на нее, пораженный, как бы не узнавая — его ли это дочь?

— Что же ты собираешься делать? Бездельничать? Опомнись, Люська... Погляди: все работают, все учатся... Твой дед был неграмотным крестьянином. Я в город пешком пришел, от земли, в лаптях, в науку зубами вгрызался! — Он с отчаянием и мольбой оглядывался на жену. — Что же это, Надя? Чтобы моя дочь не хотела учиться, когда ей все дано, была бездельницей? Не допущу! Никогда!

Склонив голову, Люся нервно кусала ногти, на щеках рдели горячие пятна; прищурясь, она с вызовом смотрела на отца. Спокойствие дочери еще сильнее возмутило Леонида Гордеевича; он сказал сдавленным шопотом:

— Или учись, или уходи из дому. Чтобы я больше тебя не видел... Вон! Дрянь! — и он замахнулся, чтобы дать ей пощечину.

Надежда Павловна никогда еще не видела своего мужа таким. Перепуганная, бледная, она загорела собою дочь.

— Леонид, опомнись, — проговорила она трясущимися губами, поддерживая прыгавшее на носу пенсне. — Ведь это дочь твоя...

Леонид Гордеевич повернулся к ней, разъяренный:

— Моя? Нет, это твоя дочь! Вот оно, твое покровительство, наряды, сюсюканье, поклонники... Заступница! Тебе жалко ее? Жалко? Так уходи и ты вместе с ней! Уходите обе! Вы не нужны мне! — Леонид Гордеевич хотел сказать еще что-то, более обидное, но сдержался, проглотил крик, резко повернулся и ушел в свой кабинет бросив на ходу: — Позор!

Люся еще ниже наклонила голову и туго зажмурила глаза. Ей было мучительно жаль отца; в эту минуту она любила его сильнее, чем когда бы то ни было, и ругала себя, что доставила ему столько огорчений. Прижаться бы к нему надо было, как в детстве... Но то время, видно, прошло, не вернешь.

Внезапно разразившаяся над головой гроза не долго волновала ее совесть, туча пронеслась, и на душе стало опять светло, как на озере после сильной бури. Люся встряхнулась вся, поправила сбитую кофточку, с сожалением взглянула на искусанные розовые ногти, свежие губы сами собой раскрылись в улыбке, хоть и не такой беспечной и лукавой, как всегда, была эта улыбка. Кротко вздохнув, она встала и пошла делать матери холодную примочку.

Леонид Гордеевич не разговаривал с женой и дочерью три дня, обедал и ужинал в цехе.

Ах, Люся, Люся!.. Как же это могло случиться? Давно ли она была маленькой девочкой с тоненьким голоском и мягкими шелковистыми косичками с бантами? Давно ли забиралась на колени к отцу и теребила волосы, ласковая, нежная, светленькая, а он катал ее на носу? Он представлял ее все еще девочкой. А она, оказывается, уже взрослая, и вот поставила его перед печальным фактом...

В глубине души Леонид Гордеевич чувствовал свою вину перед дочерью: выпустил ее из виду, доверился жене, она бесхарактерная, беспокойная, безрассудно и восторженно влюблена в свою дочь, а для влюбленного не

существует недостатков в том, кого любит. Люся воспользовалась этим. Надо было следить за ней самому. Но когда? Уходишь в цех утром, возвращаешься домой полночь, — только добраться до постели. А дочь, в сущности, одна. Плохое прививается легко. За последнее время до него стали доходить слухи о том, как некоторые молодые парни и девушки — дети главным образом обеспеченных родителей — пьянствовали, воровали, распутничали. А ведь и его Люся могла попасть в такую компанию и дойти до преступления.

От этой мысли он съеживался весь, не мог сидеть в своем кабинете и спускался в цех, чтобы хоть грохот молотов заглушил его раздумья, муки. Но и там он думал о том же: что теперь будет с ней, что предпринять, что посоветовать?..

На четвертый день после ссоры, поздно вечером, когда Леонид Гордеевич работал у себя дома, Надежда Павловна, виноватая, покорная, неслышными, робкими шагами приблизилась к нему — он стоял возле книжных полок и искал какую-то книгу, — бережно взяла его руку и прижала к своей щеке, к горячему виску, как бывало; глаза ее наполнились слезами. Сердце его потеплело под ласковыми, проникновенными звуками ее слабого голоса:

— Ученье от нее не уйдет, Лена, — ведь ей еще и семнадцати нет. Ты знаешь, здоровье у нее слабое, а она у нас одна.. Пусть отдохнет довечка этот год, пускай съездит на море, ей надо укрепить и нервы и легкие...

— Но ведь нельзя же так, Надя, милая, — возразил он ей мягко. — Нельзя, чтобы человек ничего не делал. Она молодая... Ее могут затащить в любую нехорошую компанию... И пропала! Ты бы об этом подумала!

— Что ты? — испуганно воскликнула Надежда Павловна, — Люся умная девочка, она ничего лишнего себе не позволит. Я знаю! А работать она успеет, еще нарабатывается вдоволь, — жизнь только начинается.

Леонид Гордеевич тяжело вздохнул и покорился, отметив про себя, что вот и опять не может настоять на своем.

— Я был не сдержан с тобой, прости, — пряча глаза, промолвил он и тихонько погладил пальцами ее седящий висок.

Получив гонорар за журнальную статью и премиальные, Леонид Гордеевич купил путевку и отправил дочь

на юг; но держался он с ней отчужденно, суховато, с невылившейся внутренней досадой.

— У других сыновья и дочери в школы, в институты пошли, а мы свою на курорт проводили, — с горечью сказал он жене, возвращаясь с вокзала.

...Отогревшись немного, Люся повернулась и безотрывно, зачарованно стала глядеть на знакомую с детства картину на стене: лошадь, напрягаясь, везла большой воз сена по зимней дороге. Нижняя половина картины была освещена ярче верхней, абажур покачивался, свет перемещался, и казалось, что лошадь ожила и двигается.

— Что примолкла? Промерзла? — заговорила Надежда Павловна.

— Мне сегодня было скучно что-то, — задумчиво отозвалась дочь.

— Не всегда же должно быть весело, птичка. — Лежа на боку, спиной к дочери, Надежда Павловна повернула голову. — Где ты была? О, в Художественном, «Три сестры»! С Антиповым?

— И пьеса грустная, беспросветная какая-то, точно на меня черное покрывало накинули, — пожаловалась Люся, — и Константин тоже... Я заметила, мама, что он никогда не смеется, а только усмеивается, и всегда по-разному, в зависимости от причины, вызвавшей эту усмешку...

— А того парня из кузницы, Антона, ты встречаешь? — заинтересовалась Надежда Павловна и легла на спину, положив на грудь книгу. — Как сейчас вижу его — стоит в прихожей у вешалки, про весь свет забыл... Я поняла, что он тебя любит.

— Да, он мне сказал об этом в тот же вечер. Надо будет спросить о нем у Антипова.

Замолчали. Вошел Леонид Гордеевич, в жилете, с расстегнутым воротом рубашки, взглянув на стальные часы, обеспокоенно спросил:

— Людмилы еще нет?

— Давно пришла. Вот рядом со мной лежит, — поспешно ответила Надежда Павловна.

— Все покрываешь, — осуждающе произнес он, теребя бороду. — По танцулькам порхает, дома не посидит...

— Какие танцульки? Она в МХАТе была. «Три сестры» смотрела.

— «Три сестры»... Три... Было бы, пожалуй, лучше, если бы их было три, а то вот только одна, да... — не договорил, скрылся за дверью.

Люся опять уткнулась в шею матери.

Всю ночь и утро шел снег, укрыл лужи, рыжие пятна сырой осенней земли, завалил рывины и ямы, мягко лег на стеклянные крыши корпусов, на асфальт, и, не тронутый закопченным дыханием цехов, плескал в окна чистый, радостный свет; изредка в незастекленный квадрат крыши залетала снежинка, испуганно трепетала в синем прозрачном дыму, таяла и прохладной каплей падала на чье-нибудь горячее лицо.

Эту неделю бригада Полутенина работала во вторую смену. После утренних занятий Антон пришел в цех за долго до сигнала. Наблюдая за Камилем Саляхитдиновым, он все более изумлялся: поддержка товарищей как бы щедро напитала его веселой яростью и отвагой.

«Как все-таки мало человеку надо, — подумал Антон. — Оказывается, вот ему, в сущности, не хватало самой малости — простого человеческого внимания. А может быть, это главное, без чего невозможна жизнь? Конечно! Внимание! Это прежде всего желание понять человека, помочь ему, поддержать... А особенно в трудную минуту... А Камиль даже не понимает, почему ему стало легче жить...».

После того памятного дня, когда Камиль впервые начал выполнять норму, взгляд его на себя, на свою работу и на окружающих круто переменился. Точно долгое время с большим усилием взбирался он по крутизне, скользил, скатывался назад и вот достиг, наконец, вершины перевала, откуда все видно и где легче дышится.

«Что со мной делается? Ай-яй! — с удивлением думал Саляхитдинов. — Почему меня так тянет в кузницу, к молоту?»

И на Сарафанова тоже повлияла эта перемена; он стал менее угрюмым, наоборот — даже веселым, проворным; он красиво и ловко играл кочережкой; раскаленная болванка плавно выписывала в воздухе дугу от печи к молоту.

Камиль заметил за собой, что ходит он по кузнице прямо, с достоинством, глаз не прячет, а смотрит по сто-

ронам открыто и даже с гордостью; он ощутил неведомый ранее сладкий, пьянящий вкус труда. В работе был неистов, напорист, подбадривал Илью Сарафанова, кричал, ухал, в короткие передышки произительно смеялся: он все более походил на факира, с огнем и громом выполняющего свой самый трудный номер.

Однажды на вечере кузнецов во Дворце культуры, сидя в буфете, Камиль увидел появившегося там Фирсонова, ударил по столу кулаком, приказав приятелям:

— Сиди тихо!

Задевая за углы столов, он неудержимо и косолапо ринулся к Алексею Кузьмичу, подступив, почти пропел, широко улыбаясь:

— Ты хитрый человек, хороший человек! Зачем глядишь строго, секретарь? Давно Камиль не пил пива — денег нет. Теперь деньги есть — Камиль пиво пьет. За твое здоровье пьет! Спасибо тебе, секретарь! Теперь, что скажи — все сделаю по-твоему. Что спроси — все отдам. Сердце спроси — сердце отдам, на! — Он бухнул себя по широченной гудящей груди. — Давай выпьем, Кузьмич! Не хочешь? Тогда целоваться давай за дружбу.

Фирсонов вышел, с добродушным осуждением покачивая головой и усмехаясь.

...После сигнала Камиль, отшвырнув клещи, сунул руку в разбитую половинку окна, схватил горсть снега, смял, откусил кусок, остальное приложил к пылающим щекам.

— Скоро буду вызывать Фому твоего на поединок, — известил он, подмигивая Антону. Подошедший Фома Прохорович одобрительно кашлянул, ответил:

— Давно пора.

Саляхитдинов отправился мыться, а к Полутенину Василий Тимофеевич привел молодого парня и сказал:

— Вот тебе, Прохорыч, новый нагреватель. Учи его... — Повернулся к Антону, вытянул из нагрудного кармана книжечку и, заглянув в нее, распорядился: — А тебя, гляди, парень, освобождаю от работы сроком на три дня: походи по цеху, поучись — и на молот.

— Мне есть у кого учиться, — с обидой за Фому Прохоровича ответил Антон.

— Делай, что тебе велят.

— Тебе дельно подсказывают, — поддержал Фома

Прохорович. — Есть такие артисты, Антоша, — залюбуешься! Дарьин, например, присмотрись-ка к нему.

Новый нагреватель встал к печи. Познакомив его с приемами работы, Антон пошел вдоль корпуса, мимо выстроившихся с обеих сторон огнедышащих, ревущих громад; красные брызги окалины бились в железные предохранительные щиты, сыпались под ноги, на чугунные рубчатые плиты пола и гасли, превращаясь в синие блески.

Оглушительная пушечная пальба не смолкала ни на минуту, и в железные ящики валились дымящиеся ступицы, поворотные кулаки, коронные шестерни, шатуны, валики, фланцы и множество других поковок — части будущих машин. Работа людей, стройная и красивая, как песня, захватывала и увлекала Антона. В плавных и мужественных движениях кузнецов виделось что-то богатейское, победное.

Вот самый огромный агрегат, умно и сложно оплетенный конвейерами, изогнутыми монорельсами со свесившимися цепями и крюками. Здесь штампуются коленчатый вал — самая громоздкая и тяжелая поковка. Подземные толчки здесь резче, ярственнее, полотнища пламени от ударов захватывают пространство шире, жарче. Над массивной печью неугасимо и метельно вихрится, бьет ввысь огонь; на одном конце ее загружают длинные холодные стержни, на другом вынимают их белыми от нагрева. Двадцать крепких, плечистых парней на трех молотах и двух прессах мнут, плющат сталь: обвал, обвал! — сотрясает пол первый молот, проворные руки хватают красную глыбу, и другой молот вторит с еще большей яростью: залп, еще залп! И коленчатый вал, четко и красиво изогнутый, обрезанный под прессом, виснет на крюках, потом серый, поблекший, медленно уходит по подвесному конвейеру в отделение термической обработки.

Антон постоял тут, наблюдая слаженную, до последнего поворота рассчитанную работу кузнецов, и с неохотой побрел в бригаду Олега Дарьина.

Попад на завод, Антон надеялся, что Дарьин, как старый товарищ, поможет ему быстрее освоиться в цехе, постичь тайны профессии, и они, молодые, смекалистые, полные сил, пойдут бок о бок, поведут за собой остальных — будут советоваться, изобретать, выдумывать. И

они сблизилась вначале, как бы подружилось: встречались в цехе, Антон часто заходил к Олегу домой.

— Самое главное в нашем деле — это не подпускать никого, не давать забегать вперед, — поучал Олег покровительственно. — Увидишь, что кто-то вырывается вперед — осажу, то есть поднажму сам.

— Это что же, твоя трудовая программа? — спросил Антон.

— Можно сказать, выстраданная, — подтвердил Олег. — А как же иначе, посуди сам. Давай разберемся... Жить просто, как все, серо, ровно — неинтересно; один раз живем. Мне больше по душе другое... Вот идет, скажем, по корпусу чисто одетый человек, видно, что не наш, не заводской, поглядывает по сторонам; и я уже вижу — это газетчик, и знаю — ищет меня. Поговоришь с ним, расскажешь кое-что... Смотришь, через несколько дней в газете про тебя очерк написан или фото твое красуется... Люди смотрят, читают... Разве это плохо? Тут, брат, нет никакой подтасовки, я ведь в работе злой, ты знаешь, себя не подкажу... А если другой вырвется вперед — значит, о другом будут писать...

— А как же ты со мной-то делишься? — спросил Антон насмешливо. — А вдруг я забегу вперед?

— А я с тобой не всем делюсь, — засмеялся в ответ Олег. Но в этом шутовском ответе заключалась вся сущность Дарьина, и это Антону не понравилось.

Со временем стена отчуждения между Олегом и Антоном незаметно становилась все выше и глуше. Антон был уверен, что Дарьин преуспеет только потому, что на него устремлены взгляды других людей. Лишить его особого внимания — и он поблекнет, засохнет... Жизнь напоказ возмущала Антона больше всего. Его злило пренебрежительное отношение Олега к людям, стоящим ниже его, в частности к нему, Антону, а главное, к своей жене Насте, скромной, тихой, работающей женщине, — он как бы подчеркивал, что женился не из любви к ней, а из милости.

Поженились они полтора года назад. Олег жил в загородном бараке, в общей комнате, где помещалось человек сорок. С Настей он познакомился в цехе, когда она неделю работала в его бригаде. На него, лучшего кузнеца завода, резкого, грубоватого и от этого казавшегося смелым, она смотрела с обожанием. Ему льстило, когда

она робела перед ним, почти трепетала, и понравилась ее доброта. Они встречались около года, — Олег все ждал, когда ему дадут комнату. Но дом все еще строился, а время шло. И Настя из девичьего общежития перебралась к нему. Они перенесли койку в угол, устроили из простыней нечто вроде ширмы, — хотелось иметь хоть какой-нибудь свой уголок, где можно остаться наедине.

Олег был с ней ни добр, ни ласков, ни слишком груб — безразличен. Настя присматривалась к нему ожидающим взглядом, скрывая в душе и тоску, и боль, и разочарование. Радостная семейная жизнь не получилась...

Антону всегда было немножко жаль ее; ему неловко было видеть, как она старалась угодить мужу, повиновалась не словам его, а лишь взглядам. Но иногда в глазах Насте проскальзывало что-то отчаянное, решительное, что зрело в ее душе, и думалось: вот-вот вырвется ее истощенный, возмущенный крик. Неприязнь к Олегу возрастала.

Как-то вечером, подходя к Дворцу культуры, Антон увидел у входа Олега Дарьина, грубо и заносчиво кричавшего на билетершу:

— Нет у меня билета, забыл! Дарьин я, кузнец, знаете? Вон портрет мой висит, оглянитесь!

— Зачем мне ваш портрет! Билет давайте...

— Заладила одно: билет, билет. Газет в руки не берете... Ставят только таких!..

— Постыдились бы оскорблять, я вам в матери горжусь.. Не мешайте проходить людям.

Антон поразило поведение Дарьина, его грубый тон. «А ведь я тоже не отличаюсь выдержкой и вежливостью и выгляжу иногда, наверно, таким же противным», — подумал он с осуждением.

У Антона оказалось два билета. Олег прошел с ним, словно делая ему одолжение.

Дарьин любил большие полочки, в работе был порывистый и непримиримый, бригаду держал в страхе, и она действовала, как заводной механизм. Один раз нагревательщик уронил раскаленную болванку прямо на педаль, молот сильно хрястнул и исковеркал лежащую на штампе поковку. Злобно оскалившись, Дарьин запустил в нагревательщика клещами, и не увернись тот за угол печи, увесистые кузнечные клещи оставили бы добрую отметину на его горбу.

— Будешь знать, как ронять!..

Сейчас, подойдя к Дарьину, Антон сказал, как бы объясняя причину своего появления в бригаде:

— В штамповщики перехожу.

— Рановато, — бросил Олег неодобрительно. — Рискованно: ногти не обламай... Я два года у печи терся, прежде чем встать к молоту.

— Тебя не поймешь, — ответил Антон. — То говорил, довольно стоять за спиной Фомы Прохоровича; сейчас говоришь — рано.

Дарьин штамповал тяжелую и сложную деталь. Антон до обеда следил за Олегом, запоминал каждое его движение: как он раскладывал и менял клещи, как поворачивал деталь в ручьях, сколько делал ударов и какой силы... А после перерыва Антон попросил:

— Дай-ка я попробую.

— А если испортишь? — придирчиво спросил Олег, с неохотой передал клещи и отступил в сторону, сухо поджав губы.

Чувствуя на себе его недружелюбный взгляд, Антон связанно, несмело повторял движения Дарьина, отковал деталь и с досадой отметил, что одна часть ее не заполнила ручья. Дарьин рванулся к нему:

— Весь металл на хвост оттянул! Не видишь!

— Вижу, — огрызнулся Антон.

Нагревальщик положил перед ним вторую заготовку. Напрягаясь, нервничая, Антон испортил и эту: теперь в другую сторону перепустил.

Дарьин грубо оттолкнул его:

— Хватит, отойди!

— Не отойду! Теперь я знаю, как надо. Теперь выйдет, честное слово! — крикнул Антон.

— За брак с меня будут высчитывать, а не с тебя, — Дарьин отнял у Антона клещи и отстранил от молота.

Но Антон не уходил: он упрямо стоял поодаль — учился.

В конце смены Олег подсчитал откованные детали и удалился, усталый и самодовольный, небрежно пригласив Антона идти домой. Но Антоном все настойчивее овладело желание доказать Дарьину, что он сумеет управиться с этой деталью.

Цех опустел, грохот утих, за окнами белел во тьме снег. На небе, правее трубы, пылала лазоревая звезда. Морозило. В корпусе перекликались наладчики и слесари.

Отыскав десятка два заготовок, Антон остановил старшего мастера, попросил:

— Дядя Вася, я нашел несколько некачественных болванок, разрешите мне обработать их?

— Что за новости? Стулай домой...

— Дарьин-то не дал мне... — пожаловался Антон.

— Не дал? Ах, сатана! — вскричал Василий Тимофеевич, и Антон не понял, восхищается он им или осуждает. — Вот так дружка ты заимел! — Сняв кепку, погладил бритый череп, из-под ладони испытующе покосился на парня, сжалился: — Ладно, только зря не бухай. Я подожду после...

Антон подождал, пока нагреется металл, пустил молот, вынул заготовку, аккуратно положил на штамп и нажал педаль. Гулко разнеслись по корпусам пять одиноких ударов. Поковка не получилась.

«А вот сейчас выйдет. Должно выйти!» — убеждал себя Антон.

Выкатил кочережкой вторую, подхватил клещами, понес, положил, надавив педаль, ударил раз, остановился, обследовал, поправил в ручье, ударил еще раз, опять взглянул, опять поправил. Но и эта деталь не вышла, — металл не заполнил формы; откинув в сторону поковку, Антон опять упрямо повторил: «Врешь. Выйдешь! Сейчас обязательно выйдет. Эта наверняка получится».

Достал из печи третью заготовку, с надеждой опустил на штамп, и вспышка озарила его беспокойное, как будто похудевшее лицо, сосредоточенные, немигающие глаза. Опять брак!

«Что такое?!» — подумал он тоскливо и огляделся: в корпусе было тихо, пустынно, полутемно; приподнятое вначале настроение угасало. Не вышли четвертая, пятая и шестая поковки. Антон отшвыривал их рывками, с досадой, переводил дыхание и опять поворачивался к печи, брался за кочергу. Он вытягивал новую болванку, зажимал ее клещами, — она притягивала его взгляд слепящими, переливающимися, какими-то чарующими тонами, — и с мольбой и отчаянием шептал, точно в этом искрящемся куске металла заключалась его судьба, его счастье:

— Выйди!.. Пожалуйста!.. Хоть один раз!.. Голубушка!..

Но сталь мстительно кидала в лицо ему раскаленные брызги, шипела, меркла, не покорялась — коробилась, перекашиваясь. Антон обливался потом, каждая заготовка вытягивала силы, опустошала; у него кружилась голова, слабели ноги, и полночная тишина гнетуще давила на плечи.

«Ну что делать?» — думал он, устало свесив руки. — Надо бросить сегодня, завтра еще попробую... Пойду домой, усну». — Но не уходил. Какая-то независимая от него сила, упрямство удерживали тут; на секунду представил Дарьина, его снисходительную усмешку, его голос: «Рискованно: ногти не обломай». Это заставило собрать силы, кинуться к печи и выхватить еще одну болванку.

«Я неуверенно штамую, смелее надо, крепче», — убеждал он себя, восстанавливая в памяти приемы Дарьина, Фомы Прохоровича, их движения.

Отковал еще две детали — и испортил: у одной перекос, вторая не заполнила формы. В ярости грохнул об пол клещами, метнулся к окну, ткнулся лбом в стекло и заплакал — от ненависти к себе, к молоту, оттого, что устал, что голоден, что уже поздно — за полночь, что не удалась ни одна поковка.

И вдруг на какое-то мгновение он увидел свое село, родную избу, прудик перед окнами, высокие ветлы, густо закиданные грачиными гнездами, и себя — маленького парнишку Антошку; вот он карабкается по сучьям ветлы, все выше, выше, к гнездам, выше гнезд! Грачи всполошенно хлопают крыльями, в беспокойстве кружатся над деревьями, хрипло и надсадно кричат. А снизу доносится тревожный и в то же время ласковый голос матери: «Антошка! Антошка! Куда ты залез, бесенок? Упадешь ведь! Слезай, тебе говорят! Слышишь?».

А Антошка уже выше гнезд, деревья плавно качаются какими-то кругами, тонкие сучья гнутся; и страшно и сладко — дух захватывает! Оттуда все кажется ему маленьким: мать внизу, изба, корова; далеко видна Волга, заречный лес, в пойме люди косят траву, по реке идет буксирный пароход с баржами. Красота!..

«Антоша! — зовет мать. — Да куда же ты забрался,

батюшки мои! Слезай, сынок, упадешь ведь, разобьешься! А то я отца позову».

Но голос матери заглушается грачиным криком...

...Антон очнулся, когда Василий Тимофеевич тронул его за плечо.

— Чего уткнулся в окошко! Солнышка ждешь? Оно еще по Африке, небось, гуляет — когда-то вспомнит про нашу кузницу! — Старший мастер был голосист и оживлен. — Становись скорее, я тебе подам, и домой пойдем: поздно. — Несмотря на свою тучность, мастер двигался легко, и когда у Антона опять не вышла деталь, встал сам: — Гляди, парень: металл в ручьях долго не держи, а то остынет, удары рассчитывай — где посильнее, где потише. Прицелься и — накрой. Работай!

Но предосторожности и старания не помогли Антону, и щеки старшего мастера затряслись, наливаясь краской; он всплеснул руками, закричал:

— Экий ты растяпа! Стало быть, и вправду бестолковый!

Антон не испугался и не обиделся. Он стоял, точно осененный чем-то. Глядя на разгневанного Василия Тимофеевича, на его забавно торчащий нос и короткие усталые руки, рассмеялся тихо и просветленно.

— Плакать надо, а ты смеешься, как дурачок, — недоумевающе проворчал Самылкин и потоптался, видимо собираясь уходить.

— Погодите, дядя Вася, сейчас, — просто и убежденно сказал Антон и расправил плечи.

Василий Тимофеевич удивленно и с сомнением хмыкнул, выхватил пышущую жаром, ронявшую белые звезды заготовку. Антон быстро, точно играючи, выдал поковку, за ней вторую, третью... Старший мастер опять разразился бранью:

— Что же ты мне голову морочишь, сиротой прикидываешься! А ну, марш домой! — и на прощанье отвесил Антону дружескую оплеуху.

«Только бы не утерять, ничего не забыть из того, что сегодня понял, постиг! — думал Антон уходя.

На другой день Василий Тимофеевич встретил его известием:

— Смену походил, и хватит с тебя. В кузницах нужда.

— Куда вы меня поставите?

— Куда поставлю, там и будешь ковать, — ответил Самылкин, и лицо его застыло в непроницаемой суровости. Тогда Антон повернулся к Полутенину и намекнул несмело:

— Привык я к этому молоту, Фома Прохорович, честное слово.

— Оставайся тут, — молвил кузнец. — Добрый час тебе! Не стесняйся, приходи, коли что...

Василий Тимофеевич мгновенно перестроился.

— Гляди, парень, куда встаешь! Цени!..

Назначенный бригадиром, Антон с рискованным нетерпением приступил к штамповке. Ему хотелось с самого начала показать себя — вырваться в ряд с Фомой Прохоровичем, с Дарьиным. Первое время он работал осторожно, осмотрительно. Но все шло слаженно, бесперебойно, печь грела хорошо, нагревательщик действовал проворно, прессовщик ждал новых поковок, а Гришоня после Фомы Прохоровича просто скучал. Все это притупило бдительность Антона. И постепенно набирая скорость, он стал поторапливать себя и бригаду.

Прибежал Безводов. Наклонившись к уху Антона, он прокричал:

— Поздравляю с назначением! Как идут дела?

— Хорошо, — ответил Антон.

До обеда Антон отковал более половины сменного задания — признак того, что норма будет выполнена, а возможно, и перевыполнена, если даже будет работать с меньшим напряжением. Груда поковок остывала рядом на полу.

Но вот подошла девушка-контролер и сообщила с сочувствием, что в поковках тридцать процентов брака. Вслед за ней прибежал Василий Тимофеевич, красный и фыркающий, как самовар, посмотрел на Антона уничтожающе и сказал с раскаянием и досадой:

— Поспешил я с тобой. Эх, шляпа! — И, вздохнув, прибавил назидательно: — Ты гляди у меня, парень!..

Антон не слышал его, стоял ошеломленный, подавленный — он не мог понять, как все это произошло. Сразу почувствовалась тяжесть во всем теле, он обессиленно сел на железный ящик с заготовками. Через незастекленное окно приятно дул легкий морозный ветер. Не хотелось ни есть, ни двигаться...

— Я тебе говорил, что ногти пообломаешь, — так и вышло, — глумливо усмехнулся Олег Дарьин, — задержавшись возле Антона. — Это тебе не девчонок умыкать, тут сноровка требуется.

Антон подумал с тоской: «Эх, рано оторвался от Фомы Прохоровича!..».

— Что, кузнец, выходит, что до мастерства-то еще далеко? — услышал он над собой голос и открыл глаза: рядом сидел Фирсонов, его привел Гришоня. — Придется еще походить, поучиться. — Заметив во взгляде парня замешательство, Алексей Кузьмич сказал с ласковым осуждением: — А вот в панику кидаться — последнее дело. Пойми, где родилась ошибка, а поняв, впредь ее не допускай. Это будет как раз по-комсомольски. А ты голову повесил.

Гришоня присел перед Антоном на корточки, воскликнул с принужденной веселостью:

— Подумаешь — брак! С кем не случался такой конфуз, скажи? Оч-чень интересно мне знать! Ну, погнались, ну, сплеховали немножко — подумаешь!.. Это даже хорошо, что треснули по затылку: не гонись, как в сказке, за дешевизною! Настоящее-то, ой, как дорого стоит!..

— Верно, Курёнков, — подхватил Алексей Кузьмич и опять повернулся к Антону: — Ты думал только о себе — лишь бы тебе отличиться и все бы вдруг заговорили: «Ах, какой молодец! Не успел встать к молоту и уже вырвался вперед». А вышло по-другому... Ты забудь о себе, думай о кузнице. А ей надо, чтобы ты все доподлинно изучил, проверил, постиг, а там уж с чистой совестью уверенно шел вперед.

— А я думал, что дадим, как другие, сверх нормы, честное слово, — обронил Антон упавшим голосом. — И вот — на тебе! Обидно...

— Я, грешным делом, ждал такого оборота, — сказал подошедший Фома Прохорович, глядя на потерянный вид своего бывшего нагревательщика. — Уж больно ты разогнался, Антоша. Ох, думаю, запалится парень!.. Надо бы тебя остановить, подсказать, а я мимо прошел. Винюсь, брат...

Алексей Кузьмич рассмеялся:

— Как ему не запалиться — он же за тобой погнался. — Повернулся к Антону, подмигнул. — Так ведь?

— Так, — согласился Антон смущенно.

— А ты догоняй меня не торопясь, — посоветовал Фома Прохорович, присаживаясь возле него. — Я от тебя не прячусь, не бегу — догонишь. Вместе-то идти куда способнее. А спешкой, кроме беды, ничего не наживешь. С самого начала привыкнешь спешить, так все время и пойдет. Она, привычка-то, говорят, вторая натура, а чаще — дура, и не заметишь, как приучит к браку. А брак сродни только неряхам да лентяям. — Фома Прохорович взял парня под локоть. — Идем-ка, подзаправимся, а то все вкусное-то съедят, нам не оставят.

«Да, легких дел нет, — решил Антон, идя за Полутениным. — Легкое только безделье. Изучить надо все досконально. Правильно сказал Алексей Кузьмич. А пока рано думать о каком бы то ни было перевыполнении». И вспомнил Мартина Идена: «Сколько у него было неудач!».

5

Медленно и настойчиво постигал Антон нелегкое искусствоковки стали. Молот, как норовистая лошадь, порой не слушался его, как бы вставая на дыбы, металл поддавался его воле нехотя, а напряжение, сопровождавшее каждый удар, изнуряло. Мастерство давалось с трудом, и это ожесточало Антона, делало неразговорчивым, глаза его были всегда угрюмо сосредоточены, точно он, чутко прислушиваясь, вглядывался внутрь себя, и Гришоня, не любивший понурых людей, навязчиво донимал его:

— Чего ты сник, ну, чего?

Антон отстранил его:

— Отстань. На одном месте толчемся — не замечаешь?

Однажды штамповка не пошла с самого утра. А утро было морозное, ясное; сквозь закоптелые стекла пробивались лимонно-желтые лучи негреющего и какого-то косматого — в ореоле — солнца, путались в кружевном переплетении балок под крышей, растворяясь в синем чаду. Металл, точно глина, — вязкий, сырой; хотя Гришоня и смазывал усердно ручки соляным раствором, детали прилипали то к верхнему, то к нижнему штампу, и их приходилось выковыривать. Напрягаясь, Антон озлобленно скалил зубы, тяжело дышал, раздраженно вытирал пот, который шипал глаза, часто пил газированную воду и придирался к нагревальщику:

86

— Перегрел?

— Нормально, — отрывисто бросал тот, заражаясь его нетерпением и горячностью.

— А я говорю, перегрел!

По корпусу двигалась группа людей в халатах. В центре ее находился пожилой приземистый человек с седыми пышными усами, чем-то напоминавший учителя Дмитрия Степановича, на голове — приплюснутая кепка, руки — в карманах халата. Вместе с ним шли директор завода, секретарь парткома, начальник цеха Костромин, Фирсонов, Володя Безводов, и сзади легко нес свое тучное тело старший мастер Самылкин.

Антон похолодел. Он мысленно молил об одном: только бы начальство, проходя мимо, не обратило на него внимания. И в ту же секунду он с ужасом увидел, как седоусый, отделившись от группы, повернул прямо к нему. Остальные остановились в проходе. Антон готов был провалиться сквозь землю, лишь бы не показывать свою работу.

Но седоусый уже стоял рядом. Как на грех, деталь предательски завязла в верхнем штампе и вместе с «бабой», остывая, назойливо маячила перед глазами — вверх-вниз, вверх-вниз, пока он не сбросил ее. Движения Антона казались неумелыми, скованными...

Седоусый выразительным кивком головы подозвал Антона к себе, наклоняясь к нему, негромко, но отчетливо спросил:

— Как фамилия? Карнилин? А звать? Ага!.. Как идут дела, Антон?

Уставший больше от переживаний, чем от самой работы, Антон неприветливо посмотрел на незнакомца и с досадой махнул рукой:

— Плохо!

— Почему?

— Не знаю. То ли штамп подсел, то ли еще что, а может, металл некачественный — заедает! Видели, небось...

Гость задумался, выпятив губы и топорща большие усы. Антон окинул взглядом цех — из-за молотов, прессы и печей испытующе следили за ним кузнецы, нагревальщики...

87

Седоусый попросил у Антона сначала очки, потом рукавицы. Сопровождающие его люди, стоя поодаль, заулыбались, когда он взял клещи.

— Смотри, — сказал он Антону и подал знак нагревальщику. Тот выхватил заготовку. Споро, красиво, экономно отковал седоусый несколько деталей. И странно: молот работал послушно, металл в штампах не застрегал. Потом он повернулся к Антону — лицо как будто помолодело, глаза горели юношески весело, вдохновенно.

— Не заедает?

— Но вы делаете три удара! — возразил Антон. — А по технологии надо четыре.

— Технология — не путы для тебя, мешает — разорви, отбрось. Технологию делаешь ты, кузнец, и ты ее меняешь. Гляди, выскивай, пробуй! — Старик неожиданно хлопнул Антона по плечу, засмеялся простовато, по-свойски, возле глаз — мудро — лучики морщинок. — На, держи свое оружие, — сказал он, подавая очки и рукавицы. — До свидания, Антон. Работай... Молоток ходит, как часы. — Присоединился к своей группе и двинулся дальше.

Старший мастер подбежал к Антону, прокричал в ухо, торопливо и восторженно:

— Знаешь, кто с тобой разговаривал? Первый заместитель министра! Федосеев, Григорий Миронович. Из кузнецов! Читал надпись на своем молоте? Это он открыл дорогу новаторскому движению в машиностроении. Гляди, парень!.. — предупредил он и поспешил догонять ушедших.

Антон подошел к окну и замер. Что-то необычное произошло в его душе в эти короткие минуты, что-то огромное сдвинулось и переместилось. Он это чувствовал, хотя и смутно еще. Будто осенило каким-то новым светом его будущее, его судьбу. И он понял, что жить надо по-иному. А как?.. Он не мог ответить. Но знал, что по-другому, по-новому.

Усеянный черными крупичами угольной пыли снег пылал на солнце, леденил взгляд звездчатой россыпью; казалось, шагни на серебряный его наст, и он заскрипит, диковинно запоет на разные голоса.

Антон облегченно вздохнул и улыбнулся Гришоне медленно, светло, всей своей широкой щедрой душой, затем шагнул к молоту, подав знак нагревальщику.

Недели через две после посещения цеха заместителем министра Антон дал самую высокую выработку — сто десять процентов. Для него это была победа, тем более, что цех изо дня в день не справлялся с заданиями и Антон чувствовал себя виноватым.

Вот теперь, кажется, наступила пора заявить о своем давнишнем желании: сделать свою бригаду комсомольско-молодежной. Но не по названию, а по сущности, по делам. Новое звание бригады наложит на него новые обязанности и отнимет немало часов в его и так предельно уплотненных сутках. Но он чувствовал, что тот творческий порыв, который духовно соединяет людей в единый коллектив, все сильнее захватывает его и, независимо от его желания, влечет вперед, — невозможно отделиться от него или свернуть в сторону.

По окончании смены Антон пришел к Володе Безводову посоветоваться. Тот, ни минуты не раздумывая, выпалил:

— Ваша бригада должна быть комсомольско-молодежной! Предстоят такие дела!.. Алексей Кузьмич сказал, что пора выводить кузницу в гору, и коммунисты с комсомольцами должны идти впереди.

— Правильно! — с готовностью подхватил Гришона и выпятил свою грудь.

— Нагревальщиком возьмете Илью Сарафанова, я с ним говорил, он согласен. Прессовщицей — Настю Дарьину, она охотно пойдет в бригаду, — диктовал Безводов, обжигая товарища горячим, воодушевленным блеском черных глаз.

— За Настю погоди решать, — вставил Гришона. — За нее Олег решит. Она у него как по струночке ходит.

— А мы его самого заставим ходить по струночке, — бросил Володя и потащил их в комнатку старшего мастера.

Самылкин грузно и домовито восседал за столом и с усердием писал на разграфленном листке бумаги. При появлении ребят щеки его недовольно дрогнули, нагнали на переносицу мелкие морщинки, губы непримиримо поджались.

— Мы к вам, Василий Тимофеевич, — деловито сказал Безводов.

— Неужели? — насмешливо удивился тот. — А я, гляди, ребята, без вас и работать не могу, вот беда!

— Мы же по делу, — разъяснил Гришона, садясь к столу и с любопытством заглядывая в бумаги.

— Вот хорошо! — воскликнул Самылкин, не поднимая головы. — А у меня тут, стало быть, бездельников полно, мне и невдомек...

Ребята переглянулись. Безводов сказал сдержанно и сухо:

— Мы по серьезному вопросу к вам пришли. Если не хотите разговаривать, так и скажите.

— Какой вопрос? Говорите.

— Хотим организовать комсомольско-молодежную бригаду, — сказал Антон.

— Никаких бригад, — отрезал старший мастер. — Работайте, как работали.

— Я хочу иметь бригаду из комсомольцев. Почему не разрешаете? — спросил Антон требовательно.

Старший мастер приподнял, наконец, голову, успокоительно попросил:

— Потихе, молодец. Мало ли что ты захочешь... Другие бригады ломать из-за тебя прикажешь? Не стану. И разговор, стало быть, окончен. Что уставился? Не стражай своими глазами.

Безводов послал Гришону за Фомой Прохоровичем, сел к столу, попробовал убедить старшего мастера.

— Уверю вас, Василий Тимофеевич, это будет самая лучшая бригада в цехе.

— Старуха надвое сказала.

— Вот увидите!

— И глядеть не стану — не спектакль, — упрямо твердил старик. — Уходите, не мельтешите перед глазами.

Вошел Фома Прохорович, сел на лавку, осуждающе взглянул на Самылкина, склонившегося над бумагами, и густой басок его нарушил тишину:

— Зачем мешаешь ребятам, Василий? Нехорошо это...

— А ты защитник у них? Адвокат! — воскликнул старший мастер вскакивая. — Ты гляди, старик, я не посмотрю, что ты депутат и все такое. Я и тебе могу приказать: не вмешивайся.

За двадцать с лишним лет совместной работы Фома Прохорович хорошо изучил Самылкина, не обижался на

его слова, на горячность и сейчас только рассмеялся и сплюнул:

— Тьфу, старый дурачина! Они же для пользы дела стараются. А ты им крылья подрезаешь...

— Сам знаю, что для пользы. Я их, подлецов, не меньше твоего люблю. Но что это такое? Чего бы они ни захотели, комсомольцы, — то вынь да положь им! Инженеров к ним приставляют, школы им подчинили. Захотели свою бригаду сколотить — пожалуйста. Не просят, а требуют! Слишком большую волю дали им.

Фома Прохорович рассмеялся:

— Завидуешь ты им, что ли?

— Может, и завидую. Мы с тобой пришли в этот цех — здесь два-три молота стояло, да и то никудышные. Все ворочали своим горбом. Много к нам инженеров прикрепили? А им сейчас все, вся техника — ставь рекорды! — Грозно взмахнул рукой и воскликнул: — Нет, Фома, им, молодцам, легко живется, надо рогатки ставить, барьеры, — пусть преодолевают, характер закаляют.

— Глупости городишь, — ухмыльнулся Полутенин, а Гришона удивленно проговорил, приоткрыв рот и часто мигая:

— Это же реакционные идеи!..

Мягкое лицо мастера расплылось, подобрело, он рассмеялся и пригрозил Гришоне:

— Ишь ты, выучился разным словам, да и сорись ими где попадя. Я вот тебе всыплю за такие слова!.. — Сел, отдышался и сказал: — Идите к Костромину, скажите, что я согласен. Но, гляди, ребята: взялся за гуж, не говори, что не дюж; буду требовать с вас — не плачьте.

Когда ребята вошли в кабинет начальника цеха, Костромин с кем-то резко разговаривал по телефону: левая бровь его взлетела к виску, борода сдвинулась вправо, и от этого лицо его казалось сердито перекошенным; нетерпеливо слушая собеседника, он взглядом приказал ребятам сесть. Вид начальника не предвещал ничего доброго. На длинном столе и на подоконниках были разложены разнообразные детали. Окончив разговор, Костромин швырнул трубку на рычажок, не садясь, быстро записал что-то в блокнот, затем стремительно приблизился к ребятам. Те почтительно встали.

— По делу, Володя? Я слушаю, — все еще резковато, но уже миролюбиво проговорил он.

— Леонид Гордеевич, мы хотим организовать комсомольско-молодежную бригаду. Разрешите?

Костромин отвернулся, тихо, как-то обиженно пошел к столу, задумчиво теребя бороду.

— У нас двенадцать молодежных бригад, но не все-таки ты можешь похвалиться, — сказал он. — Так не лучше ли укрепить, подтянуть старые, чем создавать новые? Кроме того, придется ломать другие бригады — вы ведь кого-нибудь не возьмете?..

— Нам нужен Сарафанов, нагревальщик из бригады Саляхитдинова — они все равно сорятся — и прессовщица Дарьина, — объяснил Володя.

— Старший мастер Самылкин не возражает, — осторожно вставил Гришона.

Дойдя до стола, Костромин круто повернулся:

— Вы знаете, как необходимы нам деятельные кузнецы и бригады. Мы задыхаемся без них. Как мы ни бьемся, а кузница до сих пор идет позади других цехов. А она обязана во что бы то ни стало стать первой. — Помолчав, он спросил: — Кто бригадир?

— Карнилин, — сказал Безводов. — Вот он.

Леонид Гордеевич, изломив бровь, взглянул на Антона, наткнулся на его прямой и смелый взгляд, мгновенно принял решение и, подойдя к кузнецу, тронул за плечи:

— Будете работать хорошо — окажу полную поддержку. Не справитесь — пеняйте на себя: расформирую, а вас переведу в нагревальщики. До свидания.

Глава третья

1

Антон старался не думать о Люсе. Чувства к ней были как бы приглушены грохотом кузницы, вытеснены учебой в школе. Ему не хватало суток — спал не больше пяти часов, из цеха, наскоро искупавшись, бежал в школу, и там проходили часы в напряженнейшем внимании, в усилении памяти, воли и духа. В свободное от учебы и работы время он выполнял комсомольские поручения, размышлял о своей бригаде, готовил уроки, а во сне ему виделись английские слова и фразы в виде оживших за-

гадочных узоров, которые он не мог уловить, расшифровать и произнести.

Попадая с Володей Безводовым в другие, не заводские компании, Антон видел, что сведенные в один круг люди разных профессий и положений мало говорили о паровых молотах, болванках и термической обработке деталей, а спорили о новых романах и спектаклях, о футболе и музыке, обсуждали вопросы международной жизни. Многие из этих разговоров он не понимал, имена людей, которые тут произносились, ему даже не были знакомы. На таких вечеринках Антон старался быть незаметным, скромно сидел, спрятав руки под стол, чутко прислушивался к беседе, запоминал. Многих из этих людей он уважал, завидовал им, сердцем чувствуя, что они такие же простые и бесхитростные, как и он сам, и к знаниям шли таким же трудным путем, каким идет он.

Антон читал книги, читал с жадностью — в постели перед сном, в трамвае, в красном уголке цеха во время обеденного перерыва и даже на улице, на ходу. И чем больше он читал, тем отчетливее понимал, что все это незримо влияет на его труд, а труд — это он теперь твердо знал — незыблемая основа жизни, в нем все его успехи и неудачи, невзгоды и радости, муки и наслаждения, в нем его мужество и слава. Рабочий человек обязательно должен иметь среднее, а то и высшее образование, чтобы изо дня в день возвышаться в своем труде.

Антону было труднее учиться потому, что профессия его была несравненно тяжелее многих других. И порой его клонила неодолимая свинцовая усталость, руки безвольно опускались, и он с отчаянием малодушного думал, что не выдержит такого напряжения, бросит школу.

В такие моменты, страшась принятия окончательных решений, Антон шел за поддержкой к своему другу Безводову или Фирсонову, а чаще — к Фоме Прохоровичу Полутенину.

Антону нравилось бывать в этой тихой и приветливой семье. Здесь было уютно и просто, как дома.

Когда-то Фома Прохорович был суровым, иногда даже жестоким человеком, и Марии Филипповне, женщине кроткой, мягкосердечной, не раз приходилось плакать от него втихомолку. А молодая невестка Нюша трепетала от одного его взгляда из-под хмурых бровей. Не боялись

его только внуки, лезли к нему во всякое время, — он для них был добрым дедушкой.

Но после гибели сыновей на войне он круто переменялся. Горе смягчило его, укротило нрав, сблизило с женой, — он понял, что на свете, кроме нее, нет ближе человека.

От старшего сына, жившего отдельно от них, остались двое детей; от младшего — одна девочка, Оля. Фома Прохорович все чаще стал замечать, как невестка Нюша, посадив на колени Оленьку, подолгу сидела в глубокой задумчивости и печали, шептала, глотая слезы:

— Как будем жить без папы-то?

— С дедом, — отвечала девочка: она не помнила отца.

Нюша замкнулась, никуда не ходила, после работы, поужинав, сразу ложилась в постель.

Фома Прохорович долго ходил молчаливый, углубленно думая о чем-то, решая какую-то сложную задачу, и, решив ее, позвал однажды к себе невестку, посадил возле себя и сказал:

— Вот что, Анна... Хватит тебе слезы лить. Слезами мужа не вернешь. Ты женщина молодая, из себя видная, неглупая... Не годится тебе жить так... Невелика радость с нами, стариками, хороводиться. Выходи-ка ты замуж, обзаводись семьей...

— Правда, Нюша, правда, милая, — подтвердила Мария Филипповна.

Фома Прохорович помолчал и прибавил:

— Хочешь, оставайся здесь, комнаты вон какие, не стесним... Если, конечно, хороший человек попадется. А хочешь — к нему иди... Ну, а Оленька, внучка, пусть при нас растет, нам без нее нельзя.

Через год Полутенины выдали невестку замуж, точно дочь свою, и остались с Оленькой.

Фома Прохорович относился к Антону, как к сыну, — этот парень, скромный и работающий, пришелся ему по душе.

Простой, сам не очень грамотный, но мудрый своим житейским опытом человек, он безошибочно находил пути к сердцу Антона. Пожалуй, никто так проникновенно не произносил великие, но ставшие уже привычными слова, как он. Сидя за столом в своей просторной и чистой квартире, наливая из стакана в блюдце чай, смущенно

покашливая, он вдумчиво и тихо внушал своим мягким и ласковым баском:

— Ты не забывай, сынок, коммунизм-то уже вот, на пороге... Он ждет людей честных и работающих и, конечно, грамотных, знающих... А хорошее-то всегда дается трудно... с мукой дается. Но ведь ты рабочий, ты должен быть потверже других духом-то — у огня стоишь...

Слушая Фому Прохоровича, Антон чувствовал, как в груди что-то приятно таяло и тепло разливалось... Он уходил от него освеженным, полным сил и веры. И снова терпеливо и неумолимо нес груз, который он сам взвалил себе на плечи. Порой казалось, что под этим грузом погасла его любовь к девушке. Но это только казалось. Как тлеющий в глубине костра, под пеплом, огонек при дуновении ветра разрастается в пламя, так и почти угасшая любовь Антона к Люсе вдруг вспыхнула с новой силой.

В субботу Антон, Гришоня и Володя Безводов собрались в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького на каток.

В безветренные вечера, когда морозный воздух чуть внятно пахнет ранней весной, а над городом в черной пропасти неба зажигаются голубые студеные созвездия, Антон любил выйти на лед. Глядя на карнавальную пестроту костюмов среди розоватых сугробов снега, следя за веселой игрой огней, отражавшихся в ледяных зеркалах, заглядывая в девичьи лица с нацелованными розом щеками, в задорные их глаза с инеем на ресницах, слушая всплески смеха и пронизывающие насквозь пленительные звуки вальса, Антон испытывал ни с чем не сравнимое чувство душевного восторга.

Выйдя из гардероба, он на минуту останавливался — губы полуоткрыты в улыбке, ноздри жадно вдыхают аромат свежести — окидывал взглядом пространство в струящихся потоках света прожекторов, в морозных искрах, карусельное кружение толпы, перспективу аллей, уводящих в дальний конец парка, на пруды, и, подхваченный желанием лететь, Антон приподнимался на носки, для разбега делал несколько стремительных прыжков, а потом кидал себя вперед, стрелой рассекая толпу — одна рука за спиной, другая с ремешком размашисто режала воздух.

Приметив впереди девушку в нарядном костюме, он гнал за ней, а догнав и заглянув ей в лицо, улыбался широко и приветливо — от изобилия счастья.

Вот и сейчас, выбежав на лед, Антон, высокий, стройный, в синем шерстяном свитере, с непокрытой головой, покосился на товарищей, потом внезапно рванулся и пропал в людской гуще. Безводов погнался за ним, Гришоня отстал: у него зябли уши, и чтобы укрыть их от мороза, он надел Антонову ушанку. Она была велика ему, надоедливо съезжала на глаза, и он, запрокинув голову, по-птичь выставляв острый нос, спотыкался и бранил бросивших его товарищей.

Антон, разогреваясь, прокатился по малому кругу, потом вылетел на набережную, оттуда, обгоняя конькобежцев, помчался по ледяной дорожке в глубину парка. По сторонам, запутавшись в сложном переплетении голых ветвей, белыми и синими тюльпанами висели фонари. От их неяркого света даль аллеи выглядела загадочной и манящей.

Стуча коньками по ступенькам деревянной, запорошенной снегом лесенки, держась за перильца, Антон спустился на пруд. Здесь было темнее и не таклюдно; возле горбатого мостика на черном глянце льда тускло и расплывчато дрожало синеватое пятно — свет отраженной звезды. Приглушенная и немножко грустная доносилась сюда музыка.

Антон успел сделать только один круг, как прикатил Безводов, а затем и Гришоня, запыхавшийся, ворчливый, весь в снегу, видимо приложился где-то — густые брови в инее, на лбу под шапку подложена варежка, чтобы не съезжала ушанка.

— Чего вы носитесь, как борзые, — обиженно проворчал Гришоня отряхиваясь. — Поди как интересно одному болтаться!..

— А ты не отставай, — упрекнул его Безводов.

— Шапка-то, как котел, хлябает на голове, глаза застилает, будто в жмурки играю, — пожаловался Гришоня. — Прокатили бы разок, вы здоровые, вам все равно силу девать некуда, а мне приятно.

— Давай прокатим его, Володя, с ветерком? — сказал Антон Безводову. — Ну, держись, Гришка!..

Они подцепили его под руки и что есть духу устремились вперед. Гришоня беззвучно смеялся от удоволь-

ствия: «Очень интересно!» Ветер, свистя, обжигал лицо: замкнув один круг, завернули на второй и, одновременно расцепившись, сильно толкнули его, как бы выстрелили им, и Гришоня с визгом пропал в полумраке.

Антон принялся выписывать на льду небольшие spirali. Ему было и весело и грустно одновременно, сердце влеклось куда-то, что-то искало... Музыка звучала в сумраке тягуче, печально. Потянуло в суматоху, в шум, к огням...

— Побежали туда, — предложил Антон, показывая на розоватое зарево над катками, и коньки опять застучали по деревянным ступенькам.

На аллее, далеко впереди заманчиво мелькала красная девичья шапочка. Бросив Гришоню и Безводова, Антон понесся за девушкой. Она бежала быстро, и он начал настигать ее только на тесной от людей площадке. Девушка эта была тоненькой, в голубом свитере и такой же юбке, опушенной белым мехом, на руках — нарядные, в узорах варежки, за спиной развевались концы шарфа. Антон почти догнал ее. Но в это время с боковой дорожки выскочил мальчишка в длиннополом пальто и кепке, съехавшей на глаза, ткнулся прямо под ноги ей, девушка круто свернула вбок, угодила коньком в трещину и упала.

Соскабливая лезвиями коньков ледяную пыль, Антон резко затормозил, попал в ту же щель, не удержался и растянулся рядом с девушкой. Вскочив, он подхватил ее, легонько приподнял, поставил на ноги и с неожиданной и несвойственной ему смелостью пошутил:

— Не ушиблись? А ведь вы могли разбиться и до свадьбы не дожить! Здесь это частенько случается. Ну, ничего, пройдет. — Выпрямился и остолбенел: перед ним стояла Люся Костромина.

Бровки ее изумленно взлетели, она поспешно сняла варежку и протянула ему руку, теплую и мягкую, сказала:

— До свадьбы далеко! Спасибо, что помогли... Здравствуйте.

— Здравствуйте... — машинально ответил Антон.

Мимо в бесконечном веселом хороводе пронеслись конькобежцы. Люся потянула Антона за рукав, приглашая отойти с дороги, и они отодвинулись к снежному валу.

— Где вы пропадаете? — непринужденно и даже немного капризно спросила она. — Я несколько раз была во дворце, но вас не видела.

— Я учусь, некогда.

— Ах, да! Я совсем забыла, что вы учитесь. Мне Костя Антипов говорил что-то... будто вы теперь бригадир молодежной бригады и делаете успехи.

— Ну, какие там успехи, — тербя ремешок, пробормотал Антон; он глядел на ее свежее, размягчившееся лицо, на лукавые ямочки на щеках, на влажно поблескивавшие зубы.

— Хоть бы позвонили когда, — упрекнула она невинно, скорее для того только, чтобы не молчать.

— Зачем? — спросил он с горечью. — Как будто вы ждете моих звонков.

Она не нашла, что ответить, запрятала под шапочку выбившийся локон и озабоченно стала вглядываться в толпы катающихся, потом обрадованно замахала варежкой:

— Костя!

Подкатил Антипов в новой курточке с клетчатой кокеткой, в берете, кивнул Антону головой.

— Я так упала, Костя! — пожаловалась ему Люся, с облегчением берясь за его руку. — Вот он... помог...

— Что помог — упасть? — насмешливо спросил Антипов. — Теперь вы понимаете, как опасно вам отрываться от меня? — Потом осведомился у Антона. — Ты один?

— Нет, Безводов и Гришоня Курёнков здесь, — угрюмо ответил тот.

— Где они?

— Катаются.

— Поищем их, — пригласил Антипов девушку и привычно, как-то по-хозяйски небрежно обхватил ее талию, и они плавно покатались.

Антон сжал зубы и несколько раз сильно хлестнул себя по ноге ремнем, как бы заглушая боль, причиненную этой встречей. Такими его и нашли Володя с Гришоней; за ними тихо подкатила Таня Оленина.

— Что с тобой? — спросил Безводов с тревогой.

Антон вырвался и с бешеной скоростью понесся прочь.

— Куда ты?! — закричал Володя, погнавшись за ним.

Когда Антон стал замыкать круг, Безводов нагнал его, схватил, и Антон со всего маху плашмя грохнулся в сугроб, зарывшись лицом в снег.

Мимо, присев на один конек и выставив вперед ногу «пистолетом», с криком и свистом пронеслась длинная вереница ребят. Самая последняя в этом «поезде» — женщина. Поравнявшись с Безводовым и Гришоней, она оторвалась и встала во весь рост. Это была Таня Оленина. Она засмеялась, махая варежкой вслед ребятам. На ней был надет шерстяной свитер с узорами на груди, на голове шапочка, шею закрывал шарф. Таня увидела Антона в снегу и спросила с недоумением:

— Что это с ним?

— Сам не знаю, — сказал Володя, пожав плечами.

— А я знаю! — неожиданно воскликнул Гришоня, сдвинув шапку на затылок и доверительно зашептал: — Увидел Люсю Костромину с Костькой Антиповым — и готово. Это с ним случается...

— Поднимите его, — сказала Таня — простудиться может...

Гришоня понял, что балагурить неуместно, наклонился и стал тормошить Антона.

Таня нахмурила брови и молча отдалилась.

Безводов разгоряченно дернул Антона за плечо, грубовато крикнул:

— Вставай, а то мы уедем без тебя!

Антон тяжело повернулся — на бровях, на ресницах налип снег.

— Володя, сядь сюда, — сдавленно попросил он. Тот неохотно сел. — Сам чорт, видно, подослал мне ее, проклятую! Понимаешь, точно отраву выпил — все жжет внутри... — Достал из кармана платок, стер с лица снег, вздохнул.

— Все это до добра не доведет, — сказал Володя обеспокоенно. — Избавиться тебе от нее надо...

— Давно пора! — поощрительно изрек Гришоня. — Что ты в ней откопал хорошего? Ну — красивая, ну — бойкая, только и всего. Да красивых девушек, если хочешь знать, теперь на каждом шагу. Вон их сколько катится, погляди — целые стаи, выбирай! Только я бы на твоём месте всех их гордо презирал!

Безводов понимал, что Антон и в самом деле глубоко потрясен и ему сейчас не до шуток. Он подал ему руку и помог подняться...

2

Весь следующий день Антон чувствовал себя подавленным, делать ничего не хотелось. Чтобы не отвечать на вопросы Гришони, раскрыл учебник и попробовал увлечь себя чтением. Но, как назло, мерещилось красивое и дразнящее лицо Люси, самодовольная, победная усмешка Антипова... Отшвырнув книжку, он долго ходил от стены к стене, запустив в волосы пальцы обеих рук.

«Нет, так у меня дело не пойдет, она меня измучит, честное слово. Надо отвязаться от нее, — убеждал себя Антон — Но что сделать, чтобы не думать о ней?.. Вот дьявольщина!»

— Отгадай загадку, — надоедливо приставал Гришоня, в одиночку сражаясь на шахматной доске. — Летит — молчит, лежит — молчит, весна придет, так и заревет. — Антон отмахнулся, и Гришоня, утешая его, ответил: — Снег, чудак! Ведь и вправду весна наступит, снежок растает, ручейки побегут, и — с гуся вода, с Антоши худоба — унесет твою горячую любовную слезу в синие море, — не вернешь.

Антон оделся и спустился на улицу. Валил снег; крупные хлопья, падая, как бы тащили на землю серые сумеречные тени; тени эти сгущались, замыкая короткий зимний день. Зажглись фонари вдоль улицы, и стало отчетливо видно, как вокруг них роями мотыльков вились, ослепительно вспыхивая, снежинки. Антон продрог. Зябко вздрагивая и поеживаясь, вернулся домой.

Спал он беспокойно, встал недовольный, с предчувствием чего-то нехорошего и весь день работал без подъема. Он злился, что не может себя переломить, нервничал, прежняя стройность в работе бригады нарушилась. Если раньше случались какие-либо неполадки, то он, не дожидаясь, бежал за наладчиком, за слесарем, торопил исправить, помогал сам; теперь же, безразличный, ожидал, когда они придут, притянут железную сваю «сокол» и забьют клинья. За незначительную оплошность накричал на Сарафанова; тот в долгу не остался и зычно огрызнулся в ответ. Настя Дарьина наблюдала за ними из-за своего пресса испуганно и непонимающе. Гришоня

помалкивал, чтобы не навлечь гнева бригадира, — он после выскажет ему свое мнение.

Когда Костромин узнал, что бригада Карнилина несколько дней не выполняет норму, больше чем всегда делает брак, он, верный своему обещанию, приказал расформировать ее как не оправдавшую своего назначения. Старший мастер, жалобно морща нос, передал этот приказ Антону; парень в первую минуту растерялся, в глазах отразились страх и мольба, но вслед за тем вдруг ощутил, что все в нем восстало и ожесточилось.

— Не пойду в нагревальщики, — обдал он мастера горячим шопотом. — Не отдам бригаду. Что хотите делайте — не отдам!

— Ты, гляди, парень, не бунтуй, — примирительно сказал Самылкин и добавил в утешение: — Я вас опять по старым местам рассую: тебя — к Полутенину, Сарафанова — к Саляхитдинову.

— Я сказал — не пойду, старик, и все! — уже убежденно и с угрозой крикнул Антон.

— Не пойдем, — подтвердил Гришоня, а Илья прибавил басовито:

— Мы не болванки — швырять нас...

Старший мастер отступил на шаг, изумленно и часто мигая и расплываясь в улыбке:

— Что вы на меня рычите, молодцы? Приказ не я давал. Начальника не знаете... Огонь!..

— Начальник?! — крикнул Антон, оглянувшись, будто просил помощи, — в нем все кипело. — Тогда пусть сам начальник и работает! — Сунул в руки Самылкину клещи. — Возьмите вот, отдайте ему. Пускай он сам постойт у печи в нагревальщиках! А я не буду. Понятно? Хватит с меня, постоял! Назад не пойду. Лучше совсем уйду из кузницы, чем опять в нагревальщики!

— Да ты что, взбесился?! — изумленно выкрикнул Василий Тимофеевич, кидая на пол клещи.

Лицо Антона исказилось, будто мучительно, с кровью отдирали от его души живое, сросшееся с ней; он круто повернулся и зашагал прочь от молота, глядя перед собой невидящими глазами.

А Гришоня, поняв, что дело может кончиться плохо, бросился к Фоме Прохоровичу. Старый кузнец не спеша прибирал рабочее место.

— Заступитесь, — торопливо заговорил Гришоня. — Антона в нагревальщики опять переводят. Я знаю, почему так получилось. Больше это не повторится, даю вам слово!

— За что переводят? — спросил кузнец, почему-то выдернул из метлы без черенка прутик, сломал его и кинул на кучу мусора.

— Да ведь суший пустяк, Фома Прохорович: не выполнили норму, браку наделали, — признался Гришоня, скромно опустив взгляд.

Фома Прохорович улыбнулся в усы:

— Хорош пустяк!..

Гришоня тут же заверил:

— Но больше так не будет. Вы никогда не услышите ничего плохого о нашей бригаде! Это я заявляю вам авторитетно. Только заступитесь... Один заступник у нас — это вы, — польстил он. — Попросите Костромина, может, он отменит приказ.

Фома Прохорович домел окалину, распрямился и промолвил кратко:

— Ладно попрошу. Где Антон?

— Убежал. Распалился и убежал. С завода уходит собрался. Он уйдет. Я его знаю отлично...

Антон мылся в душевой. Он чувствовал себя глубоко и незаслуженно оскорбленным. «Ничего, свет клином не сошелся на этой кузнице, — убеждал он себя. — В нагревальщики не вернусь! Как же я пойду в нагревальщики, если я могу быть штамповщиком? Неужели не понимает этого начальник? Раз не понимает — значит, не дорожит людьми. И пускай! В Москве много заводов, найдется место». И виделась ему утешительные картины: раскрываются двери цехов, люди встречают его приветливо — вставай на любой молот!

Антон вымылся, оделся. Возмущение не остывало в нем. На какой-то момент вспомнил Люсю, — любовь к ней показалась ему неожиданно мелкой, раздражающей. Он как бы прозрел. Да правда ли, что это он, сгорая от нетерпения и жажды видеть ее, ворвался в квартиру Антипова? Правда ли, что вчера на катке он зарывался головой в снег от неразделенной любви, от ревности? Он пожимал плечами, поражаясь себе, — какой он, должно быть, смешной был глупый...

В коридоре встретился Гришоня и схватил его за рукав.

— Куда ты? Погоди!..

Антон отшвырнул его:

— Отстань! — Он вышел на улицу и твердо решил завтра же утром отправиться на завод малолитражных автомобилей.

Антон проходил мимо цехов через пути; остановился, чтобы пропустить маневровый паровозик с тремя вагонами. По низу дул ветер, вихрил снег и дым. Проходная показалась ему каким-то рубежом. Он боялся вступить в узенькие ее ручейки. Ему вдруг показалось, что если он ее пройдет, то останется один. Ему стало страшно от задуманного, он даже вспотел весь. «Что же я буду делать без кузницы? Другой такой нет нигде! А что подумают Фома Прохорович, Алексей Кузьмич? Скажут: струсил, сбежал. А Володя, Гришоня?.. А как злорадно будет усмехаться Дарьин: «Кишка тонка!..» Как улыбнется снисходительно Антипов: «Ну что вы от него хотите?..» А моя учеба, школа!.. А Дворец культуры! Да без всего этого мне нет на свете жизни!»

Антон рванулся с места и помчался назад, натываясь на встречных, — рабочие двигались к проходной. «Скорей, скорей!.. Только бы никого не было, только бы не обнаружил никто моего ребячества! Буду работать нагревальщиком, чернорабочим, кем угодно! Отрываться невозможно, — привык к людям, к цеху. Буду добиваться, буду доказывать!..»

Он вбежал в комнату Володи Безводова. Там было пусто. Кто-то сказал, что Володя у Фирсонова. Антон приблизился к партбюро — из-за двери слышались голоса — и стал ждать.

Фома Прохорович Полутенин из душевой поднялся к Фирсонову, где находилось несколько членов партбюро, и сказал хмурясь:

— Надо заступиться за Карнилина.

Фирсонов позвонил Костромину. Тот сейчас же явился, стремительный, нетерпеливый, в распахнутом халате, чуть вскинув бороду, прищурился на сидящих.

— Что случилось, Алексей Кузьмич? — спросил он, не отходя от двери.

— Сядь, Леонид Гордеевич, послушай.

Костромин присел на стул, насторожился.

— Я тебе напоминал, что я здесь не случайный человек, а секретарь партийного бюро, — раздельно и сухо вато заговорил Фирсонов, глядя в лицо Костромину. — Мы вместе отвечаем и за производство и за людей. И прежде чем принять какое-либо решение, и в особенности касающееся рабочих, не мешало бы посоветоваться со мной или хотя бы поставить меня в известность. Я говорю о комсомольско-молодежной бригаде Карнилина, которую ты приказал распустить...

— А-а, — протянул Костромин с облегчением и прочнее утвердился на стуле. — Откровенно признаться, я не думал, что это тебя так близко тронет...

— Трогает, Леонид Гордеевич, и не только его, а и меня, старого кузнеца, — прервал Костромину Фома Прохорович и встал. — Для него, для этого парня, приказ-то ваш, может, судьбу решит. Сегодня вы его сняли с бригадиров и перевели в нагревальщики, несправедливость ваша для него обидна, и завтра он уйдет из цеха. И нет кузнеца. Он, может, выбрал эту профессию пожизненно. А вы ему в самом начале путь обрезаете. Не больно многие отваживаются на наше дело — сунутся, понюхают, чем пахнет, обожгутся, да скорее назад...

— Но, Фома Прохорович, посудите сами, — возразил Костромин, — нельзя же поощрять людей за плохую работу, тем более, что бригада эта называется комсомольской и обязана быть показательной: назвался груздем, как говорится, так полезай в кузов...

Полутенин опять перебил его:

— В своих обязанностях комсомольцы разберутся сами; я знаю, они поблажек друг дружке не дают. А надо, так мы им подсказем... А вот Карнилина вы не знаете, Леонид Гордеевич. Из него, если хотите знать, отличный кузнец получится. А вы его в нагревальщики!..

Фома Прохорович сел. Кто-то поощрительно заметил, усмехнувшись:

— Кого-кого, а комсомольцев своих Фома Прохорович в обиду не даст...

— Замечание Полутенина считаю правильным, — подтвердил Алексей Кузьмич, обращаясь к Костромину, который сидел на уголке стула, боком, с недовольным и оскорбленным видом. — Борьба с лодырями, рвачами у нас с тобой общая; в этом деле я тебе первый помощник. Но ты мало знаешь людей; а не зная людей, легко

можно совершить ошибку, сделать неверный вывод, что и произошло у тебя с бригадой Карнилина.

Антон в это время сидел в красном уголке. Он видел, как в партбюро пролетел в развевающемся халате Костромин, и с сильно растущим беспокойством ожидал, чем кончится разговор. По отрывочным фразам он понял, что говорят о нем.

Вышедший из партбюро Володя Безводов увел его в свою комнату. Антон спокойно глядел в окно на заваленные снегом крыши соседних цехов, на батарею труб — над ними, разбухая, тянулись в блеклое безветренное небо столбы дыма.

— Костромин правильно требует, — говорил Безводов. — Комсомольская бригада обязана быть показательной. А вы споткнулись на первых шагах. И из-за чего? Все из-за этой... Люси! — На протестующий жест Антона сказал: — Я знаю, не возражай. — Володя шагал по комнате, пожимал плечами, ворчал. — Вот напасть! Чорт дернул меня познакомить тебя с ней! Что же это за любовь, если она палки в колеса тычет? К чорту ее, такую любовь! — крикнул он и неожиданно рассмеялся. — Вот если бы Леонид Гордеевич узнал, что причиной всему его несравненная дочка... Представляешь его вид?!

Антон повернулся и выговорил с усилием:

— Володя, не надо о ней...

Безводову вдруг стало жалко его. Они сели рядышком, бок о бок.

— Жить «как-нибудь» сейчас невозможно, Антон, — сказал Володя. — Все, чем красива и богата душа, выкладывай, не скупись. Сам гори и других зажигай. Ты умеешь это делать. А разные мелкие переживания, неурядицы, которые оплетают по рукам и ногам, надо рвать и сбрасывать прочь! Я так думаю, Антоша...

Антон в задумчивости ударил кепкой по колену, согласился:

— Так... Все правильно. А вот с чего начать — не знаю. Подскажи.

— Перво-наперво, Антон, — ответил Володя, косясь на товарища, черные глаза его лучились, — с высоких показателей, что называется. Приди в норму, подготовься и объявляй о рекорде. Тебе пойдут навстречу. Надо доказать и Костромину и коллективу, что бригада не зря носит комсомольское имя.

Антон глубоко вздохнул, оторвался от Володи и направился к двери, ничего не ответив: как в полусне прозвучал Люсин смех, мелькнули золотистые, приподнятые к вискам глаза ее, и все отдалилось; осталась надежная рука друга да негаснущая отвага в сердце.

3

В назначенный день Антон с Гришоней вышли из дому рано. В небесной вышине холодно пылали звезды. Редкие трамвайные звонки казались пронизывающими в студеном воздухе. Подгоняемые морозцем, подняв воротники, ребята шли по безлюдным полутемным улицам, хорошо отдохнувшие, выспавшиеся.

Несколько дней назад Антон объявил о рекорде. Он долго не решался, думал, советовался, понимая, что берет на себя большую ответственность, что рекорд — это первый шаг; сделал его — и тогда иди уж той же походкой. Но когда-то он должен сделать этот шаг.

Старший мастер, узнав о решении кузнеца, обрадованно округлил глаза и спросил недоверчиво:

— А не сорвешься?.. Ну, гляди, парень!.. Поковка эта нам вот как нужна! — И провел ребром ладони по жирному подбородку.

Фома Прохорович, привычно дернув кепку за козырек, ободрил Антона душевной улыбкой:

— Не боги горшки обжигали... Пойдем потолкуем.

Они прошли к рабочему месту Антона, сели на ящик с заготовками. Возле колена Фомы Прохоровича уютно пристроился Гришоня, из-за плеча Антона скромно выглядывала Настя Дарьина, над ее головой возвышалось лицо Сарафанова. Они выискивали секунды, складывали, выверяли, где можно сделать вместо четырех ударов три, вместо трех — два, да посильнее, как убыстрить перекладку поковки на штампе, в ручьях...

— Я предлагаю так, — загремел бухающий бас Ильи: — загружать в каждое окно печи не по сорок болванок, как мы делаем, а по шестьдесят. Вот тебе сразу экономия пятнадцать минут за каждый завал!

— А не пережжешь? — быстро спросил Антон.

— Не пережгу. Чай, не маленький, понимаю. Следить буду.

К концу беседы они были уверены, что если сумеют в точности выполнить задуманный план, то в резерве

останется полтора-два часа сэкономленного времени. Это время и позволит дать рекордную выработку.

...Агрегат был подготовлен. Штампы выверены и подогреты. Неподалеку стояли ящики с металлом, прозванные рабочими «кроватями» за сходство с железными койками. Возле молота возился наладчик, у печи дежурил Илья Сарафанов: он загрузил в нее, как было установлено, сто двадцать болванок вместо обычных восьмидесяти и, отодвинув заслонку, пригнувшись, заглядывал внутрь; узкие и текучие ленты пламени обвивали черные стальные куски, и куски эти, как бы расцветая, наливались живительными соками, краснели, белели, кололи взгляд нестерпимым излучающимся светом.

Подошла Настя в коричневом опрятном, только что выстиранном свитере, волосы аккуратно подобраны и завязаны платком, улыбнулась ребятам, показав щелочку между передними зубами, и отодвинулась к прессу.

Наведался старший мастер, как всегда запыхавшийся, неудержимый, осведомился, как идут дела, бросил: «Гляди, парень!» — и ушел к другим молотам. Фома Прохорович, проходя, приветливо помахал комсомольцам рукой.

В окнах несмело забрезжил синеватый зимний рассвет. В дальнем конце корпуса одиноко и глухо бухнул молот. Антон повернулся и выразительно взглянул на Сарафанова. Тот моментально выхватил кочергой заготовку, подцепил клещами, смаху бросил ее на штамп. Сильная вспышка отбросила прочь сгустившийся сумрак.

Первые отличные поковки воодушевили бригаду. Темп труда сам собой убыстрялся, молот был чутко послушен каждому движению кузнеца, — верхний штамп плющил сталь то резко, сокрушительно, то касался ее мягко, почти нежно.

Антону казалось, что внимание цеха, завода, всей страны сосредоточено на нем: он держит экзамен на зрелость, на мастерство, на звание кузнеца, на гордое звание передового советского рабочего. И ему хотелось сдать этот экзамен только на «отлично», — он вкладывал в работу весь свой юношеский трепет, отвагу и умение. И как будто все лучшее, что имели опытные кузнецы, — стремительные и экономные движения Дарьина, спокойствие и точность Фомы Прохоровича, оригинальные приемы Самылкина, — соединилось в нем, неузнаваемо преобразив его.

Сбрасывая поковку за поковкой, Антон опять на мгновение вызвал в памяти образ Люси и, странно, увидел ее среди этих грохочущих, вращающихся громадин, бушующего огня и синего дыма отдаленной, жалкой в своем жеманстве, потускневшей. Прежней сладкой и щемящей боли она в нем не вызвала.

В середине дня у агрегата появились Костромин, Фирсонов, старший мастер и Володя Безводов. Алексей Кузьмич подтолкнул локтем начальника и глазами указал на бригаду.

Как бы подчиненные какому-то внутреннему музыкальному ритму, движения людей были скупы, плавны, преисполнены красоты и неистраченной энергии. Костромин наблюдал за кузнецом восхищенным взглядом, в волнении застегивал и расстегивал пуговицы халата.

При виде начальства Антоном вдруг овладело веселое озорство. Он обернулся к Сарафанову, закричал:

— Поворачивайся, Илья, покажем, как могут ковать комсомольцы!

Среди воя и обвалов Илья не слышал Антона, но, поняв его, усмехнулся, пробубнил:

— Даю, только успевай причесывать!

С неожиданной для него проворностью кидая кузнецу заготовки, горячим металлом писал он в полумраке красные радуги. Гришоня сдувал окалину; Антон в два-три приема расправлялся с поковкой, отбрасывал на конвейер в распоряжение Насти Дарьиной, — та придавала ей изящный вид.

И вдруг поковки стали застревать в ручьях. Илья придвинулся к Антону, спросил мрачно:

— Чего?

Подожел Фирсонов:

— Что случилось?

— Не знаю. — Антон тревожно рассматривал штамп.

Василий Тимофеевич определил спокойно:

— Гляди, парень, клинья ослабли — не догадаешься?

Зови Шукина, везите «сокол».

У Антона гора с плеч свалилась: значит, не надолго встали.

Костромин распорядился засечь простой и в конце дня дать дополнительное время; он ушел, увлекая за собой Алексея Кузьмича.

Пока забивали клинья, Антон не находил себе места. Ему казалось, что молот молчит несколько часов, хотя не прошло и пятнадцати минут, как бригада опять приступила к штамповке.

Когда же была исчерпана последняя минута и Антон, удивительно спокойный и как бы опустошенный, снимая очки и слабо улыбаясь Сарафанову, отвернулся от молота, подлетел Василий Тимофеевич, запричитал:

— Ты, гляди, парень, — молодец! Сказать, сколько отчубучили? Девятьсот тридцать штук! Стало быть, на сто пятьдесят пять процентов отмахали. Понял? Этого у нас еще не бывало...

А Володя Безводов, поймав на заводском дворе фотографа многотиражки, притащил его в бригаду, и тот, выстроив всех четверых у молота, три раза щелкнул аппаратом, записал фамилии и скрылся.

— Вот видишь... — говорил Володя, ведя бригаду к начальнику. — Я был уверен, что выйдет. А ты боялся...

Выйдя из-за стола, Костромин стремительно приблизился к Антону, схватил его за плечи, встряхнул и сказал отрывисто:

— Вы сделали большое дело. Даже Полутенину и Дарьину не удавалось давать такую высокую выработку этой детали... О работе бригады я доложу директору завода.

Ребята стояли в ряд и переглядывались; Гришоня толкал в бок Сарафанова, который горделиво и картинно выпрямился, как должное, милостиво принимая похвалы начальника; Антон, покраснев, смущенно опустил голову. Настя как впилась глазами в начальника, так и замерла от значительности и торжественности момента.

Костромин, распахнув халат и сунув руки в карманы пиджака, выдержал паузу, потом левая бровь его сердито поползла к виску, взгляд темных неподвижных глаз сделался строгим, голос прозвучал властно и требовательно:

— Но запомните: рекорд ваш не стоит и ломаного гроша! — он передохнул и повторил: — Да, не стоит!.. Если он останется голым рекордом. Нам такие рекорды не нужны — время для них прошло. Теперь известно, что при нашей технике можно давать более высокую выработку. — Он отступил, окинул взглядом примолкших ребят и продолжал: — Если вы сумели взлететь, то будьте

любезны удержаться на этом уровне. Сами поднялись и других тяните. Вот как встает вопрос сейчас. Тогда вам хвала и честь! И ваше сегодняшнее достижение я рассматриваю как заявку на такую же отличную повседневную работу.

Костромин круто повернулся, прошел и сел за стол, вытянул руки перед собой, неожиданно усмехнулся:

— Правильно я говорю, Володя?

— Конечно, Леонид Гордеевич, — отозвался Володя.

— А что скажет бригадир? — Костромин взглянул на Антона испытующе и решительно.

Антон в затруднении шмыгнул носом, покосился на товарищей и промолвил кратко:

— Посмотрим. — И скомандовал своим: — Пошли мыться!

Но Гришоне не терпелось высказаться, он вполголоса спросил Антона:

— Чего ты молчишь? Заверь его: сделаем, мол... — Повернулся и громко оповестил: — Не тужите, товарищ начальник, мы удержимся на этой высоте.

Сарафанов грубовато подтолкнул его к двери:

— Иди, оратор, на ноги наступлю.

Через два дня бригада Карнилина выдала тысячу семьдесят поковок, затем тысячу сто.

В заводской газете напечатали снимок бригады: Антон выглядел растерянным; из-за плеча его высовывалась бойкая и пронырливая мордочка Гришони Курёнова; закинув клещи на плечо, Сарафанов возвышался над всеми надменный и свирепый; Настя крепко вцепилась в его рукав и казалась испуганной.

В перерыв Гришоне, разворачивая газету, потешался, смешил Настю:

— Гляди, у Сарафанова вид, как у Соловья-разбойника: сейчас свистнет и пойдет махать своей дубиной...

Илья бухал, как в бочку:

— Зато сразу видно, что кузнец, а не фитюлька какая-нибудь, вроде тебя.

— А бригадир красную девицу изображает, скромничает... Оч-чень интересно! — не унимался Гришоне.

Таня Оленина, проходя мимо, через плечо Гришони заглянула в газету на фотографию.

— Смешные какие... — сказала она, и Антон встретился с ее глазами, большими и темными; в них было что-то загадочное, влекущее...

4

Последнее время Антон все чаще и чаще встречал Таню Оленину — в цехе, во Дворце культуры, на катке, в комсомольском бюро. Она непрошенно вторгалась в его воображение, заслоняя собой образ другой девушки. Немой и строгий взгляд ее глубоких темных глаз тревожил его. Он много раз слышал ее низкий и певучий голос, но разговаривать с ней наедине ему не приходилось.

Однажды в февральский вьюжный вечер Антон с Безводовым сговорились идти в бассейн. Гришоне увязался за ними.

— Сиди дома, еще утонешь, — сказал Антон.

— Вытащите, небось, если ко дну пойду, — ответил Гришоне.

В купальном зале было тепло и влажно, пахло паром, отовсюду слышались всплески воды, голоса гулко и трескуче отдавались в пустых углах. Свет электрических ламп пронизывал воду до самого дна, разлинованного широкими полосами. На поверхности покачивались головы купающихся.

Оставшись в плавках, Антон подошел к краю бассейна. Рядом с ним топтался Гришоне в длинных, до колен, трусиках, похожих на юбочку. Володя побежал на вышку.

Там, под самым потолком, на краю площадки стояла стройная девушка в синем купальнике и резиновой шапочке. Вот она, чуть присев, бесстрашно оттолкнулась, распластав руки, птицей мелькнула в воздухе и канула в глубину, взметнув снопы брызг. У Антона чуть дрогнуло сердце, а Гришоне прошептал в восхищении:

— Эх, как пикирует!..

Через мгновение девушка упруго взлетела над водой. Антон с радостным удивлением узнал в ней Таню Оленину. Она подплыла к ним, засмеялась: голова в этой шапочке казалась детски маленькой, забавной.

— Плавать не умеете? — крикнула она задорно. — Я научу вас, прыгайте!

Сквозь прозрачную толщу воды видно было, как шевелились ее ноги и руки. Антон невольно улыбнулся и напомним, как всем известное:

— Я на Волге вырос...

— Помогите мне вылезти, — попросила Таня. Антон, наклонившись, протянул ей руку; она схватилась за нее обеими руками и с неожиданной ловкостью опрокинула его в воду. Гришюня кинулся за ними, смешно забарахтался. Антон вынырнул, отбросил с лица липкие пряди волос, взглянул в ее влажные, дразнящие глаза со светлыми капельками на ресницах, на вздрагивающие ноздри.

— Ах, вы так со мной!..

— Испугались?

Антон приготовился наказать ее за коварство, но в это время с вышки послышался возглас Володи Безводова перед прыжком. Воспользовавшись заминкой, Таня нырнула и всплыла далеко от него, затерялась среди купающихся.

Антон ощутил необычайный прилив сил. Он буйствовал, пенил воду, подныривал под Гришюню, шумно фыркавая, отдуваясь, ухая, возил его на себе, пока не угомонился. Гришюня сочно похлопывал его по лопаткам. Отдыхая, Антон искал и не находил взглядом Таню.

...Вскоре случай свел их у молота.

Антону пришла интересная мысль об изменении и упрощении штампа. Антипову он ничего не сказал, — еще иронизировать начнет! — а пошел к старшему технологу Елизавете Дмитриевне Фирсоновой, объяснил ей. Она одобрила, помогла ему разработать чертеж, оформить предложение.

Оно попало к Семиёнову. Иван Матвеевич долго рассматривал чертеж, читал объяснения; потом он позвал к себе Таню Оленину.

— Взгляните, Карнилини предложением разразился, — сказал он, улыбаясь, и прибавил негромко: — Оказывается, он не только похищать девочек мастер...

— Ну и как? Интересно? — спросила Таня, заглянув в чертежик, и смутилась оттого, что сделала это слишком поспешно, как будто даже с волнением.

— Ничего, ничего, — ответил старший конструктор поощрительно. — Не слишком густо, но любопытно. Для первого раза сойдет... Вам придется изготовить чертежи,

Татьяна Ивановна. Пожалуйста... — Иван Матвеевич передал ей листки.

Таня поймала себя на том, что, читая это предложение, она невольно думала о его авторе, отчетливо представляя, как он думал над каждым изгибом ручья, как писал строчки крупными, почти печатными буквами, и покраснела от смущения, усмехнулась сама себе.

Когда новые штампы были готовы и их поставили на молот, Таня пришла проверить, как они работают.

Антон злился:ковка не клеилась, сталь надоедливо вязла в ручьях, выводя кузнеца из терпения; от этого и молот как будто стал неузнаваемо тяжелым, непослушным, а удары «бабы» — странными, неверными; как нарочно, сквозь сальник цилиндра просачивалась горячая вода и при каждом взмахе брызгала на лицо штамповщика, а попадая на раскаленные штампы и поковки, шипела и испарялась. Антон никак не мог приноровиться, свирепел от досады и бессилия.

Понаблюдав немного, Таня спросила кузнеца, как идет штамповка. Антон сердито крикнул ей, будто она была виновата во всем:

— Не видите — как? Плохо! Ни к чорту не годится! Что вы там сделали со штампом — не знаю! Испортили совсем. Конструкторы!.. Чему вас только учили...

Таня строго выпрямилась — руки в карманах халата, плечи приподняты. Она смерила Антона холодным и презрительным взглядом, ничего не сказала, повернулась и пошла прочь, отчужденная и непримиримая.

Опомнившись, Антон хотел вернуть ее, чтобы оправдаться. Но пестрая косынка женщины, мелькнув вдалеке, скрылась, заслоненная вращающимися маховиками прессов, багровыми полотнищами вспышек. И весь день парня терзало раскаяние...

Позже, зайдя с Алексеем Кузьмичем к Фирсоновым, он увидел Таню, как и в первый раз, с ногами сидящую на диване; так же горела одна настольная лампа; Елизавета Дмитриевна укладывала сына, который, услышав, что пришел отец, не хотел засыпать, капризничал. Елизавета Дмитриевна вышла из детской и сказала мужу:

— Он меня измучил... Иди уложи его. А я приготовлю ужин.

— Не спит! — радостно воскликнул Алексей Кузьмич, направляясь к сыну. — Вот разбойник!

Таня и Антон прошли в кабинет Алексея Кузьмича и закрыли дверь. Таня приблизилась к книжному шкафу и внимательно стала рассматривать корешки книг. Антон сидел в кресле, ждал, когда она повернется к нему, но Таня не двигалась; волосы, забранные кверху, темнели тяжелой шелковистой чалмой; казалось, от неосторожного поворота они рассыплются, рухнут вниз и обольют ее теплыми ручьями. Долго молчали. Осмелившись наконец, Антон глухо, с усилием заговорил:

— Таня, я вас обидел... накричал тогда... — И прибавил, как бы оправдываясь: — Знаете, когда работа ладится, — во мне все поет, хочется обнимать людей, плясать, честное слово. Но когда она не идет, то уж весь свет не мил, сам себе противен, и так делается неудобно, точно по спине железной щеткой водят...

Таня поставила книгу на место, закрыла шкаф, повернулась и, спрятав руки за спину, прислонилась к дверцам, произнесла медленно и с горечью:

— Кричать на человека — на меня или на кого другого — нехорошо, даже подло... Чтобы обидеть, для этого не нужно быть особенно грубым. — И вздохнула. В этот миг она показалась Антону поразительно красивой и немного печальной. Он встал, шагнул к ней и, взглянув ей в глаза — они были большие, прекрасные, в темной глубине их стояли светлые, горячие точки, — произнес:

— Я никогда больше не стану кричать на вас и... вообще... Честное слово! Не верите?

Она нехотя улыбнулась.

— Хочется верить... — И добавила помедлив: — Смотрела я на вас и думала, что хамство, грубость, тщеславие, корысть — это удел ничтожных, злых и вздорных людей. А вы такой сильный, хороший, вы не можете так, мимоходом, обидеть человека. Не должны... Мне тогда было очень больно.

— Я не знаю, что ответить вам... — проговорил он волнуясь. — Хороших людей больше, чем злых и ничтожных, — я их вижу, мы живем среди них, растем... Моя беда в том, что я не всегда еще могу отличить хорошее от плохого... Покамест я делаю то, что мне подсказывают другие люди, товарищи... Подскажете вы — я и вас слушаю...

Таня спросила испытующе:

— Ну, а если я подскажу вам что-нибудь... дурное?

Отступив от нее, он поспешно и с испугом воскликнул:

— Этого не может быть!

Она усмехнулась и взяла его под руку.

— Идемте пить чай.

Теперь в комнате было светло, на белой скатерти стояли нарядные чашки, розетки, варенье. Из детской показался Алексей Кузьмич, без пиджака и без галстука.

— Плохая ты нянька, — сказала ему Таня, — долго укладываешь.

Алексей Кузьмич дремотно ухмыльнулся, довольный.

— Дошлый народ эти ребятишки. Пока я над ним сидел, сам задремал. Я ему говорю: «Повернись к стене, спи. Ночь наступила, а ты все не спишь». Он повернулся, долго, видимо, размышлял и спрашивает шопотом: «Папа, а на кого она наступила?» Я говорю: «На тебя наступила». Он приподнялся и начал озираться: «Что ли она кошка?»

Сели за стол. Елизавета Дмитриевна подала ужин. Подвигая к себе тарелку, Алексей Кузьмич спросил Антона:

— Что думаешь делать дальше, бригадир? Какие планы наметил? Поделись, если не секрет.

— Работать, — ответил Антон.

— И все?

— Экзамены на носу — готовиться придется крепко, чтобы не оскандалиться... Сколько книжек прочитать надо!..

— А соревнование? Что ты думаешь на этот счет? У нас много еще бригад отстающих. Как с ними быть?

Антон видел, что Таня с интересом наблюдает за ним, нахмурился, спрятал руки под стол, сунул в колени, сжал.

— Отстающих быть не должно, — сказал он. — Надо тянуть их...

— Правильно: на повестку дня встал вопрос о том, чтобы сделать всех рабочих передовыми.

Антон улыбнулся:

— Значит, придется решать, если уж встал такой вопрос. Решим.

— Вот и договорились, — рассмеялся Алексей Кузьмич и отодвинул от себя пустую тарелку.

Елизавета Дмитриевна заметила скептически:

— Наивные люди! Как будто от вас двоих зависит, быть кузнице передовой или нет...

— Зависит! — воскликнул Алексей Кузьмич. — В малой степени, а зависит, правда, Карнилин? А степень можно увеличить. — И обратился к Тане, задумчиво позвякивавшей ложечкой о край стакапа: — Ты что загрустила, вдова?

Вмешалась Елизавета Дмитриевна:

— Сколько раз я тебя просила не называть ее так! У нее есть имя...

— Виноват, — покаянно молвил Алексей Кузьмич и насмешливо взглянул на Таню. Та рассмеялась:

— Называй так, Алексей Кузьмич. Какая разница — от перемены имен сущность не меняется... — Вышла из-за стола, начала собираться домой.

Из своей комнаты вышел учитель Дмитрий Степанович, отец Елизаветы Дмитриевны, и квартира огласилась его жизнерадостным рокошущим баском. Он провел рукой по дымчатому ежику волос, осведомился:

— Вы уже домой, Таня? И с провожатым? Отлично!

Антон радовался, что еще несколько минут проведет вместе с ней. Но когда они вышли на улицу, Таня попросила:

— Вам завтра рано вставать. Идите домой. Я доеду одна. Серьезно.

— Вы все еще сердитесь на меня? — спросил он огорченно. — Мне хотелось побыть с вами...

— Времени впереди много — еще увидимся, — сказала она и направилась в сторону метро.

5

В обеденный перерыв Антон привел в комсомольское бюро всю свою бригаду.

— Настя, доставай патефон, ставь пластинки — под музыку легче думать, — распорядился Антон и положил перед Володей лист бумаги, где не совсем отчетливо, наспех были обозначены пункты сообразительности.

Безводов вернул бумажку, сославшись на неразборчивый почерк:

— Читай сам.

Антон выпрямился, обвел всех взглядом: Гришоня навалился грудью на стол и косо из-под лохматых бро-

вей выжидательно следил за Антоном; Илья Сарафанов картинно сидел у окна и попыхивал дымком папиросы, длинное и тягеловатое лицо его было бесстрастно и непроницаемо; Настя добросовестно крутила ручку патефона, — после пушечной пальбы молотов музыка ласкала слух; Володя убрал со стола папки и приготовился слушать.

— Первое, — прочитал Антон отдельно и с выражением: — довести выполнение сменных норм до ста сорока процентов. — И выдержал паузу.

Гришоня живо и не то критически, не то одобряюще произнес:

— Оч-чень интересно!

Сарафанов недовольно завозился на стуле, скупно разжал челюсти:

— Высоко забираешь, как бы не сорваться...

— Смешно слышать от тебя такие речи, Илья, честное слово, — загорячился Антон, взглядывая на Безводова, как бы обращаясь к нему за поддержкой. — Как будто мы не давали по сто пятьдесят, сто семьдесят и даже по сто восемьдесят процентов!

— То было по заказу, — возразил нагревальщик. — А тут — каждый день...

— Сказано «довести», то есть не сразу с места в карьер гнать, а будем наращивать постепенно, изо дня в день, — разъяснил Антон.

Володя спросил прессовщицу:

— Что ты скажешь, Настя?

Она повернулась и, поглаживая новую пластинку, которую собиралась ставить, поспешно ответила:

— Я согласна.

— Я ведь тоже не против, — поправился Сарафанов. — Я только говорю: не многовато ли, выдержим ли?..

— Выдержите, — сказал Володя. — Читай дальше.

— Второе: выпускать продукцию отличного качества.

С этим пунктом все согласились. Следующие параграфы гласили о чистоте рабочего места, об участии комсомольцев в общественной работе... Бригада вызывала на соревнование Фому Прохоровича Полутенина и Олега Дарьина.

— Эх, куда хватил! — воскликнул Гришоня и весело засмеялся.

Илья опять завозился, забубнил:

— Положат они нас на обе лопатки...

— С сильным бороться — сам сильным станешь, — настаивал Антон.

— Не положат! — тотчас же подтвердил Гришоня, подогретый воинственным пылом бригадира, и ввернул: — Они нас пожалеют...

— Обязательства хорошие, — сказал Володя Безводов. — Только недостает, по крайней мере, двух вопросов.

— Каких? — спросил Антон ревниво. — Я все учел.

— Вы забыли, что у нас есть еще одна комсомольско-молодежная бригада Жени Космачева. Она пока не блещет успехами. Ей необходимо помочь. И я предлагаю записать такой пункт: «Взять шефство над одной из отстающих бригад». В данном случае над бригадой Космачева.

Ребята переглянулись.

— Вот это правильно, — с неожиданным энтузиазмом отозвался Сарафанов. — Помогать надо!

— И второе, — продолжал Безводов, мерно ударяя карандашом по столу. — Все члены бригады по примеру своего бригадира будут учиться в средней школе рабочей молодежи.

— А вот это неправильно, — возразил Сарафанов и встал — голова под потолок. — Куда мне учиться — двадцать два года с большим хвостом... Не найдется такой парты, которая бы меня вместила.

— Закажем персональную, — утешил Володя.

— Нет, я не согласен. Мозги заржавели, как примусь думать, так в голове начинает скрипеть что-то, трещать...

— Вот тебе в школе и смажут их, мозги-то. Что ты скажешь, Курёнков?

— Надо бы снять этот пункт, — сказал Гришоня просительно. — Учеба, она — на любителя...

— А ты, Настя?

— Я буду учиться в седьмом классе, — послушно сказала Настя, на что Сарафанов презрительно фыркнул:

— Так тебе Олег и разрешит! Держи карман шире!..

— Разрешит, — заверил Безводов. — Он сам-то учит-

ся...

К великому огорчению Сарафанова, пункт этот все же записали.

Глава четвертая

1

Долго и недвижно висели над городом рыхлые водянистые тучи. Неохотно занимался хмурый рассвет, тускло, лениво заливал улицы, сужая их перспективы, и дома зябко жалась друг к другу. Голые ветви деревьев тяжело набухли влагой. На мостовых, не просыхая, стыла липкая маслянистая мокрота. Вершины зданий тонули в туманной мгле. По ночам ни одна звезда не украшала неба. Птицы молчали, будто задохнулись вязким воздухом. Лица людей выглядели бледными, неулыбчивыми, как бы выцветшими. Казалось, не будет конца этой не весеннему унылой непогоде.

Но однажды в полночь из далеких теплых краев примчался мятежный ветер, с разлету ворвался в город, завихрился на площадях, заметался в ущельях улиц, выдувая студеной промозглой сыростью; разорвав прочную блокаду облаков, освободил звезды, и они замигали изумленно и радостно. Утро наступило золотисто-юное, звонкое. Навстречу солнцу заструились прозрачные и благоухающие пары, дома радушно распахнули окна, деревья дружно взметнули зеленое пламя свежих листьев; на бульвары высыпала детвора; в сквозной синеве кувыркались, ликовали голубиные стаи. Весна...

Антон проснулся с чувством душевной свежести и облегчения — яркий луч упал на подушку и разбудил его раньше времени. За окном в тишине восхищенно и без передышки заливалась какая-то пичужка. Антон сонно улыбнулся, подумав:

«Что это за умница прилетела к нам со своими песнями?»

Толкнув створки рамы, он хотел взглянуть на нее, но, крошечная, она невидимо затерялась где-то в мохнатых ветвях липы. Гришоня еще спал, свернувшись клубочком, и Антон укрыл его потеплее своим одеялом.

Умывшись, Антон сел к столу и раскрыл учебник: приближались экзамены. Математика, физика, химия мало беспокоили его. Но предметы, по которым надо мно-

го читать и, уяснив прочитанное, хорошо и четко излагать, его тревожили, в особенности история с ее событиями, датами, именами, не говоря уже об английском языке, который его просто пугал; но и английский он хотел знать на «отлично», поэтому и приходил в школу на час раньше, чтобы позаниматься с учительницей.

Сутки были уплотнены до предела. На все соблазнительные предложения Гришони Антон отвечал отказом, а когда во Дворце культуры происходило что-нибудь особенно интересное — концерт с участием народных и заслуженных артистов или праздник молодежи, — просил Гришонию запереть его и уносить ключ с собой.

Часто он живо вспоминал Люсю, и ему делалось немного жалко своего прежнего чувства, которое внезапно вспыхнуло и погасло, оставив горечь разочарования.

Заслонив собой все остальное, вставала перед ним Таня Оленина. Нежные и восторженные чувства к ней не давали ему сидеть на месте. Он подымался и ходил по комнате, ероша волосы. В такие минуты комната казалась ему тесной, тянуло на волю, на простор, в шумную, веселую толпу. Но Таня как бы незримо присутствовала рядом с ним и приказывала с ласковой женственной властью: «сиди и учи уроки». И, подавив в себе праздные мысли, он садился за стол, упрямым жестом придвигал к себе книги и читал, «зубрил» естественные науки, историю, литературу...

Антон беспрестанно мечтал о встрече с Таней. Ему хотелось являться перед ней всякий раз новым, более умным, начитанным, красивым.

Скрипнула сетка кровати, Гришоня повернулся на другой бок и, не открывая глаз, спросил:

— Давно встал?

— Да, мне скоро уходить.

— Завтракал?

Антон промолчал.

— Сейчас я встану, чайник согрею.

Гришоня оделся, деловито осмотрел продовольственные запасы, потом отправился на кухню готовить завтрак. Через несколько минут он влетел в комнату — в одной руке сковорода с жареной картошкой, в другой — исходивший паром чайник.

Но в это время с улицы донесся густой и отрывистый женский голос:

— Карнилин, эй, Карнилин! Пошли!

Антон высунулся в окно и увидел стоящую под липой Марину Барохту, кивнул ей:

— Сейчас иду. Это Марина, — объяснил он Гришоне и начал поспешно собираться.

— Чего вскинулся? — сердито заворчал Гришоня. — До уроков еще полтора часа. Пусть она идет своей дорогой...

— А английский язык?

— Ну поешь хоть...

— Некогда, Гришоня.

Подручный возмутился:

— Удивляюсь я тебе: как будто нельзя пропустить одно занятие.

— Ну да, я пропущу, и ты первый начнешь надо мной издеваться, знаю я тебя...

Гришоня отрезал от батона несколько ломтиков, намазал их маслом, положил между ними две холодные котлеты, завернул все в газету и сунул сверток в карман кузнецу:

— В переменку закусишь...

— Спасибо, Гриша, — сказал Антон на ходу. — Не забудь прийти в цех пораньше, надо помочь Жене Космачеву.

Проводив Антона, Гришоня ощутил тягостное одиночество, пустоту: не знал, куда себя девать.

«Доспать, что ли? — подумал он, но тут же усмехнулся. — Этак, пожалуй, все на свете проспайшь... А хорошо бы вместе с бригадиром бежать сейчас в школу! С осени запишусь, — обязательство-то принимал, подписывал! И Сарафанова утащу. Седьмой класс, восьмой... — начал он подсчитывать. — Четыре года в школе, пять лет в институте... Всего девять. А мне — двадцать первый. К тридцати годам — инженер! Ваше образование, товарищ Курёнков? Выше! Оч-чень интересно! — Он засмеялся, довольный, но тут же, огорченно вздохнув, сознался: — Нет, не вытяну я, пожалуй, на инженера, — девять лет, это тебе не шуточки! А вот техникум — это да, это подойдет: год в школе, четыре в техникуме... И — технолог! Тоже неплохо, сгодится в жизни».

Антон и Марина некоторое время шли молча. Над заводом проплывали облака, просушенные ветром до прозрачной фарфоровой белизны. Нестерпимо сверкала

молодая листва лип, обильно источая свежесть и благоухание. Марина передала Антону портфельчик. Потом она сняла берет и, тряхнув головой, рассыпала иссиня-черные пряди волос, смежив мохнатые ресницы, притушив ими золотистый блеск глаз, подставила лицо солнцу; резко высеченные черты женственно смягчились и потеплели. Антон с улыбкой отметил, что Марина не такая уж гордая и властная, какой кажется на первый взгляд. Дебушка тоже улыбнулась, чуть приоткрыв кончики крупных белых зубов, вздохнула с детской беспомощностью и вдруг пожаловалась:

— Так не хотелось вставать, так тяжело отрывать от подушки голову, будто она чугунная...

— А я привык, — сказал Антон, — втянулся.

— Зубрите?

— Вовсю. Остались история и английский. Остальные хоть нынче могу сдавать, честное слово.

— Вы сдадите, — произнесла она с ревнивой ноткой. — Вы сильный. Я и сижу с вами на парте только потому, что вы сильный и вам не надо помогать и подсказывать. А у меня математика с физикой, точно гири на ногах, — разбежаться не дают.

— А учителя в пример нам кого ставят? Марину Барохту! А вы все плачете, прибедняетесь.

Марина рассмеялась:

— Это они скорее из педагогических соображений меня хвалят, для поддержания моего духа.

К проходной, пересекая им путь, спешили запаздывающие рабочие — время приближалось к восьми. На Антона и Марину с разлету наскочил парень, красный, запыхавшийся, пробормотал извинения, метнулся в сторону, и только тогда Антон узнал в нем Женю Космачева.

— Будильник купи, бригадир! — смеясь, крикнул догонку ему Антон. — Отставать не станешь!

Слова Антона как будто схватили Женю за плечи и резко повернули.

— Догоню! И тебя догоню, вот увидишь! — задорно и с угрозой крикнул он по-петушиному срывающимся голосом; сделав несколько шагов, опять приостановился на секунду и попросил Антона: — Приди пораньше, поговорить надо. Придешь?

— Ладно. Беги скорее.

Марина посуровела лицом, сведенные брови образовали над глазами сплошную черную стрелу; искоса взглянув на Антона, она спросила требовательно:

— Догонит он вас?

— Поможем, так догонит, — ответил Антон не задумываясь. — Без помощи товарищей мы все, как без крыльев, — не разлетишься. Это я на себе проверил.

— И вы будете ему помогать?

— Конечно. Почему вы так спрашиваете?

Свернули на бульвар. Марина зашагала быстрее. Встряхнув черной гривой волос и горделиво вскинув раздвоенный, с ямочкой, подбородок, она бросила горловым голосом, не глядя на Антона:

— А я ни за что не стала бы помогать. И Олег Дарьин не стал бы. Да и с какой стати! Я не спала ночей, выскивала, добивалась, мучила себя, бригаду... Это — мое, выстраданное! И все это — готовенькое, тепленькое — отдай какому-нибудь нерадивому парню, которому лень повешелить мозгами, подумать. За что? Пусть сами достигают. А я им не слуга.

— Кому им? — спросил Антон, оглядывая ее со все возрастающим удивлением.

— Терпеть не могу слабых, жалких, безвольных. Я их презираю! — отчеканила она резко, мстительно. — А сильные вызывают во мне злобу и желание согнуть их, унижить: чем сильнее мужчина, тем он наглее... Я это знаю. Передай им свой опыт, а они тебя же и побьют.

— И должны побить, — сказал Антон сухо.

Марина презрительно прищурилась, выпалила в упор:

— И вы мне нравились больше всего за то, что вы такой неуступчивый, непокорный, до всего доходите сами, своим умом. А вы, оказывается, добренький, мужество-то ваше мягкое, тряпчное... Вы, наверное, при каждой неудаче бежите за помощью к парторгу, к комсоргу или еще к кому... — Она выдержала паузу и заключила: — А быть может, это только игра в великодушие, один из способов выделиться себя из остальных?..

Антон понял, что она не шутит.

— Выделять себя я не собираюсь, запомните это, — Антон внимательно приглядывался к Марине, — не мог понять, что это за человек. Целый год он сидел с ней за

партой, советовался, узнал, что она девушка самолюбивая, гордая, в учебе шла одной из первых, делала это немножко напоказ, чтобы не уронить своего достоинства; ни с кем из девушек не дружила, на парней смотрела свысока, со снисходительной усмешкой, а в общем была неплохой девушкой. И вдруг она повернулась к нему другой стороной, а все ее качества, гордость и обособленность воспринимались по-иному, по-новому.

«Надо будет узнать о ней побольше при случае. Спрошу у комсорга механического, — решил Антон и весь день не мог отделаться от того впечатления, которое она на него произвела. — Странная женщина!..»

2

Как бы продолжая спор с Мариной Барохтой о товарищеской солидарности в труде, в жизни, Антон весь месяц помогал Жене Космачеву выбиться из отстающих. Вместе с Гришоней и Сарафановым он нередко появлялся в его бригаде за час до начала своей смены. Он учил Женю своим приемам, показывал, советовал, а Сарафанов, утвердившись у печи, с видом солидного учителя давал указания нагревальщику, а изредка, демонстрируя свое искусство и умение, сам орудовал кочергой.

Выработка у Космачева с каждым днем возрастала. Антон переживал успехи его, как свои собственные.

Как-то раз на исходе майского дня, когда с улицы сквозь многочисленные квадраты окон врываются в цех и кромсали сизую дымную мглу тугие солнечные струи, Антон, выбегая из душевой, промытый, распаренный, со светлыми крапинками пота на лбу, лицом к лицу столкнулся с Таней Олениной. Он растерялся и поспешно поклонился.

— Здравствуйте.

Таня переложила папку с чертежами в другую руку. Подбородок ее дрогнул от сдержанной улыбки.

— Я не видела вас целую вечность, — воскликнула она с искренней радостью. — Где вы пропадаете?

Чтобы не мешать людям, выходящим из душевой, они отступили в уголок.

— Где же мне пропадать? В цеху, — выдохнул он.

Как бы вспомнив что-то, она предложила:

— Хотите пойти в оперу?

— С вами?

— Да. У меня есть два билета.

— Хочу. А когда?

— Завтра.

— Если бы днем позже... — прошептал он с сожалением, почти плачуще. — Завтра у меня экзамен.

— Я и забыла, что вы ученик... Как вы сдаете? Много ли вам колов понаставили?

— Колов нет, сдаю на пятерки. Даже английский язык, честное слово. Осталась одна история, вот ее-то я и сдаю завтра...

Таня тихонечко прикоснулась к его локтю, чуть заметно кивнула и сказала:

— Ладно, сдавайте вашу историю. А в театр мы пойдем в другой раз. Хотите?

— Хочу, — сказал он с готовностью. — Я ведь в Большом театре еще ни разу не был...

Она повернулась и пошла по коридору, и Антон провожал ее взглядом, пока она не свернула на лестницу. В душе его внезапно родилась мечта: вот с ней, с этим человеком, придет к нему счастье, с ней все его невзгоды и горести исчезнут, как исчезает туман с появлением солнца.

3

Сдав экзамены и перейдя в девятый класс, Антон получил отпуск и уехал на Волгу, к матери; с ним, конечно, увязался и Гришоня Курёнков.

Гришоня никакого парохода, кроме речного трамвая, не видал, дальше Ленинских гор не плавал; и сейчас, совершая путешествие по каналу имени Москвы, по Рыбинскому морю, по Волге, он просто онемел от восторга. Антон не мог согнать его с палубы, — так он и проспал там всю ночь на лавочке, приткнувшись к поручням.

В село они прибыли под вечер. Попутный грузовик доставил их с пристани за полчаса, высадил на выгоне и укатил дальше. Гришоня растерянно озирался, — его беспокоила непривычная тишина, пустынность улиц, безлюдье; стадо уже прогнали, а воздух все еще напоит пылью, коровьим дыханием, парным молоком, запахом росы; возле одной избы на бревне сидела стайка примокших ребятишек, уставших от дневной беготни: на огороде женщина голосисто зазывала отбившуюся корову.

До самого дома Антон не проронил ни слова, только сглатывал подступивший к горлу ком, перехватывал тяжёлый чемодан из одной руки в другую. Мать стояла на крыльце, крупная, неподвижная, вглядывалась в спускающихся с пригорка людей. Антон ускорил шаг, — с мучительной остротой ощутил он, что соскучился по матери, бесконечно доброй, ласковой, родной...

Мать торопливо сошла с крыльца, ладони ее с негромким хлопком соединились на груди.

— Антоша!.. — прошептала она. — Сынок!..

Антон почти кинул на землю чемодан, обнял мать.

— Здравствуй, мама...

— Что ж ты, сыночек, забыл нас совсем? — Она отстранилась от него, поглядела с непередаваемым, глубоким укором, с каким могут смотреть только матери, всхлипнула; платок съехал на затылок, в плотно причёсанных волосах проглядывала седина, возле вздрагивающих губ — страдальческие складочки. Антон напрягся весь, чтобы не заплакать: «Какой же я мерзавец все-таки!.. Все о себе думаю...»

— Отца не стало, так ты уж и распустился совсем...

— Не надо, мама, — промолвил он и поцеловал ее седеющий висок. — Радоваться надо, а ты плачешь...

— Большущий какой, рукой не дотянешься...

Антон усмехнулся.

— В тебя, мама, пошел.

— А это кто же с тобой? Товарищ, что ли? — спросила мать, изучающе глядя на Гришню.

— Товарищ, — ответил Гришню. — Мы с ним в одном цеху работаем, в одной бригаде.

— Гришню Курёнков, — пояснил Антон и тут же поправился, — то есть Григорий.

— Ну, здравствуй, Гришенька, — сказала мать. — С приездом! Не стесняйтесь, заходите в избу. Места хватит...

Прибежали десятилетняя Ариша и брат Вася, лет двенадцати; сестренка вцепилась в Антона и уже не отпускала его, а Вася солидно поздоровался с братом и Гришней за руку и в смущении отступил в сторонку.

— Ух, большие какие стали!.. — воскликнул Антон. — На улице встретил — не узнал б...

Мать распорядилась:

— Вася, помоги отнести вещи. — Она взяла чемодан и плащ Антона и понесла в избу.

Антон все стоял в проулке, с тревогой глядел в сторону огорода, — вдалеке за Волгой пламенело закатное небо. Он прошел в калитку, остановился, потрясенный: вокруг было пусто — ни деревца, ни кустика, только полосы грядок да вдоль изгороди пышно и сильно взметнулась крапива.

— Что это? — с испугом спросил Антон. — Ариша, а где яблони, вишни?

— А вырубил.

— Зачем же?

— А посохли они.

Антон с грустью оглядывал пустырь с пугалом посредине и чуть не плакал от жалости, — все, что было связано с детством, пропало, не вернешь, как не вернешь и самого детства...

— А какой был сад, Гришню, какие яблоки росли!.. Двенадцать яблонь, две китайки!.. Вишни, барбарис какой-то... — Антон прошел между грядками моркови и бобов. — А вот тут стоял шалаш. Мы с отцом ночевали в нем, караулили, чтобы ребятишки яблоки не воровали. Теперь этого ничего нет. Новый сад надо растить... А кто будет этим заниматься? Хозяина нет...

Послышался голос матери, она звала ужинать. Антон повернулся и медленно побрел с огорода. Изба ему показалась другой, тесной, он почти касался потолка рукой, — как все изменилось, какое все маленькое!.. Неужели он здесь вырос? И даже ветлы под окном у высохшего пруда как будто стали ниже и гнезд на них стало меньше, остались лишь на самой верхушке.

Вечером, когда гостинцы были розданы, ужин закончен, Антон и Гришню вышли на крылечко посидеть. Вернулся с поля сосед, старик с козлиной седой бородкой и в очках, Прокофий, — этаким деревенский мудрец. Он не раз бывал в Москве — выезжал за кардолентой для шерстобойни — и разговаривал обо всем осведомленно, со знанием дела. Затем, проходя мимо, завернул бригадир полеводческой бригады Николай Лёсов в военной фуражке с жестяной звездой и переломленным надвое козырьком. Сумерки сгущались, теплые, глухие.

— Эх, немота какая!.. — прошептала Гришню, поттичьки вертя головой.

— Да, тихо, — подтвердил Антон. — Ни гармошки, ни песни...

Старик блеснул на Антона очками.

— А кто их петь будет, песни-то? Гармонисты все в город подались. Подрастет парень, да и на сторону, только его и видели. Кто на учебу, кто на работу, кто просто улицы подметает. Вот вы и скажите: может земля жить без молодых любовных рук, без молодого разума? Нам, старикам, за всем не углядеть...

— Ну, дед, это вопрос большой, его сразу не решишь, — сказал Антон.

— А надо решать! — воскликнул Прокофий. — Надо скорей решать!

— Это верно, — подтвердил Николай Лёсов, закуривая папиросу. — Надо скорей. И насчет ребят правильно. В сельхозинститут проводили двенадцать человек. А назад хоть бы один стержень вернулся. На подсобных хозяйствах, видно, оседают, да в канцеляриях... Ни стыда, ни совести — срамота!..

— Это что! — заговорил опять Прокофий, оживившись. — А вот официанты в ресторанах там — чистые быки: здоровенные, мордастые, хоть в плуг запрягай. Зашел я однажды, днем. Стоят с полотенцами через плечо, поджидают гостей. Вот где срамота-то! На меня поглядели, как волки, пищу не подали, а швырнули, — видят сразу, что от меня им не отломится... А еще у меня встреча была, ребята. Вот это да! — Он засмеялся и покачал головой. — Иду я раз по улице, гляжу: человек снег с тротуара счищает. «Что-то, — думаю, — знакомый». Пригляделся поближе. Ба! Да ведь это Прошка Выдрин. Бригадиром у нас был. В позапрошлом годе уехал...

— Это который в магазине работает? — спросил Лёсов.

— В каком магазине? Дворник! «Неужто, — спрашиваю, — улицы подметать лучше, чем землю пахать?» Ничего не сказал Прошка, отвернулся и подался во двор...

Николай Лёсов после некоторого молчания сказал:

— Ничего, придет время — и вся эта «интеллигенция» о земле вспомнит, вернется... Должно прийти!

В отдалении одна за другой прошли две грузовые машины. Сильный рев моторов всколыхнул тишину, свето-

вые струи фар рассекли сумрак, явственно озарив крайнюю избу.

— Ваши? — спросил Николай Лёсов Антона, кивая на грузовики.

— Наши, — сказал Антон; он чувствовал некоторую вину перед этими людьми: вот он, здешний, сельский, а тоже уехал в город, правда, не сам уехал, а послали в ремесленное училище по разверстке, и не служил там официантом или дворником, а работает на крупном заводе, производит машины, которые нужны здесь так же, как хлеб нужен там.

— В каждом грузовике одна деталь нами откована, — добавил Гришоня немного хвастливо.

Старик похвалил:

— Сильные машины, ничего не скажешь. За это — спасибо...

С бугра спускались к дому еще двое: председатель колхоза, высокий, худой парень с тонкой длинной шеей и обросшим подбородком, и комбайнер, молоденький и робкий юноша. Они поздоровались с Антоном и Гришоней.

— На побывку, значит? Отдохнуть — это дело хорошее... А у нас, видишь, уборка началась, — известила председатель, присел на ступеньку и тут же встал, озабоченный, запаренный какой-то. — Горячая пора... Комбайн у нас остановился, вот беда! Вышел в поле да и стоит с самого утра. — Он потрогал щетину на подбородке, неуверенно взглянул на Антона. — Ты не мог бы поглядеть? И немудрящая частица сломалась, а запасной нет во всем районе. Ты бы не выковал?

Из сеней отозвалась мать:

— Погодили бы, чай, с просьбами-то. Дайте отдохнуть парню денек...

— Пусть отдохнет. Нам ведь не к спеху.

В словах председателя Антон уловил горькую иронию; он сказал поспешно:

— Завтра утром придем.

Почти неделю Антон и Гришоня работали в кузнице с утра до вечера — дел было много. Уставали. Гришоня ворчал, недовольный:

— Приехали отдыхать, а как отдыхаем! Оч-чень интересно торчать тут в дыму да копоти. Своей наглотался достаточно за год...

— Не ворчи! Останется у нас и на отдых, — утешал его Антон.

И вот они наступили, дни отдыха! Первое время Антону казалось, что он, как в сновидениях детства, отрывается от земли и с замиранием сердца летит в какую-то необъятную пустоту, в бесконечную синь. Тело ненасытно впитывало в себя благостную тишину, ароматную речную свежесть и солнечный зной. Там, в Москве, Антону думалось, что его надолго свалит мучительная усталость. Но с каждым днем отдыха он с изумлением ощущал, как удесятерялись в нем силы, наполняя душу радостным трепетом, и еще сильнее ощущал, что ему не хватает чего-то большого и важного — Тани Олениной.

Здесь, вдали от завода, на досуге, он все больше и больше думал о ней и понимал, что любит ее. Это чувство не было похоже на то, безрассудное и мучительное, затмевающее перед ним свет, которое он когда-то испытал к Люсе Костроминой; оно захватило его тогда, вознесло, а потом легко бросило наземь; кроме сознания увлечения, ничего не осталось от того чувства. Любовь к Тане была более глубокой, хоть и спокойной внешне; она пробуждала в нем порывы, неведомые ему самому. Антон понимал, что она выше его, духовно богаче, и тянулся к ней с жадностью, со щемящей и сладкой болью. «Но полюбит ли она меня? Примет ли?» Он пугался этих вопросов, гнал их прочь. Задумчивые вздохи реки, запахи горячей земли, трав, далекие гудки пароходов, их тоскующие отзвуки среди мраморных стволов березняка, широта, раздолье вызывали в нем другие думы, другие мечты; отсюда, издали, Таня казалась еще более прекрасной, любимой...

Любовь эта и вводила его от людей, даже от Гришони, в глухие углы, к интимному шопоту берез и сосен, где неиссякаемо хранился густой смоляной настой.

Он переплывал на ту сторону Волги, ложился на теплую и пахучую траву на полянке и, не шевелясь, зачарованно смотрел, как красавицы-сосны, вымахнув под самое поднебесье, покачивают пышными темнозелеными

кистями ветвей, как взбивают кипень облаков, живописно украшая ими синеву неба. На лодке переправлялся к нему и Гришоня, садился поодаль, читал книжку — последнее время он пристрастился к стихам.

— Слушай, Антон! — крикнул Гришоня. — Это вот про тебя написано, как по заказу. — И он нараспев прочитал с комическими ужимками, силясь понизить свой тоненький голосок до баса:

Если быка трудом умбрат —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей
и плачем не вымолишь отдых.

Антон прислушался, уловив в этих словах отзвуки своих чувств и переживаний. Гришоня читал:

Захочет покоя уставший слон (ты, то есть), —
царственный ляжет в опожаренном песке...

Антон взял у него книжку и негромко, с волнением, повторил близкие ему, сильные, наполненные страстью и мукой слова большого и мужественного человека:

Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем...

Антон не мог сидеть на месте, принялся ходить по траве, закинув руки за голову. Как это верно сказано; кроме любви твоей, мне нету солнца!.. А без солнца человек не может жить. Он посмотрел на Гришонию дикими глазами и засмеялся каким-то странным, счастливым смехом.

— Гришоня, я еду в Москву. Сейчас же!

Гришоня вскочил — в трусиках, похожих на юбочку.

— Ты что, очумел?..

— Да! Садись в лодку! — крикнул Антон, разбежался, кинулся в воду и поплыл.

Через несколько часов в проулке возле крыльца остановилась подвода. Сосед Прокофий вынес из избы вещи Антона и уложил их в телегу. Антон с матерью сошли с крыльца, — между ними все было обговорено.

— А может, пожил бы уж эту неделю-то, сынок?.. — сказала мать, печально и просительно взглянула на сына, хотя понимала, что просить уже поздно.

— Нет, мама. Я поеду. Прости меня, пожалуйста! Так надо, честное слово!

Мать вздохнула:

— Что ж, поезжай. Если надо, так уж надо...

Гришоня не хотел прощаться с Антоном, осердился, даже с крыльца не сошел.

— Я ведь знаю, зачем ты едешь. Шальная твоя голова! — крикнул он отчаянным голосом.

— А знаешь, так помалкивай, — предупредил его Антон.

Ариша подергала Гришоню за рукав, спросила шопотом:

— А она красивая?

— Мне не легче оттого, что она красивая, — ответил Гришоня чуть не плача и отвернулся. Он не видел, как подвода выехала из проулка и скрылась за углом.

4

Только в Москве Антон убедился — рвался сюда зря: Володи Безводова не оказалось в городе, он отдыхал где-то под Москвой, а Таня Оленина, ради которой он вернулся раньше срока, вдруг недосыгаемо отделилась от него, и он не видел никаких подступов к ней. Два раза он звонил к Фирсоновым в надежде застать ее у них, но к телефону никто не подходил.

Когда же, наконец, явился Безводов и, посвежевший, приветливо улыбочивый, заглянул к Антону, тот обрадовался ему, не знал, куда посадить, чем угостить. Несвойственное оживление и нежность Антона развеселили Безводова, он усмехнулся, подозрительно прищурился черным лучистым глаз:

— Уж не провинился ли ты передо мной, что так заискиваешь? Где ты оставил Гришоню?

— В деревне.

— А зачем ты приехал? У тебя еще отпуск не кончился.

— Надоело мне там. Сыт по горло я этим отдыхом, честное слово!

Антон покраснел, в смущении взъерошил пятерней волосы, сознался:

— Попросить тебя хочу...

— Ну?

— Позвони Тане.

— Какой?

— Олениной.

Антон отошел к окну. Безводов приблизился к нему и молча обнял за плечи. Далеко в стороне распласталось по небу зарево заката, на багряном фоне его отчетливо вырисовывались очертания пышных, в листве, деревьев, четкие линии углов и крыш зданий и одиноко возвышающегося медно-красного каркаса высотного строения вдаль. Дневной накал жизни медленно остывал, гул утихал, словно уплывающая куда-то.

— Зачем она тебе? — спросил Володя после минутного молчания.

Антон помедлил, подыскивая ответ:

— Мне надо ее увидеть... Мы уговорились пойти с ней в театр, честное слово...

Володя все понял:

— Вот оно что... Это твое новое увлечение?

— Нет, это больше...

— Жалею, что не заметил и не предотвратил раньше этого бедствия, — вздохнул огорченно Володя и, уловив на себе его горящий, косой и требовательный взгляд, прибавил открыто: — Нет, Антон, тебе не надо ее видеть. Поздно... Ни тебе не надо ее видеть, ни ей — тебя.

— Почему? — со страхом спросил Антон.

— Татьяна выходит замуж за Семиёнова.

Антон не пошевелился, будто окаменел, только рука расстегнула воротничок рубашки и опять опустилась на подоконник да на щеке взбугрился и затрепетал мускул. Антон упорно, не мигая, смотрел, как вечерняя мгла заливалась пламя заката и оно постепенно гасло. Вот он, тот вопрос: «Полюбит ли?..», которого он страшился, встал перед ним вплотную, заслонил собой даль. Вот она, катастрофа мечты!..

Володя отстранился, сел на койку и в задумчивости стал машинально перебирать запыленные шахматные фигурки на тумбочке...

— А звонить ей бесполезно, она в отпуску, — объяснил он; ему было жалко Антона, обидно за его неудачное горячее чувство; взглянув на его ссутулившуюся спину, вдруг отшвырнул фигурки, сказал резковато: — Только ты не распускай себя, слышишь? Завтра поедем на дачу к Алексею Кузьмичу Фирсонову. Он приглашал. Поедем! Я найду за тобой. Ну, проводи меня.

Антон повернулся, безвольно свесив большие руки, искал что-то бессельным взглядом, не нашел и двинулся к выходу. В дверях он строго спросил Володю:

— А если ты врешь? Слушай, Безводов...

Медленно спускаясь по лестнице, Безводов негромко откликнулся:

— Зачем мне врать?

Антон приостановился, крепко держась за перила:

— Не верю я! Зачем же она?.. Нет, не верю я тебе!

Безводов пожал плечами.

На другой день рано утром Володя и Антон, сойдя с электропоезда, неторопливо двигались по тропинке, вьющейся среди высоких сосен и елей, к Фирсоновым на дачу. Безводов шагал впереди, нес сумку с продуктами. Вверху, над вершинами деревьев вольготно распростерлась и полыхала всеобъемлющая небесная голубизна. Сквозь плотную хвою пробивались косые солнечные лучи; лес оглашался неистощимым птичьим ликованием: ветки роняли редкие, крупные и искристые капли, с глухим стуком падали желтые перистые шишки; хранившийся здесь ночной сумрак бесшумно отодвигался под защиту кустарников; от влажной земли обильно струилось испарение. Изредка Володя, переполняясь чувством восторга перед величием и красотой мира, издавал дикий и радостный крик, и звук гулял бором от ствола к стволу, будто сосны откликались ему.

Антон шел, понуро свесив голову, словно искал чего-то на тропинке. Он глядел сквозь медно-красный строй деревьев в косых полотнищах солнечного света и болезненно морщился, ощущая в душе заброшенность, сосущую пустоту, — ехал сюда с неохотой, лишь бы не оставаться дома одному.

Дача Фирсоновых, вернее Дмитрия Степановича Озерского, утопала в пышной зеленой пене листвы — домик окружали липы, сирень, цветники, а подальше стояли

вишни, яблони, — так что виден был только острый конек крыши да сквозь переплетения ветвей голубыми пятнами проглядывали наличники и поблескивали стекла веранды.

Володя отворил калиточку, и сейчас же где-то под ногами захлебнулся пронзительным визгливым лаем крошечный мохнатый шарик — перепуганная насмерть собачонка по имени Кайзер. Она покатила в свое укрытие под верандой, оповещая хозяев об опасности. На дорожке, заботливо и умело окантованной красным кирпичом и посыпанной песочком, стоял мальчик в соломенной пуговкой на макушке, с ружьем в руках — подстерегал пушистого котенка, вскарабкавшегося на ствол молоденькой елочки. Котенок дразнил своего преследователя.

Мальчик вгляделся в лица вошедших, проворно повернулся и побежал к террасе.

— Дядя Володя приехал, дядя Володя! — кричал он. В дверях появилась Таня Оленина. — Гляди, тетя Таня, дядя Володя! — известил мальчик, запыхавшись. — Я первый увидел их, голубчиков...

Таня стояла в дверях, как в раме, одетая в белую кофточку и белую юбку, одна рука на косяке, другой поддерживала волосы, которые, видимо, причесывала.

— Не бойтесь, собака не кусается, проходите, — позвала она и улыбнулась.

Увидев ее, Антон растерялся и чуть попятился назад.

— Ты что же это?... — панически торопливо зашептал он. — Ты нарочно меня сюда привез? Я не пойду! Я вернусь... убегу!..

Сверкнув на него своим черным глазом, Безводов обронил негромко, но настойчиво:

— Я знал, что она здесь, и нарочно привез тебя сюда, чтобы ты уразумел все сразу и отсек все концы, а не играл бы в жмурки. Я не хочу, чтобы повторялась та же история, что с Люсей Костроминой. Понял?.. Идем!

Таня легко сбежала с крылечка им навстречу, на ходу закалывая волосы шпильками. Голова ее с тяжелой и темной массой волос, забранных наверх, напоминала большой диковинный цветок; на освеженном сном и теплотою утра лице чудесно лучились глаза, тихая улыбка трогала губы, а между ними девственно поблескивала белая полоска зубов.

— Как хорошо, что вы приехали, день сегодня будет веселый, — проговорила она мягким, глубоким голосом.

— А папа на озеро ушел купаться, — докладывал маленький Игорек, вертясь у ног и стараясь обратить на себя внимание.

Протянув Антону руку, Таня спросила дружески, просто:

— Вы уже вернулись? — Вгляделась в лицо его, усмехнулась и отметила: — А не поправились, скорее поухдели. И глаза какие-то туманные, беспокойные. Отчего это?

— Он бессонницей страдал, — небрежно бросил Володя.

— Не слушайте его, я хорошо отдыхал, — сказал Антон.

— Хорошо, а приехал раньше срока, — заметил Безводов осуждающе, потом схватил Игорька, подкинул вверх. Антон покраснел. Таня взяла его под руку, и все двинулись по дорожке. И дача, как бы проснувшись, сразу ожила, говор и восклицания вошедших, вспугивая дремотную тишину, гулко отдавались во всех углах.

Из кухни, притаившейся в отдалении, показалась Елизавета Дмитриевна, раздумываясь, в белом переднике, с засученными рукавами.

— А у нас всюду хаос, не прибрано, — сказала она, извиняясь, вытерла руки о передник и поздоровалась с ребятами. — Таня, застели стол, все хоть попримечнее будет. — И, расправляя складки скатерти, упрекнула Таню: — А ты горевала, никто не придет, боялась проскучать... Еще и Семиёнов заявится, как молодой месяц: в городе в такой день не усидишь.

— Скучать не позволим, — серьезно, как о чем-то деловом, сказал Володя; отвернув край скатерти, он поставил на стол сумку и начал старательно и несколько торжественно извлекать из нее свертки и пакеты со съестным, в довершение всего поставил бутылку и победоносно распрямился. — Все!..

— Этого хватит на дорогу до Дальнего Востока, — заметила Таня, разворачивая пакеты и укладывая на тарелки колбасу, сыр, икру...

Вертевшемуся возле стола Игорьку протянули шоколадку. Елизавета Дмитриевна поспешно предупредила Володю:

— Не давай ему! После сладкого он ничего не станет есть.

Но мальчик ловко выхватил шоколадку и проворно скатился с крылечка.

Антон стоял в дверях, привалившись спиной к косяку, задумчиво глядел в сад, где в густой листве проворными челноками сновали птички в нарядном оперенье и без усталости ткали узоры своих песен; изредка он переводил взгляд на Таню; она хлопотала возле стола, двигалась по комнате бесшумно, как будто не касаясь пола; на кофточке, на обнаженных выше локтя руках, на шее и волосах дрожали золотистые пятна солнечного света; и когда она поворачивалась, то лучи эти перемещались, точно ласково гладили ее; она казалась Антону недоступно красивой.

— Что же вы такой мрачный, Антон?

— Да, выясни-ка, Таня, это весьма существенный вопрос, — подхватил Володя.

— А может быть, вы кушать хотите? — засмеялась Таня и успокоила: — Сейчас придет Алексей Кузьмич, сядем завтракать.

Антон принужденно улыбнулся.

— Что вы, да я совсем и не хочу... — Внимательно взглянул на нее и подумал: «И откуда Володька взял, что она выходит замуж, по ней этого совсем не видно...».

Антон спустился на дорожку. Багряно пламенели цветы, вкрапленные в зелень листвы, ветер тихо протекал сквозь ветви, колыхал кроны лип, и все кругом умиротворенно шептало, шелестело. И переживания свои ему показались ничтожными перед этими могущественными первозданными силами жизни.

Прожаживаясь от крыльца до калитки, он незаметно для себя, сначала тихо, затем все громче, увлеченнее принялся подсвистывать птицам, потом, скинув с плеч пиджак и повесив его на сучок, начал гоняться с Игорьком по саду, и, когда он, запыхавшийся, влетел на веранду, Володя, смерив его удивленным взглядом, тихонечко свистнул и многозначительно произнес:

— Можно подумать, что тебе сейчас объяснились в любви, так ты сияешь... — При этом он выразительно взглянул на Таню; та смущенно заторопилась, взяла с подоконника ножницы:

— Пойду срежу цветов для стола...

Пригибаясь и шумно раздвигая ветви, на дорожке показался Дмитрий Степанович в жилетке, застегнутой на одну нижнюю пуговицу, в руках — садовые ножницы и очки; благодушно шурясь на солнце, проговорил:

— Добро пожаловать, молодые люди! Зря время тратите — отправляйтесь купаться, куда холодная и чистая вода.

— Правда, Володя, идем-ка к Алексею Кузьмичу, — подхватил Антон с внезапным желанием скорее уйти отсюда, от взглядов Тани.

Игорек закричал:

— Я знаю, где папа. Я вас провожу!

Елизавета Дмитриевна вынесла им полотенце, и мальчик, довольный ролью проводника, зашагал впереди них к пруду.

5

Алексей Кузьмич в майке-безрукавке сидел на берегу, возле сосны, и наблюдал, как последние клочья тумана, рассеиваясь, открывали пруд с голубым дном — отразилось опрокинутое в воду небо. Еще издали услышал Алексей Кузьмич голос Игорька, встал.

— Вот он где! — возбужденно кричал мальчик, устремляясь к отцу. — Гляди, папа, кто приехал!

Алексей Кузьмич обрадованно заулыбался.

— Молодцы, что приехали, хвалю за догадку! Теперь женщин занимать есть кому... А утро — как по заказу!.. В такое утро искупаться — одно удовольствие. Пруд хоть и неглубокий, но вода, товарищи, — чистый хрусталь и хололом обжигает — ролники со лна бьют. Днем воды такой не сыщешь — ребятишек набивается столько, что пруд выходит из берегов... Давайте-ка поплаваем... Померяемся силой, посмотрим, на что вы, молодые, годитесь. Поплывем на ту сторону, я вас обставлю!..

Антон снисходительно улыбнулся:

— Я ведь на Волге вырос...

— Это не имеет значения, — сказал Алексей Кузьмич задорно. — География тут не играет роли. Сынок, посиди здесь, никуда не отходи!..

Пруд зеркально блестел, птичьи песни подчеркивали безмолвие леса. Лишь в отдалении, на плотине, монотонно шумели падающие струи. Антон, Володя и Алексей Кузьмич, раздевшись, выстроились на обрывчике. Фирсо-

нов командовал: «Раз, два, три!», и раскололась гладь, вспыхнули взметнувшиеся брызги, — поплыли! Антон сразу опередил всех. Плыл он на боку, равномерными и сильными рывками посылал вперед тело, потерявшее весомость, — вода была действительно студеной и приятно холодила кожу. Достиг он берега первым, вылез и лег на траву. За ним — Володя, потом уж Алексей Кузьмич, смеющийся, заыхавшийся.

— Ваша взяла, ребята, — сказал он, ложась рядом. — Проворны, ничего не скажешь, но недогадливы: нет того, чтобы дать возможность человеку преклонного возраста завоевать первенство, пусть бы он порисовался перед домашними. А они только о себе заботятся...

— Такого уговора не было! — протестующе воскликнул Володя.

— Закон соревнования — кто кого, — подтвердил Антон, подставляя спину лучам.

Алексей Кузьмич мягко поправил его:

— Кто кого — это, дружок, конкуренция. Закон соревнования другой: один за всех и все за одного. Но все равно, я вижу, ты всеми силами вцепился в этот закон. Не забывай, что и Дарьин крепко за него держится.

Антон не мог слышать спокойно этого имени. Дарьин сейчас же вставал перед ним, резкий, нервный, будто всегда взнузданный конь, и вызывал в нем возмущение.

— Пусть его держится, — пробормотал он; говорить о Дарьине не хотелось.

На том берегу пруда Игорек махал руками и что-то кричал, — очевидно, звал их вернуться обратно. Солнце припекало сильнее, среди сосен стали появляться дачники в полосатых пижамах и цветных халатах, тревожили тишину. Алексей Кузьмич мельком взглянул на Антона — тот сидел, обхватив колени и сосредоточенно смотрел на ослепительную гладь воды, где отражались сосны, — и сказал как бы вскользь:

— Ты не считаешь, Антон, что учеба твоя подходит к концу? Не пора ли самому учиться?

— Как? — словно очнувшись, с недоумением спросил тот.

— Ты теперь крепко встал на ноги, у тебя есть опыт, небольшой, но свой, можно сказать, выстраданный. Передавай его... И потом: пора включаться в общественную

жизнь цеха, завода. Надо выступать на собраниях, на совещаниях, к твоему голосу будут прислушиваться.

Антон вдруг рассмеялся:

— Плохой из меня оратор: двух слов связать не умею.

— Нашлись бы слова, а связать их — много разных способов, — смеясь, ответил Володя Безводов, вставая, и крикнул Игорьку: — Плыдем, встречай! — и первым бросился в воду.

Весь обратный путь к даче Антон молчал и думал о только что сказанных словах Алексея Кузьмича. Они чем-то неосознанно беспокоили его; из головы не выходила Таня: как вести себя с ней? Сердиться на нее — глупо, не смотреть — невозможно, а взглянешь — все прочитает в глазах, даже больше того, что ей нужно знать...

Открывая калитку, Алексей Кузьмич облегченно вздохнул, оглядывая сад:

— Хорошо-то как у нас тут! Дачка, правда, старая, маленькая, зато зелень, глядите — роскошество! Вот что может сделать человек, если он захочет, если он по-настоящему полюбит землю, природу...

— А вы повинны в этом роскошестве, Алексей Кузьмич? — поинтересовался Володя.

— Главный садовник у нас Дмитрий Степанович, а я только рабочая сила: навоз поднести, чернозем заготовить, яму вырыть. Это все весной или осенью. А сейчас вот попаду сюда и чувствую — десять лет с плеч долой!

Еще издали увидев в беседке под навесом молодых лип богато и торжественно накрытый стол с огромным букетом цветов посредине, приостановился на дорожке, изумленный.

— Это уже не просто воскресенье, а какой-то неожиданный праздник!.. — Снял с шеи полотенце, повесил его на сучок.

Таня стояла поодаль от стола, под липой, и, прижав к груди котенка, щекой касалась его пушистой мордочки. Из-за плеча Алексея Кузьмича Антон украдкой бросал на нее взгляды, выражавшие немой неразрешимый вопрос; он все еще не верил, что вот она, такая милая, простая, ласковая и так необходимая ему, выходит замуж.

«Спрошу ее сегодня. Отведу в сторону и спрошу», — твердо решил он и сразу как-то успокоился, даже повеселел.

С террасы спустился Дмитрий Степанович, по-стариковски изящно одетый в белый полотняный костюм, по-свежевший, с пушистыми усами, провел ладонью по дымчатому ежику волос и немного приподнято объявил, широким жестом показывая на стол:

— Прошу занимать места!

Чинно, по-праздничному расселись по скамьям.

В это время по дорожке с залившимся, предостерегающим лаем побежал в укрытие Кайзер. Все оглянувшись.

Старательно закрывая калитку, в сад вошел Семиёнов в белых брюках и шляпе, пиджак и сверток левой рукой прижимал к груди; оглядываясь, он сделал несколько нерешительных шагов к террасе. Алексей Кузьмич, выходя из беседки, окликнул его. Семиёнов круто повернулся на голос. Подойдя к столу, он снял шляпу, улыбнулся и произнес:

— Прошу простить меня за вторжение в ваше общество: не мог усидеть в городе в такой день и вот, воспользовавшись твоим приглашением, Алексей Кузьмич, и вашим, Елизавета Дмитриевна и Татьяна Ивановна, прибыл. Не прогоните?

— Прошу вас, — пригласил Дмитрий Степанович, вставая.

Усаживая Семиёнова, Алексей Кузьмич сказал запросто:

— Садись, Иван Матвеевич, будем веселиться по мере возможности...

— Очень рад с вами повидаться, — говорил Семиёнов, подавая руку Дмитрию Степановичу. — Как ваше здоровье? Здравствуйте, Мария Савельевна, вы все хмуритесь по-осеннему, все осуждаете суету сует? Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна! Здравствуйте, Татьяна Ивановна! Володя, здравствуй! И товарищ Карнилин здесь! Вы друг без друга — ни шагу. Дай ручку, малыш, — обратился он к Игорьку. Обойдя всех, Иван Матвеевич выпрямился. — Позвольте и мне внести свой вещественный вклад в ваше торжество. — Развернув пакет, он поставил на стол бутылку вина, остальное передал старой няне Савельевне, которая унесла все на кухню и вернулась оттуда с прибором.

Алексей Кузьмич налил женщинам вина, мужчинам водки, остуженной в кадушке с холодной водой.

Принимая от Алексея Кузьмича стопку водки, Семиёнов, взглянув на Таню, спросил негромко:

— Может быть, мне вина лучше, а? — И, не получив ответа, привычным жестом взбил на затылке пышные свои волосы и сказал, наклоняясь к учителю: — Места красивее вашего я не встречал. Можно сказать, Швейцария! Взлелеянный вами сад разросся и восхваляет труд рук ваших! — Выпил, поморщился и похвалил то ли сад, то ли водку: — Великолепно, изумительно! Я иногда думаю: чего же мы боимся расстаться с горячими каменными стенами, с духотой, с бензинным перегаром! Сошел я сейчас с электрички — и точно в другом мире очутился. И голова работает по-другому, и мысли приходят свежие. — Он взглянул на Антона и сказал великодушно: — Обдумывал я ваше новое предложение, Карнилин, и сначала не увидел в нем никакого смысла. Но потом, поразмыслив поглубже, все-таки нашел там полезное зерно. — Он повернулся к Тане и прибавил: — Попросим вот Татьяну Ивановну, она вырастит из него и колос...

Антон как будто и не расслышал Ивана Матвеевича, не понял, о чем тот говорил. Он все время ревниво наблюдал за Таней: при встрече с Семиёновым она так же задумчиво и чуть печально ему улыбнулась, глаза не изменили выражения доброты и ласки, только вздохнула, будто сбросила с себя тяготившую ее тревогу и беспокойство, да, переменив положение, подперла рукой подбородок. С невольной неприязнью глядя на Семиёнова, который, не переставая жевать, смешно рассказывал о том, как долго он кружил по переулкам в поисках дачи, Антон думал, что у Семиёнова действительно лицо сатира, как однажды сказал о нем Володя Безводов. Терзала надоедливая мысль, что лицу этому чего-то недостает, как не заполнившей форму детали, и догадался — усиков, маленьких усиков под ястребиным носом; мысленно дополнив портрет этими усиками, Антон внезапно и отрывисто засмеялся.

Елизавета Дмитриевна удивленно повернулась к нему и почему-то обрадованно сказала:

— Карнилин уже опьянел!

Алексей Кузьмич возразил ей:

— Еще не было такого случая, чтобы кузнец пьянел с одной рюмки. А вот мы сейчас по одной нальем, да еще

раз повторим, тогда, может быть, и появится искорка в глазу...

Солнце поднялось уже высоко и палило жарко, но кроны лип были переплетены так плотно, что лучи, как бы просеянные сквозь них, ложились бледными пятнами.

Перекатывая свое грузное тело, Савельевна совершала рейсы от кухни до беседки, беззлобно, монотонно выговаривала:

— И что это, батенька, за моду взяли — в жару водкой заливаться. И за стол сели не по-людски — завтрак прошел, обед не пришел.

— Не ворчи, Савельевна, выпьем только по одной, остальное к обеду останется, — урезонивал ее Дмитрий Степанович. — А чтобы и впредь не подвергаться твоим нападкам, обедать будем в лесу. Вот тебе!

Мысль эта как бы подогрела настроение, зарядила весельем, оживлением, и все выпили с удовольствием.

— Дедушка, и я пойду с вами в лес, — сказал Игорек, взбираясь к нему на колени. — Я возьму пистолет и винтовку!

Дмитрий Степанович вытер усы бумажной салфеткой, молодо встряхнулся, сверкнул непотухающим взглядом из-под седых бровей и произнес несколько возвышенно:

— Человек должен периодически сливаться с природой, чтобы очиститься от всякого обременяющего душу хлама — от усталости, от мелких обид и уколов самолюбия, от тщеславия и прочих ненужных человеку качеств. Взамен этого он напитает душу красотой мира, любовью к ближнему по труду, дерзкой мечтой о подвиге во имя торжества жизни!

Таня любила Дмитрия Степановича и сейчас, выслушав его, захлопала в ладоши; Елизавета Дмитриевна снисходительно и любовно улыбалась, глядя на отца; Савельевна, стоя поодаль, проговорила, будто извиняясь за него перед другими:

— Вот как напьется и начнет городить, стыдобушка слушать..

Алексей Кузьмич поддержал учителя:

— Верно, отец! Земля, небо, вода, леса и звезды — все должно быть активно включено в нашу жизнь, помогать человеку жить, творить, любить...

Володя Безводов, скептически усмехаясь, опроверг:

— Один мой приятель недавно попробовал слиться с природой, но она слишком щедро его наплатила, и он бежал от нее без оглядки...

Антон покраснел и, опасаясь, что Володя наговорит лишнего, устремил на него грозный и в то же время испуганный и умоляющий взгляд. Володя замолчал, наклонился над тарелкой и, скрывая усмешку, начал усиленно действовать ножом и вилкой. Но все поняли, что речь шла об Антоне. Поймав на себе сочувствующий взгляд Тани, он еще более смутился. На помощь ему пришел Дмитрий Степанович:

— Надо проверить, Володя, с каким чувством бежал тот человек; может быть, нет светлее этого чувства...

Иван Матвеевич, разрезая огурец и посыпая его солью, возразил шутливо:

— Какое там чувство, Дмитрий Степанович! С Черноморского побережья он не сбежал бы. А из деревни поневоле сбежишь: грязь, по ночам темень.. Того, кто отведал городской жизни, в деревню не затащишь. Я обязан деревне лишь тем, что она дала мне дикую фамилию — Се-ми-ёнов! В сущности, это ведь просто Семенов, только вывернутый. Ужасно нелепые фамилии есть в деревне, очевидно от прозвищ...

Таня взглянула на Антона; он заволновался, отодвинул от себя тарелку, спрятал руки под стол, сжал их коленями.

— Грязь, темень... — повторил он и усмехнулся невесело. — Вот так рассуждающие люди иногда представляют мне теми свиньями, которые подрывают у дуба корни, не видя, что на нем растут желуди... — Он произнес это мягко, раздумчиво, даже печально; Иван Матвеевич не знал, как отнестись к этим словам, оскорбиться — глупо, придется, видно, только отшутиться... Он сделал над собой усилие и усмехнулся.

— Bravo, Карнилин! Вы делаете успехи, школа рабочей молодежи пошла вам на пользу: познакомила с творчеством великого русского баснописца...

Алексей Кузьмич, как бы вспомнив что-то, воскликнул:

— Да, Антон! Что же ты не расскажешь, как там живут у вас?

Антон хмуро свел брови, ответил неохотно:

— Живут себе и живут. По-моему, неважно живут... Мы с Гришоней неделю в кузнице работали — людей там маловато, мужчин... — Ему хотелось ответить Дмитрию Степановичу. — Вот вы говорите о природе... На Волгу поезжайте, вот где природа-то! Эх, какая это река!.. Особенно по утрам; туман по ней стелется, розовый от солнца; и вечером, при луне, тоже хорошо. Выйдешь на берег, посмотришь вдоль реки, и повеет вдруг на тебя такая сила! И хочется совершить что-то необыкновенное; взял бы вот этак гору да и переставил бы с одного места на другое, честное слово! — он откашлялся и прибавил смущенно: — Только я думаю: мало любоваться красотой, надо ее и создавать. — Он с тревогой поглядел на Володю, он даже сам удивился, что произнес такую речь.

— Правильно, молодой человек! — воскликнул Дмитрий Степанович.

Таня протянула руку к букету, сорвала с цветка красный бархатный лепесток, положила его на ладонь, погладила и тихо, задумчиво произнесла:

— А мне всегда бывает грустно в лесу. — Она зажала лепесток между губами и замолчала.

Глядя на нее, Антон шептал про себя: «Милая, милая, мне тоже грустно, только не в лесу — без тебя...».

— А что до меня, так в лесу поспать любо-дорого, — встала свое слово Савельевна, присев на краешек скамейки, и сейчас же всполошилась: — Говорили, что по одной рюмочке, а, глядите, под шумок-то по третьей потекло!..

Все засмеялись, зашумели, задвигались, заговорили вразнобой. И ветер, как бы испуганный смехом и говором людей, зашевелил листья. По столу задвигалась сетка теней; потревоженные теплым дуновением, потекли возбуждающие запахи обильно цветущей земли, внятный и терпкий аромат источали цветы на столе. Мир все полнее наливался светом и зноем, небо поднялось еще выше и сделалось прозрачнее.

Алексей Кузьмич, вставая, оповестил:

— Решили идти в лес, не будем терять времени!

Выйдя из беседки, все лениво разбрелись по траве, скрываясь от жары в тени деревьев. Захмелевший Дмитрий Степанович, сладко зевнув, с завистью взглянул на окна дачи и сказал серьезным и озабоченным баском:

— Вы, товарищи, идите, гуляйте, я вас догоню... —
И сторонкой, огибая кусты и лукаво ухмыляясь, направился в свою комнату.

Володя Безводов окликнул его:

— А сливаться с природой, Дмитрий Степанович?

Учитель приставил палец к усам, прося не подымать шума, и, высокий, сутуловатый, пошел спать.

Савельевна осталась прибираться по хозяйству, остальные, выйдя за калитку, побрели по заросшему травой переулку мимо опятных изгородей к сосновому бору.

6

Антон все время искал повода остаться наедине с Таней. Но она до самого леса вела за руку Игорька, ни на шаг не отставая от Елизаветы Дмитриевны. Когда же вступили в лес, Алексей Кузьмич с Семиёновым ушли вперед, о чем-то споря; Елизавету Дмитриевну и Володю Игорек увлек к пруду, и Антон очутился, наконец, с глазу на глаз с Таней.

Лес гулко звенел от перекличек множества москвичей, понаехавших сюда провести воскресный день.

Некоторое время Антон и Таня двигались молча, не глядя друг на друга, как бы разобщенно, удаляясь в сторону, где было тише, глуше. Таня изредка нагибалась, поднимала шишку и кидала ее, намереваясь попасть в ствол, и когда ей это удавалось, то детски-довольная улыбка озаряла ее лицо. Антон все время собирался с духом заговорить о том, что его волновало, и не решался. «Вон у той сосны, вон на той поляне», — намечал он и проходил дальше; а она, чувствуя, что он намерен сообщить ей что-то важное и значительное, молчала и ждала.

— Куда мы идем? — приостановившись, спросила Таня.

— Куда-нибудь, — ответил Антон, не задерживаясь.

Они вышли на просеку. Огромные стальные опоры, соединенные тяжелыми провисающими проводами, тянулись по узкому прорубленному коридору; знойный воздух был насыщен их унылым металлическим гудением.

Миновав просеку, углубившись в лес, где не слышно было никаких звуков, Антон и Таня остановились, недоумевая, как быстро, незаметно и далеко они ушли. Дольше молчать было невозможно; взглянув в лицо Тани, Антон, наконец, решился и спросил:

146

— Вы собираетесь выходить замуж?

Рука ее, занесенная для броска шишки, застыла в неловком положении, затем медленно опустилась, в темных глазах родились колкие золотистые иголки.

— Откуда вы знаете? — спросила она, подождала ответа и, увидев побледневшее лицо Антона, опять спросила, чуть понизив голос: — А вам так важно об этом знать?

— Вы даже не представляете, как мне это важно знать... — вздохнул он тяжело и обреченно.

Таня нахмурила брови, помолчала, как бы подыскивая ответ, отряхнула с юбки приставшие сосновые иголки и сказала:

— Я знала, что вы спросите об этом. — Вздохнула и ответила откровенно: — Ну, что ж, я вам скажу: собираюсь.

Антону почудилось, будто сосна, возле которой он стоял, покачнулась и начала валиться на него; он уперся в нее плечом, покраснел от мучительного напряжения, стиснув зубы и морщась. Таня нагнулась, подняла пахнущую смолой шишку, погладила ее и, присев, положила опять на землю.

— Собираюсь, — повторила она с грустной улыбкой, — да вот все никак не могу решиться, откладывая...

Антон рванулся к ней почти исступленный, сжал ей руку и проговорил поспешно и с мольбой, точно боялся, что она откажется от своих слов:

— Не выходите за него, Таня, не выходите...

— Почему? — вырвалось у нее.

— Не выходите, — повторил он настойчиво. — Не нравится он мне... Ну что в нем хорошего, в этом Семиёнове?

Круглые темные глаза ее, наливаясь смехом, сужались, подбородок дрожал, и, не сдержавшись, она засмеялась неожиданно и громко:

— Если мне выходить замуж только за того, кто понравится вам, то я навсегда, пожалуй, останусь вдовушкой или вынуждена буду выйти за вас. А Ивана Матвеевича вы плохо знаете. Он очень порядочный человек, внимательный, добрый...

Усмехнулся и Антон:

— Если бы вы знали, как горько видеть... когда девушки... выходят замуж за других... тогда бы вы не сме-

*

147

ялись. — Он почувствовал, что ему сразу стало легче: самое страшное, чего он больше всего боялся, как бы отдалилось от него. Надолго ли — неизвестно, да это теперь и неважно. Он знал, что недостойна ее: она слишком хороша, умна... Но ведь и он меняется, и тоже к лучшему; за год он изменился неузнаваемо... Потоптавшись в смущенном молчании, он прибавил:

— Я не хочу, конечно, чтобы вы вообще не выходили замуж, а подождали бы немножко... Ну, год хотя бы.

— Почему год? Я ждала больше. Дальше что?

Он не ответил, а она с покорным видом согласилась:

— Хорошо, я подумаю над вашим советом, и может случиться, что и подожду...

— Пожалуйста, Таня, подождите, если это возможно... если это не так срочно. — И, осветив лицо улыбкой, прибавил: — Я вам верю... А как я буду работать этот год!.. — И вдруг огласил лес восторженным мальчишеским криком.

Таня удивленно пожала плечами и усмехнулась. Ее покоряли и удивляли простота и наивность этого человека, его доверчивость, резкий и взволнованный переход от отчаяния к радости.

«Странный парень!..» Она никогда еще не проверяла всерьез своего отношения к нему, — он увлекал ее своей непосредственностью, свежестью, бьющей через край силой. С ним ей было хорошо, светло, даже беспечно. Она не могла забыть той сцены, когда он, ворвавшись к Антипову, увез Люсю, не могла забыть выражения его лица, и она, не признаваясь себе в этом, немножко завидовала той девушке: почему это он не за ней приехал тогда?.. Порой он, большой, беспокойный и решительный, представлялся ей беспомощным, обиженным, и ей хотелось погладить его...

Вот и сейчас ей захотелось провести рукой по его волосам, убрать со лба упавшую прядь. Но вместо этого она, задумавшись, погладила шершавую кору ствола, нечаянно коснулась липкого смоляного потека, отдернула руку, понюхала пахнущую смолой ладонь, сказала:

— Идемте назад.

— Постоим еще немного, — попросил он и медленно огляделся, словно стараясь запечатлеть в памяти это место. В лесу висели мягкие теплые тени, кое-где прошитые тонкими световыми нитями; сверху, в просветах между

вершинами деревьев, виднелось голубое небо; непоседливо сновали птицы, и вниз, тихо струясь, падали желтые иголки; одна такая игла застряла в волосах Тани, и Антону казалось, что она колет ей голову, и хотелось вынуть ее.

Антон и Таня обошли пруд. Среди полуголых тучных, заживевших без физической работы мужчин, загорелых женщин, крикливых и встревоженных мамаш и бабушек с выводками детворы, густо облепившей берега, никого из своих не нашли и направились на речку. Солнце, садясь, косо просвечивало лес, и стволы сосен казались медно-красными, накаленными.

На берегу речушки звенел голос Игорька, играющего с Володей в прятки; увидев подходивших, он помчался к матери с радостным криком:

— Тетя Таня идет! Смотрите, я первый их увидел...

На траве была раскинута скатерть, на ней в беспорядке разбросаны остатки еды, открытые консервные банки, две пустые бутылки. Алексей Кузьмич полулежал, ленивый, чуть захмелевший, великодушный. Семиёнов стоял возле скатерти на коленях, заглядывая в пустую консервную банку. Увидев Таню, Иван Матвеевич шагнул к ней навстречу, высокий, худошавый, осуждающий, улыбнулся и сказал, скрывая обиду:

— Что же вы, Татьяна Ивановна, пригласили в гости, а сами удалились, забыв все и всех на свете.

— Мы искали вас, весь пруд обошли, — проговорила Таня в оправдание и почему-то смутилась, покраснела.

— Долгонько искали, — сказал Семиёнов. — В трех соснах заблудились...

— Знаем мы таких заблудших!.. — насмешливо вставил Алексей Кузьмич. — Сами вот так же заблуждались!..

Таня опустила на траву рядом с Елизаветой Дмитриевной, попросила:

— Выпить ничего не осталось? В горле пересохло...

— Не стоило бы вам давать, — отозвался Алексей Кузьмич, вынув из зубов трубку. — Но проклятая жадность к ближнему вынуждает. — Извлек из сумки припрятанную бутылку, поставил перед ней: — Пейте и цените мою заботу...

Таня признательно улыбнулась ему, налила вина себе и Антону, но пить не стала — вино было теплое и кислое,

Антон тоже отказался, отошел в сторону и прислонился спиной к сосне.

Скрестив на груди руки, Семиёнов прохаживался по берегу, любуясь закатом, и задумчиво напевал что-то, не раскрывая рта. Потом, взглянув на часы, остановился около Тани, промолвил как будто с сожалением:

— А ведь мне пора домой. Володя, вы едете?

— Нет, — ответил за него Антон.

Володя озадаченно глядел то на Антона, то на Таню и по лицам их не мог догадаться, что между ними произошло.

— Вы меня проводите, Танечка? — тихонько спросил Иван Матвеевич и, наклонившись, дотронулся до ее плеча.

— Конечно, вот только закушу.

Через несколько минут Семиёнов простился, и Алексей Кузьмич с Таней пошли его провожать.

— Папа, ты придешь сюда? — крикнул отцу Игорек.

Алексей Кузьмич обернулся и наказал:

— Не уходите никуда, я сейчас вернусь.

Елизавета Дмитриевна спустилась к воде мыть посуду. Оставшись вдвоем, Володя торопливо спросил Антона:

— Говорил?

Тот утвердительно кивнул.

— Ну?

— Я попросил ее не выходить замуж, — проговорил Антон.

Володя удивился:

— Я тебя серьезно спрашиваю.

— Она обещала, что подождет. Вот и все.

Володя непонимающе пожал плечами: «С ума спятил парень!» — и пошел помогать Елизавете Дмитриевне.

Утомленный волнениями этого дня, Антон сел на оплетенную корнями землю, обхватил колени, замер. Все звуки, тревожившие его весь день, отхлынули прочь, безмолвие заколдовало лес. От воды потянуло запахом тины и сырой травы. Солнце, склоняясь ниже, коснулось темной зубчатой линии и, точно проткнутое острыми пиками елей, растеклось вокруг багряными потоками света, и стволы берез за рекой покраснели, словно внутри них зажглись волшебные светильники. В черной воде реки отражались облака, будто медленно плыли розовые льдины.

Эпическое спокойствие леса, тишина, багровые потоки заката, ароматы влажной земли — все это вливалось в душу Антона, подчеркивало силу его чувств и остроту мыслей.

Когда он подумал, вернется Таня сюда или, проводив Семиёнова, останется дома, то улыбнулся: придет она или нет, это неважно, в будущем все равно они будут вместе, без нее — он твердо верил в это — не будет у него удачи, покоя и счастья.

Вскоре вернулся Алексей Кузьмич, собранный, озабоченный; беспокойство и тревога стерли с его лица добродушную, праздничную улыбку. Хлестнув себя по ноге прутиком, сломал его, отбросил и, оглянувшись в сумрак, спросил Антона кратко и отрывисто:

— Где Елизавета Дмитриевна?

— Посуду моет.

— Лиза! — позвал он нетерпеливо.

Из-за берега сначала показался Володя Безводов с Игорьком на плечах, за ними Елизавета Дмитриевна с посудой. Она уложила все в корзинку, прикрыла полотенцем, удовлетворенно распрямилась и сказала:

— Теперь можно домой. Нагулялись. — Взглянув в каменное лицо мужа, спросила в предчувствии чего-то недоброго: — Что-нибудь случилось?

За лесом пылал кроваво-красный закат, деревья зловеще оплетались сумерками, над головами, со свистом рассекая крыльями воздух, пролетела какая-то ночная птица. Алексей Кузьмич обвел всех строгим взглядом, выдержал паузу и сказал:

— В Корее началась война, ребята. Вот дела-то какие...

Володя подался к нему:

— Откуда вы узнали?

— Сейчас по радио сообщили. Лисынмановцы и американцы из Южной Кореи напали на Северную Корею.

Елизавета Дмитриевна изменилась в лице; она обняла вдруг примолкнувшего сына и проговорила взволнованно:

— Мы тут играли, песни пели, пили вино... А в это время где-то дети гибнут, горят дома, льется кровь... — И еще сильнее прижав ребенка к груди, как бы заслоняя его от опасности, громко, тревожно простонала: — Что же это будет, Алеша?.. Боже мой!

— Тише, успокойся, — сказал Алексей Кузьмич. — Борьба будет...

Антон был потрясен этой внезапной вестью. Он сидел у сосны, явственно представляя себе далекие корейские селения, объятые пламенем пожара. Он почти видел скользящие зловещие тени самолетов, точно трауром покрывшие землю, полные ужаса глаза детей, слышал раздирающее душу завывание пикировщиков, плач женщин и мужественные лица защитников свободной Кореи.

Над вершинами деревьев неярко и стыдливо замерцали звезды, и Антон с осязаемой болью вспомнил эти же звезды, только более крупные, горевшие в черном зимнем небе, как голубые фонари. Это было в ночь под Новый год. Он приехал из ремесленного училища домой на праздник. В углу стояла елка, небогато, но любовно украшенная руками матери, на самых верхних веточках висели три конфетки — для дочки и двух сыновей. Мать только что зажгла свечки, когда соседская девочка передала ей письмо. Это было извещение о гибели отца. Бумажка затрепетала в ее пальцах. Она прочитала первые фразы: «...за освобождение Будапешта... с гитлеровскими разбойниками... смертью героя...», и побледневшее лицо ее осунулось, постарело, перекошилось судорогой, расширенные глаза как бы провалились вглубь от невыразимой муки; открытым ртом беззвучно глотала она воздух словно не в силах закричать, потом неверными шагами подвинулась к Антону и, навалившись на его плечо, давась слезами, вдруг заголосила отчаянно, истошно, со щемящей тоской.

— Сироты! — стонала она, медленно вытягивая из себя хватаящие за душу слова. — Нет у вас больше отца... Сложил он свою головушку, закрылись его глазыньки... Убили его! Убили. За что они его убили, изверги?.. Он был добрый человек, мухи не обидел...

Испуганно заплакали братишка и сестренка. Антона тоже душили слезы, туго схватив его за горло. Может быть, именно в этот миг он почувствовал себя повзрослевшим, старшим в семье, хозяином, и держался, крепился, ласково гладил вздрагивающие от рыданий плечи матери, точно унимая ее боль.

— Перестаньте реветь! — крикнул он на ребятишек. Те примолкли, уткнулись в сарафан матери, захлебыва-

ясь слезами. Она судорожно теребила их головы и шептала, словно в беспамятстве:

— Сиротинушки мои... Покинутые...

Посадив уже притихшую мать на лавку, рядом с елкой, Антон не выдержал и, не желая показывать своих слез, выбежал на крыльцо, на обжигающий морозный ветер, уткнулся лбом в столбик, подпиравший навес, и заплакал, не разжимая зубов; потом, вскинув голову, он взглянул на усыпанное звездами безучастное и бесприютное небо и понял, как трудно будет жить без отца в этом огромном мире, и, стиснув кулаки, выдал с лютой недетской злобой:

— Эх, Гитлер!.. Сволочь!..

Война отняла у Антона самого родного человека. Он рос и учился без отца, добрые люди помогли встать на ноги, обучили трудной, но почетной профессии, перед ним открывался широкий и ясный путь в жизнь. И вот над его счастьем, над его любовью, над мечтой, над этим вот объатым тишиной и прохладой миром, над самой жизнью нависла угроза новой войны.

Из темноты леса пахнуло на него холодом, кинжальным блеском сверкнул над лесом лунный свет... Подошла Таня, бесшумно села рядом и обхватила колени руками, ждалась.

— Этот очаг войны необходимо затушить в самом начале, не дав ему распространиться по всей земле, — сказал Алексей Кузьмич. — Это в наших силах...

В ответ на это Антон подался к Фирсонову и глухо, но отчетливо проговорил:

— Как странно все получается: работаешь, учишься, намечаешь планы — кончить десятилетку, институт... Жизнь только начинается. А тут война... Что делать, Алексей Кузьмич? — Он смотрел в лицо парторга и ждал ответа.

Алексей Кузьмич сказал просто и решительно:

— Что делать? Работать. Враги страшатся не только нашего оружия, но еще больше, пожалуй, нашего труда. Запомни это... Как же нам надо трудиться, если в нем, в труде-то, заключается вся наша сила?.. — Помолчав немного, он прибавил: — Пусть это будет и ответом тебе на наш разговор сегодня утром на пруду.

Возвращались домой затемно. Антон шагал молча и угрюмо, ощущая в себе еще неясную, неосознанную, но

настоятельную потребность каких-то решительных действий.

7

Придя в цех, как и обещал, задолго до начала вечерней смены, Антон поднялся в партбюро и, постучав, вошел к секретарю. В комнате находилось несколько партгруппоров. Фирсонов отсчитывал и раздавал каждому белые разграфленные листы. Он сидел за столом так, будто присел на секунду и не мог оторваться, и от этого весь его вид выражал нетерпение, озабоченность, лицо с затвердевшими чертами казалось осунувшимся, беспокойным, потемневшие глаза глядели пристально и строго.

Когда партгруппорги, получив листки, разошлись по участкам, Алексей Кузьмич взглядом пригласил Антона к столу. Парень послушно сел и, зажав руки в коленях, застыл в ожидании. Алексей Кузьмич машинально погладил ладонями настольное стекло, передвинул чернильный прибор, пресспапье, дымящуюся трубку, потом сказал:

— Весь народ поднялся на борьбу за мир. Ты не должен сторониться... Сегодня состоится общезаводской митинг в защиту мира. Выступать будешь?

— Буду, — живо и горячо отозвался Антон и в следующую секунду испугался своей решительности. — Но я никогда не выступал на собраниях...

— Скажешь то, что думаешь... Прошлый раз, на даче, в лесу, ты хорошо говорил, про учебу, про институт, планы... Вот об этом и скажи...

В конце дня, в промежутке между первой и второй сменами, зазвучал протяжный гудок. Из распахнутых дверей цехов выходили рабочие. Бурными потоками люди текли между каменными корпусами, стремясь на центральную площадку завода.

Заслонив свет солнца, над заводом неслись серые облака, сеяли мелкую дождевую пыль, лакируя железные крыши зданий, и от этого лица людей казались неяркими, угрюмыми и гневными, непокрытые волосы, плечи потемнели от влаги. Над головами их разящим пламенем горел кумачовый плакат: «Миру — мир!».

Вместе с Володей Безводовым Антон протолкался сквозь плотно спрессованную толпу к трибуне, остано-

вился, с волнением ожидая начала митинга. Час назад Володя привел его к себе в комсомольское бюро и сказал возбужденно:

— Выступать собрался? Это хорошо! Тебя будут слушать: за твоей спиной — тысячи молодых рабочих! Ты это помни. Слова твои должны быть горячие, как металл, который ты куешь. Давай составим план речи, чтоб все шло гладко, сильно... Самое главное — не волноваться... Понял? — Володя усадил Антона за стол, подвинул к нему бумагу, чернила. — Пиши.

...Заполненная до самых закоулков площадка волновалась. На трибуну — площадку из двух сомкнутых грузовиков — легко взбежал секретарь партийного комитета завода, снял шляпу, положил руку на перекладину и, открывая митинг, заговорил отчетливым и энергичным голосом; Антон, внутренне подготавливая себя к выступлению, волнуясь, улавливал в речах ораторов только отдельные слова и фразы.

— Движение за мир растет и ширится во всех уголках земного шара, — слышалось ему. — Советский Союз — это крепость, которая оградит человечество от бедствий и катастроф! Стокгольмское Воззвание Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников мира выражает подлинные чувства всех народов... Подпись каждого из нас усилит лагерь борцов за мир!..

Голоса, усиленные репродукторами, гремели над толпой, обнимая все своим звучанием, и люди, не замечая дождя, внимали, отвечая одобрительным, все покрывающим гулом.

Потом на трибуне появился начальник механического цеха Осмоловский — небольшой сухощавый и очень подвижный человек в черном халате, — его голос звенел, как туго натянутая струна, предельно накаленный страстью, и опять Антон услышал, точно клятву:

— Мир победит войну!

Осмоловского сменил главный металлург завода. За ним поднялась старший технолог Елизавета Дмитриевна Фирсонова, смахнула с головы платок, по-домашнему просто поправила шпильку в косах:

— Не только подписи — все отдадим! — начала она дрожащим голосом. — Мы, матери, сердце свое вложим, кровью своей подпишемся под этим Воззванием... Остановим убийц наших детей! — Она раскинула в стороны

руки, взывая к людям, затем медленно свела их на груди, будто обнимала и защищала ребенка от неминуемой гибели, и так, с прижатыми к груди руками, при непоколебимой угрожающей тишине народа сошла с трибуны.

Как ни готовил себя Антон, но слова председателя застали его врасплох:

— От комсомольцев и молодежи завода слово имеет кузнец Карнилин!

Антон вздрогнул, замешкался, растерянно озираясь.

— Иди, — легонько тронул его Володя. — Иди же!..

Как бы спохватившись, Антон заторопился, сердце редкими толчками толкнуло его вперед, он не заметил, как перемахнул через лесенку и очутился на площадке грузовика. Среди множества лиц, обращенных к нему, взгляд остановился на знакомом лице Фомы Прохоровича. Кузнец едва заметно одобряюще кивнул ему; затем Антон отыскал Таню Оленину. Она стояла неподалеку от трибуны и, переживая за него, что-то беззвучно и участливо шептала ему.

— Товарищи! — произнес он, и возглас этот репродукторы понесли в дальние ряды стоящих; в наступившей паузе, которая ему казалась бесконечной, он вспомнил о бумажке, лежавшей в кармане, но руки, как будто припаянные к перекладине, никак не хотели отрываться, а заготовленные слова, как нагло, забились в самые узкие щели памяти.

— Товарищи, — повторил он уже тише, голос предательски дрогнул, жуткий холодок коснулся спины; он вынул и развернул листок, наклонился над ним, но с волос скатились крупные дождевые капли, буквы мгновенно растеклись фиолетовыми звездами, и разобрать их было невозможно, да и некогда: вся площадь ждала его. Вспомнив совет Алексея Кузьмича говорить, что подсказывает сердце, Антон окинул взглядом людей и заговорил:

— Мой отец погиб в боях за освобождение Будапешта. Я рос сиротой. Но я до сих пор не знаю, что такое сирота. Я приехал сюда, на завод, к вам, товарищи, чтобы работать и учиться. Вы меня приняли, как сына, помогли встать на ноги, обучили профессии, которую я люблю. Спасибо вам! — Помолчал, подыскивая слова, потер ладонью лоб. — Мы, советская молодежь, — самая счастливая в мире. Мы не знаем вражды к другим наро-

дам. Для друзей мы отдадим все, что имеем хорошего, — бери, учись, пользуйся! Но враги пусть не суются к нам! Посмотрите, сколько нас! Да если мы встанем все плечом к плечу — никакая сила не прорвет и не опрокинет наши ряды! Нам не нужна война! Нам нужен мир, у нас впереди много работы, многое надо доделать, построить... У меня тоже большие планы на будущее, честное слово. Вот почему я с радостью отдаю свой голос за дело мира!

Антон увидел бесчисленное множество замелькавших рук. Он стоял на трибуне и тоже усиленно хлопал в ладоши. Ветер подул сильнее, далеко над заводом в тучах образовалась узкая щель, в нее брызнул синий свет июльского неба; тучи расходились, как льдины на воде, и вскоре мир засиял, объятый волнующей синевою, лица и глаза людей радостно расцвели; от волос, плеч, рукав, смоченных дождем, заструился легкий сиреневый пар.

Антон, как на крыльях, слетел с трибуны и замешался в толпе. Вернувшись в цех, в конторке старшего мастера он увидел Фому Прохоровича, который, покашливая, держал в руках лист бумаги.

— Я не знал, Антоша, что ты так говорить-то умеешь, — поощрительно и с уважением сказал он, не глядя на парня, потом нагнулся над столом, распасался на листе и подал его Антону: — На-ко, подлиши...

Антон принял лист и внимательно прочитал: «Воззвание Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников мира.

Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия как оружия устрашения и массового уничтожения людей.

Мы требуем установления строгого международного контроля за исполнением этого решения.

Мы считаем, что правительство, которое первым применит против какой-либо страны атомное оружие, совершит преступление против человечества и должно рассматриваться как военный преступник.

Мы призываем всех людей доброй воли всего мира подписать это воззвание».

Антон представил, как в эту минуту где-нибудь во Франции, на автомобильном или на каком-нибудь другом заводе, держит в руках это же воззвание молодой кузнец; может быть, подписывает его сейчас молодой

итальянский рабочий, китайский производственник, ставит подпись корейский солдат, воин Вьетнама... Сколько стран, сколько народов, сколько надежных рук, какая могучая сила встала на защиту жизни!

Антон наклонился и отчетливо вывел свою фамилию, передал воззвание Василию Тимофеевичу и направился к молоту.

Через три дня, когда газеты стали приносить известия о кровавых ужасах в Корее, о злодейских налетах американских самолетов на мирные очаги, о диком истреблении ни в чем неповинных людей, волна гнева и возмущения прокатилась по стране, и на заводе начались собрания. В середине дневной смены в кузнице прозвучал сигнал, и рабочие, остановив молоты, прессы, машины, убавив пламя в печах, молча направились в красный уголок. Никто не шутил, никто не смеялся.

Фома Прохорович выступал первым. Антон никогда еще не видел своего учителя таким возмущенным. Пальцы его, застегивающие пуговицы спецовки, не слушались, дрожали, он долго не мог начать говорить, затем взмахнул кулаком, сжатом настолько крепко, что он побелел, крикнул глухо, с ненавистью:

— Подлый бандит Гитлер отнял у меня двоих сыновей — вы их знаете, они работали здесь, вместе с вами... Они были убиты на войне... И вот не успела утихнуть боль в сердцах матерей и отцов, потерявших детей, а за океаном появились на свет другие подлые бандиты-империалисты. Нет им оправданья, нет пощады! Их руки в крови безвинных корейских женщин, стариков и детей...

После Фомы Прохоровича выступал опять Антон.

— С сегодняшнего дня наша комсомольско-молодежная бригада встает на трудовую вахту мира! — заявил он. — Мы обязуемся выполнять сменные задания на сто пятьдесят процентов. Сделаем нашу кузницу первой среди цехов завода!

Цех встал на вахту мира.

Теперь Антон внимательно следил за событиями в мире, в стране; идя на работу, он покупал в киоске возле заводской проходной газету и по дороге в цех успевал прочитывать важные сообщения; часто заходил к Фирсоновым, иногда с Володиёвым, чаще один — по-

беседовать с Алексеем Кузьмичом, встретиться с Таней Олениной.

Однажды утром, развернув «Правду», Антон увидел на первой странице напечатанное крупными буквами постановление Совета Министров о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на Волге. Быстро прочитав его, он сначала не придавал особого значения этому факту. Мало ли строек в стране, вот и еще одна прибавилась. Но постепенно он начал постигать то основное, жизненно важное, что было в этом заложено. С Волги придет сюда энергия, надежный друг человека, изменит облик цеха, облик людей. И тогда ему представилась кузница совершенно другой, неузнаваемой: без этого чада и копоти, без этого изнуряющего грохота — вместо бухающих молотов будут стоять строгими рядами бесшумные электропрессы, электропечи, и люди будут работать в чистых халатах...

Поздно вечером, возвращаясь домой, он не утерпел и заглянул на минуту к Фирсоновым. Он застал у них Ивана Матвеевича Семиёнова, который сидел в глубоком кресле напротив Тани и курил.

Антон всегда недоумевал: почему Фирсоновы, такие хорошие люди, так дружны с Семиёновым, что они увидели в нем такого? Антон готов был заставить всех смотреть на Ивана Матвеевича его, Антона, глазами. Тогда бы все увидели, что ничего особо примечательного в этом Семиёнове нет. Кичится своим положением, манерами, знаниями — только и всего. Конечно, иметь знания и уметь их высказать — много значит... Но все равно, Семиёнов плох уже потому, что к нему внимательна Таня.

А Иван Матвеевич сочувствовал Антону: удивительный человек! Обжегся, получив вместо ответной любви пощечину от Люси, и не унимается, кажется, имеет виды на Таню... Это уж граничит с наглостью. А вроде неглупый парень. И — странно — он все чаще стал появляться в этом доме... Иван Матвеевич любил бывать у Фирсоновых, — после холостяцкого одиночества семейная обстановка казалась приятным разнообразием. Он возражал хозяину, вызывая его на спор. А Алексей Кузьмич любил споры, в которых как бы закалялись его убеждения.

Фирсоновы привыкли к Ивану Матвеевичу, как к своему человеку. Елизавета Дмитриевна по своей мате-

ринской доброте стремилась поженить Таню и Семиёнова: по ее мнению, это была бы достойная пара.

Сейчас они, повидимому, обсуждали постановление: на коленях Тани лежала развернутая газета. Антон прервал их беседу.

Алексей Кузьмич, посасывая трубку, пригласил Антона сесть рядом с собой, но тот нетерпеливо проговорил:

— Читали, конечно... А ведь здорово, Алексей Кузьмич! Я сегодня работал и все время думал об этом. Гришона даже спросил, с какой это радости я улыбаюсь.

Семиёнов плавно протянул руку к пепельнице, мизинцем сбил с сигареты пепел, откинулся на спинку кресла и заметил негромко, насмешливо прищурившись:

— Вы так радуетесь, Карнилин, точно правительство эту будущую электростанцию предназначает лично для вас, вроде ценного подарка.

Лицо Антона изменилось, затвердело, выделились фарфоровые белки глаз; подойдя к шкафу, сквозь стекло взглянул на корешки книг, потом круто повернулся и проговорил раздельно и убежденно:

— Да, и лично для меня, если хотите. — Чуть подступил к Семиёнову. — Не знаю, как для вас, но для меня это жизненно важно. Быть может, будущая гидростанция даст мне лишний десяток лет жизни. — Он выдержал паузу и, отвечая на вопросительные взгляды Тани и Алексея Кузьмича, пояснил: — В Москву будет подаваться более шести миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Часть ее, конечно, попадет и к нам, в наш цех. И я уверен, что настанет время, когда вместо теперешних печей для нагрева металла поставят электрические, и я и мои товарищи не будем глотать дым, пыль и копоть, которых сейчас в избытке. Да и кто знает, возможно придет очередь и молотам — их заменят электропрессами, чистыми и бесшумными, и мне не надо будет охранять барабанные перепонки, затыкая уши ватой... Вот почему я радуюсь...

Семиёнов опять извинительно пожал плечами и улыбнулся, сказав:

— Я не знаю, почему вы обижаетесь и горячитесь. Радуйтесь сколько вам угодно, я же вам не запрещаю...

— Благодарю за разрешение, — буркнул Антон и сел рядом с Алексеем Кузьмичом.

Некоторое время длилось молчание, затем хозяин, довольный исходом спора, поощрительно сказал Антону:

— Ты правильно понял этот документ. Такое время придет, должно прийти...

До сих пор молчавшая Таня свернула газету, отложила ее и сказала, остановив на Антоне поощрительный взгляд:

— Я уверена, что на наш завод, к нам в кузницу, поступят заказы для новостройки.

Антон мгновенно подхватил:

— Алексей Кузьмич, заранее предупреждаю вас: не забудьте о моей бригаде.

— О твоей бригаде, пожалуй, не забудешь. Разве ты дашь забыть?

Таня улыбнулась, потом тихонько попросила Семиёнова:

— Иван Матвеевич, откройте, пожалуйста, окно. Душно. Накурили...

Семиёнов встал и толкнул створки рамы. Он постоял, докуривая сигарету, наблюдая за нарядным мерцанием далеких и близких огней; откуда-то доносились невнятные звуки рояля. Ловким хлопком выбив из мундштука окурок за окно, Иван Матвеевич повернулся вполоборота и спросил Таню:

— Татьяна Ивановна, вы не собираетесь домой? Уже поздно, я вас провожу...

— Я заночую сегодня здесь... — ответила Таня.

— В таком случае позвольте мне откланяться, — сказал Семиёнов, пожал всем руки и ушел, кажется недовольный чем-то.

Люся Костромина торопилась домой. Она почти бежала, подталкиваемая в спину сильными рывками ветра. Ветер гнул в дугу жиденькие деревца, привязанные веревками к колышкам, раскачивал уличные фонари, свистел в проводах, и Люсе не терпелось поскорее скрыться от этого пронизывающего ее свиста, от мелькания теней на мостовой, от людей, от самой себя, хотелось очутиться в мягкой, теплой и беззвучной пустоте и забыться.

Изредка она поворачивалась, делала несколько шагов спиной вперед. Крупицы вздымавшейся пыли секли

глаза, автомобильные неожиданные гудки точно хлестали, и девушка, сдерживая крик обиды и горечи, прижимая к груди ученический портфельчик, убыстряла шаги. Завернув за угол, она миновала промежуток от угла до парадного, влетела по лестнице, отворила дверь, бесшумно прошмыгнула в полутемную переднюю и здесь, точно истратив весь запас сил, уронив на пол портфельчик и стащив с головы шляпку, бессильно прислонилась к стене и закрыла лицо ладонью: стыдно было показаться на глаза матери.

Дни этого года пронеслись, обгоняя друг друга. Люся не заметила, как прошла зима с катками, танцами, карнавалами на льду, лыжными прогулками в Сокольниках; словно фейерверк сверкнули и погасли прозрачные весенние вечера, овейные ароматом распускающихся цветов в скверах, чисто омытые разноцветными пенными струями фонтанов на площадях; то дерзкие, то кроткие взгляды влюбленных спутников веселили, как молодое вино, от которого не в силах оторваться; а потом — лето, поездки за город, купанье в Химках, солнце, ласкающее кожу... Все это делало ее безмерно, до беззаботности счастливой, взволнованно-певучей; чуть приподнятые к вискам глаза ее блестели ненасытным любопытством, изорством, трепетным ожиданием чего-то еще более интересного, еще более сверкающего...

И вдруг все оборвалось: однажды за завтраком, когда мысли Люси витали где-то далеко-далеко от дома, мать напомнила ей, что пора приниматься за уроки — скоро начнутся приемные испытания в университет.

Готовиться было тяжело. Люся отвыкла от учебников, тетрадей, формул, от дисциплины, садилась за книги неохотно, читала урывками, рассеянно, втайне надеясь на какой-то счастливый случай, который чудодейственно выручит ее в критический момент, рассчитывала на свое подкупающее обаяние.

Но в университете на первом же экзамене по математике она получила двойку и ей вернули документы. Она растерялась, даже испугалась, и, не посоветовавшись с домашними, узнав, где еще принимают документы, подала их в Химико-технологический институт, не любя химию, даже не узнав толком, кого институт готовит; предметы все сдала, но отметок выше тройки не получила и по конкурсу не прошла.

Не снимая пальто, Люся вошла в комнату, наполненную неярким, просеянным сквозь абажур розовым светом. Мать в халате, с полотенцем на плече перетирала посуду, накрывая стол для ужина. Наклонив голову, она взглянула поверх пенсне на дочь в обвисающем с плеч расстегнутом пальто, со шляпкой в опущенной руке, жалобную, удрученную неудачей, и, часто замигав, испуганно прижав к груди тарелку, бессильно опустила на стул и процентала:

— Не приняли? — Она со страхом покосилась на дверь кабинета мужа.

Люся ничего не ответила, упала на тахту лицом в подушку и заплакала беззвучно, горько, вздрагивая всей спиной. Лицо Надежды Павловны покрылось красными пятнами, пенсне, слетев с переносицы, болталось на шнурке; не зная, что делать, она почему-то стала торопливо передеваться, точно собиралась куда-то и зачем-то идти, — спорить, требовать, возмущаться.

— Защищала тебя, оберегала, — заговорила она прерывисто. — Теперь вижу, что напрасно! — Она сбросила с себя халат, кинула его на спинку стула — шелковый, он скользнул на пол, она не подняла. — Отец был прав. Что мы скажем ему теперь? Ох, господи!.. — с отчаянием воскликнула она, надевая на себя юбку и кофточку. — Еще в прошлом году надо было прогнать тебя учиться, а я пожалела своим глупым сердцем, на курорт послала — гуляй, дочка, набирайся сил. Набралась! Сколько раз я говорила тебе: садись, Люся, учи уроки, готовься!.. Подготовилась! Ах, боже мой, за что такое наказание?!

Слушая обидные, но справедливые причитания Надежды Павловны, Люся всхлипывала все громче и громче — от жалости к себе и матери.

— Перестань скулить, несчастная! — выкрикнула Надежда Павловна, стоя в грозной позе обвинителя, и, испугавшись своего громкого голоса, взглянув на дверь кабинета, шопотом прибавила: — Плачем дела не поправишь. Встань, сними пальто... и иди докладывай отцу...

Леонид Гордеевич вышел сам, в жилетке, с расстегнутым воротом рубахи, недовольный, с тяжелым и вопросительным взглядом мрачных глаз: он не любил, когда ему мешали.

— Что здесь происходит? — спросил он, недоумевающе оглядываясь.

Надежда Павловна поняла, что скрывать случившееся и выгораживать дочь было бы глупо, нетактично, и она, первый раз в жизни встав на сторону Леонида Гордеевича, решительно и твердо произнесла:

— Не выдержала.

— Что не выдержала?

— Экзаменов в университет. Не приняли ее.

— Не приняли?.. — спросил он, расширив глаза.

Надежда Павловна повысила тон, она почти кричала, взволнованно, срывающимся голосом, суетливо придерживая прыгавшие на носу пенсне, взбивая прическу, прикладывая ладони к горячим щекам:

— Я говорила ей: готовься, учись! Не слушала...

Люся глубже вдавливала себя в подушки, точно хотела скрыться в них от гнева отца, от обидных и резких слов матери, и продолжала плакать. Леонид Гордеевич решительно шагнул к дочери, Надежда Павловна предостерегающе встала на его пути, произнесла предупредительно и с мольбой, страдальчески сведя брови:

— Леонид...

Он властно отстранил ее, попросил:

— Подожди! Отойди. — Он опустился на тахту, тихонько дотронулся до плеча Люси: она показалась ему в эту минуту маленькой, горько обиженной, беспомощной, как в детстве, и, глядя на ее вздрагивающие плечики, испытывал приятное чувство жалости к ней, нежности.

— Люська... девочка моя, — услышала она мягкий, проникновенно ласковый голос отца, и шею ее зашекетала его борода — он поцеловал ее в затылок. Она оторвалась от подушек, судорожно обняла его, уткнулась мокрым носом ему в грудь:

— Папа... папочка, милый...

Он гладил ее мягкие светлые волосы, произносил давно позабытые слова нежности, прозвища, слышанные ею еще в детстве, потом снял с нее пальто, передал жене, — та поспешно отнесла его в переднюю, — затем взял ее за подбородок, приподнял заплаканное, распухшее от слез лицо, улыбнулся и подмигнул ей:

— Что, ревушка-коровушка? Может быть, перестанешь плакать-то, а? Или еще поплачешь? Я ведь долго

ждал, когда ты заплачешь. А ты все смеялась, все пела... И вот, наконец, заплакала... Ну, пореви еще...

Люся хмыкнула коротко сквозь слезы и теснее прижала лицо к его груди. Они долго сидели на тахте обнявшись, молчали, а поодаль стояла Надежда Павловна, глядела на них, и нижняя губа ее, подбородок вздрагивали, из-под пенсне выкатывались и падали на пол светлые капли.

— Ты думала, жизнь-то — это сплошной карнавал, хоровод: все нарядно, весело, смешно, дух захватывает! — говорил он тихонько, немного грустно, щекоча ее щеку бородой, поглаживал ее, словно убаюкивая. — Нет, мартышка, карнавал-то хорош после труда, труда большого, значительного... — Он достал из кармана платок, подал ей: — На-ка, высморкайся, вытри глаза... Теперь слезы в сторону и давай обсудим положение, как дальше жить. — Люся послушно вытерла лицо; мать, присев на краешек стула, тоже украдкой вытирала глаза под стеклами пенсне. Леонид Гордеевич захватил в горсть бороду, подержал ее, подумал, затем сказал: — Не приняли в институт — это беда, конечно, но если подумать серьезно, беда поправимая. Что тебе делать сейчас — вот вопрос... — Отметив решительное и непреклонное выражение лица мужа, Надежда Павловна забеспокоилась, привстав со стула, подалась к нему с предупредительным жестом, но Леонид Гордеевич опередил ее, сказал учтиво и сухо: — Прошу тебя, Надя, не вмешиваться в наши отношения с ней. Свое влияние ты показала достаточно, я думаю. Теперь я буду командовать.

— Что ты хочешь от нее? — встревожилась Надежда Павловна.

— Я знаю, что я хочу, — ответил Леонид Гордеевич и спросил Люсю: — Дочка, ты будешь делать так, как я тебе скажу?

Люся молча кивнула.

— Я не слышу, погромче, — попросил он.

— Буду, — прошептала Люся, глубоко и прерывисто вздохнув.

В распахнувшуюся форточку с шумом врвался ветер, бугрил, колыхал занавеску, сухо постукивал запоркой о стекло, и Люся, встав с тахты, подошла и захлопнула форточку.

А через несколько дней в сентябрьское утро Антон Карнилин, стоя у молота, увидел, как по цеху, опасливо озираясь на грохочущие стальные махины, на брызжущий металл, шла Люся Костромина в темном свитере, с аккуратно завязанными платочком волосами. Антон настолько был поражен ее появлением, что позабыл про заготовку, которая уже остыла, потускнела, и Сарафанов вернул ее обратно в печь.

Через несколько минут Гришюня Курёнков, сбегав куда-то и разведав, сообщил кузнецу:

— Наш новый контролер. Оч-чень интересно!

Глава пятая

1

Вечерняя заря занялась чуть ли не с полдня, по-осеннему холодная, жиденькая, точно истратила она все свои краски на леса, щедро пропитав багряно-желтыми соками листья осин, берез, кленов. Все вокруг пламенело, поражая взгляд последней, ослепляюще дерзкой вспышкой жизни перед увяданием. Только сосновый, молодцевато стройный бор в отдалении загадочно темнел, хмурился, погруженный в суровое раздумье. В нем было таинственно и тихо, нечаянный хруст веточки казался гулким и вызывал испуг.

Таня медленно прошла до озера, остановилась на берегу, понаблюдала, как листья, падая, ложатся на воду нарядными узорами, напоминая о быстро промелькнувшем лете. Вспомнила Антона... Она хотела пойти на то место, за просеку, где он просил ее не выходить замуж за Семёнова. Но в глубине леса сгустился сумрак, оттуда тянуло сыростью, запахом прелой хвои, грибами, и Таня побрела к даче, осторожно ступая по шуршащим листьям.

Фирсоновы переезжали в город. Они прибыли на дачу за вещами в субботу. Вместе с ними приехала и Таня. Ей хотелось провести выходной день в лесу. Утром они отправили электричкой Игорька с Савельевой в Москву, а сами остались ждать прибытия грузовика.

Елизавета Дмитриевна выносила из комнаты вещи: постели, посуду, стулья; Алексей Кузьмич возился на по-

лу, укладывая и увязывая все это; Дмитрий Степанович сортировал на скамеечке саженцы каких-то деревьев.

Таня молча села на ступеньку крыльца и взяла с перил «Комсомольскую правду», которую она смотрела уже много раз. На первой странице был напечатан крупный портрет Антона Карнилина; кузнец стоял возле молота в богатырской позе с клещами на плече. Под фотографией статья: «На вахте мира».

Таня отложила газету и, подперев щеки ладонями, не шевелясь, следила, как молодые липы покрывали стол беседки плотной скатертью листьев; она заговорила, как бы размышляя вслух:

— Не люблю я желтые листья: нарядные, а неживые... Красиво они падают, медленно, неохотно, земля от них в рыжих узорах. А под ногами шуршат как-то зловеще, будто по змеям шагаешь. Взглянешь наверх — ветви-то уже наполовину голые, скучные. И так тоскливо делается... А они все падают, падают...

Дмитрий Степанович взглянул на нее, улыбнулся и, продолжая раскладывать саженцы, отозвался негромко, с ласковым упреком:

— Что-то ты часто грустить стала, Таня...

— Я ведь не из веселых, — промолвила Таня, не меняя позы. — Да и веселиться-то не с чего.

— Ну, погрусти, — примирительно согласился учитель и ободряюще покивал ей головой: — От грусти душа мягчает, делается светлее: вся пыль с нее смывается. И мысли осеняют этакие поэтические...

— Какие там поэтические, — горько усмехнулась Таня, — просто сомнений много.

Дмитрий Степанович сел с ней рядом, вкрадчиво заговорил, будто хотел в чем-то переубедить ее:

— Все это у тебя от любви, я знаю. А любовь, Таня, — если, конечно, это хорошая любовь, настоящая, — как солнце: от нее лучи идут... Она дается человеку, как награда, за веру, за щедрость души...

— Ох, правда, Дмитрий Степанович! — отозвалась Таня. — Человек живет для счастья. А счастье без любви не бывает. И чтобы оно было чистым, полным, надо оберегать любовь от мелочей жизни.

— Я всегда утверждал, что грусть склоняет человека к философии, — заметил учитель,

Таня усмехнулась:

— Ну, уж философия!.. — И, понизив голос, поведала Дмитрию Степановичу: — Просто боюсь всю жизнь прожить одинокой.

— Такая-то красивая, милая?! — удивленно воскликнул учитель. — И слушать не хочу!

— А ты поменьше думай об этом, Татьяна, — вмешался в беседу Фирсонов. Приготовив вещи для погрузки, он критически огляделся, отряхнул брюки и, опускаясь на ступеньку, сказал просто и убежденно: — Выходи за него замуж, Татьяна.

Таня вздрогнула, вскинув голову, спросила с испугом:

— За кого?

Алексей Кузьмич кивнул на газету, лежащую рядом с ней:

— За него. Он тебя любит.

Таня смутилась, в замешательстве прошептала чуть слышно:

— Не знаю...

— И ты его любишь, — сказал Алексей Кузьмич.

— Не надо, Алексей, — умоляющим голосом возразила она, заволновалась, поспешно встала и ушла в сад. Захотелось очутиться одной, спросить себя: любит ли она его или... «Да что скрывать? Люблю!.. От людей можно скрыть, от себя не скроешь. Люблю!.. Но что же это такое?.. Радоваться бы надо, а мне делается страшно. Ведь мы с ним ровесники, я даже старше его на полгода... И каким-то он окажется потом?.. Теперь Люся рядом с ним. Она стала еще красивее. И поумнела, наверное...» — Она стояла под липой, положив локти на изгородь. Косые лучи заходящего солнца прощально осветили одетый в золото мир. Из открытого окна соседней дачи слышалась музыка. Звуки плыли в воздухе медлительно, ощутимо-тягучие, как бы зримые; и думалось: лови их и наматывай на пальцы, как тенета в яркий день бабьего лета. Тане хотелось плакать...

С террасы доносились невнятные голоса; Таня знала, что говорили о ней.

— Совсем недавно он был влюблен в Люсю Кострину. И как!.. — сказала Елизавета Дмитриевна, подметая пол террасы.

— Мало ли, в кого мы влюбляемся сгоряча! — ответил Алексей Кузьмич. — Была вспышка и погасла.

— Погасла ли?.. — усомнилась Елизавета Дмитриевна.

Она замела мусор в уголок, прикрыла его веником и, садясь возле мужа, высказала, как давно решенное:

— Никто к ней не будет относиться лучше Ивана Матвеевича. С ним она проживет, как за каменной стеной.

— А что, если эта каменная стена окажется со всех четырех сторон? — возразил Алексей Кузьмич, хитро прищурив один глаз от дыма трубки, потом нежно обнял жену. — Стареем, Лиза. Раньше на таких, как Семиёнов, ты глядеть не могла без гримасы, вспомни-ка. А сейчас за каменную стену потянуло, волнения пугают... Устала ты немножко. моя хорошая.

— А мы в эти годы только расцветали, — торжественно произнес Дмитрий Степанович.

Елизавета Дмитриевна сердито сбросила с плеч руку мужа, даже отодвинулась от него и проговорила недовольно:

— Никуда меня не потянуло! Таня мне как родная сестра. Помучилась она все эти годы, хватит с нее.

— Что ты сердишься? — спросил Алексей Кузьмич. — Я только высказываю свое мнение: один живет — тлеет, другой — горит. Некоторым нравится дым, мне — огонь. И не думай, пожалуйста, что я плохо отношусь к Ивану Матвеевичу. Он честный работник, у него есть какие-то там творческие планы. Но будущее все-таки за Карниным. Он знает, что хочет, знает, куда идет, и идет смело, широко, и Таня должна ему помочь, окрылить, если хочешь...

Елизавета Дмитриевна усмехнулась:

— Да, да: она его окрылит, он еще знаменитостью станет, а потом бросит ее.

— Лиза, как тебе не стыдно! Подумай, что ты говоришь!..

— Он наплюет на то, что ему сейчас до нее расти да расти, а возвысится и станет помыкать ею. Знаем мы таких знаменитостей!.. Вон Дарьин... Ты с ним так же носился. А он как добился успеха, как затрубили о нем во всех газетах, так и жена ему стала немила, покрасивее

нашел, — с Мариной Барохтой из механического завел роман.

— Лиза, я просто не узнаю тебя!

— О Тане я позабочусь сама, — сказала она сухо. —

Я не хочу, чтобы она, выйдя замуж, мучилась.

Таня услышала, как Алексей Кузьмич неожиданно громко и настойчиво проговорил:

— Нет уж, пусть она сама решит, что ей делать! И я прошу тебя: не лезь к ней со своими советами. Она не глупее нас с тобой.

— Я знаю, что делаю, — возразила Елизавета Дмитриевна.

Таня подошла и прижалась к ней, растроганная:

— Спасибо, Лиза, ты, как мать, обо мне заботишься...

Заканчивая беседу, Дмитрий Степанович, подняв папье, произнес значительным тоном:

— А мой тебе совет, Танечка, таков: выслушай всех прилежно и реши по-своему.

— Я так и сделала, — живо отозвалась Таня, и по тому, как молодо и горячо заблестели ее глаза, Алексей Кузьмич понял, какое она приняла решение.

Теперь ни шелест листопада, ни музыка не наводили на нее уныния, наоборот, они словно подчеркивали ощущение ясности и определенности: чувство к Антону как будто укрепляло ее, обновляло.

Алексей Кузьмич вышел за калитку и стал всматриваться в сторону шоссе, не покажется ли машина.

Издали донесся глухой рокот мотора, и вскоре к изгороди подкатил грузовик. Из кабины, к удивлению присутствующих, выпрыгнул Володя Безводов.

— Чтобы водитель не плутал по дачным переулкам, я решил сопроводить его и помочь грузиться, — выпалил он, заранее предупреждая все вопросы.

Когда имущество было погружено в кузов и все было готово к отъезду, вдруг жалко стало расставаться с этим тихим, уютным уголком. Дача все плотнее окутывалась сумерками, в дальнем окошке сквозь ветви затеплился свет. Шум листопада не переставал.

На прощанье женщины посидели в беседке.

— Давно ли мы собирались здесь? Как летит время, Лиза! — проговорила Таня, но в голосе ее не слышалось сожаления, точно ей было приятно, что время так быстро летит.

К женщинам подошли Безводов и Алексей Кузьмич.

— Ты думаешь, Володя, звания передового цеха легко добиться? — спросил Фирсонов, глядя вдаль, где над сосновым бором, наливаясь темнотой, меркло небо. — Это задача тяжелая, особенно у нас, в кузнице.

— Знаю, — согласился Володя и задорно взглянул на женщин, приглашая их присоединиться к его словам. — Трудно. Но к весне мы добьемся этого звания, а то и раньше! Что я, не знаю своих кузнецов?

— Про нас, конструкторов, технологов, тоже не забывай, Володя, — заметила Елизавета Дмитриевна и встала, смахнув рукавом листья со стола.

Таня тоже встала.

— Одного твоего желанья мало, необходимо желание всех, притом желание, подкрепленное делами. Так, ведь, Алексей?

— Верно, Таня, — поддержал Алексей Кузьмич. — Для начала соберите бригадиров молодежных бригад. У нас их двенадцать, целый отряд! Поговорите с ними. Пусть сами они примутся за работу как следует и тянут за собой отстающих.

— Это мы провернем, — живо отозвалась Таня; наблюдая за ней, Алексей Кузьмич отметил, что она как будто преобразилась, в ней появилось что-то решительное, смелое.

— На послезавтра у нас назначено бюро, — сказал Володя. — Вот мы их всех и вызовем.

У калитки шофер гремел ведром, доливая воду в радиатор.

К беседке спешил Дмитрий Степанович, оглашая тишину неукротимым своим басом:

— Чем объяснить ваши поступки: сначала с нетерпением ждали машину, тревожились, что она не придет, а пришла — все вдруг обнаружили пристрастие к уединению. Марш домой!

Дмитрий Степанович решил еще денек повозиться в саду. Проводив своих, он долго стоял у калитки, пока машина не скрылась за поворотом.

Кузнецы не знали контролера более строгого и придирчивого, чем Люся Костромина.

— Быстро насобачилась! — не без восхищения отметил Гришоня, когда она, проработав недели две с опытным контролером и освоив специальность, стала все настойчивее атаковать их бригаду.

Появляясь на работе в одно и то же время, она не спеша проходила по корпусу, тоненькая, стройная, всегда аккуратно одетая, с подобранными под косынку локонами, подвязывала фартук, натягивала кожаные перчатки — она ревниво оберегала руки от ссадин, грязи — и ждала, когда начнется пальба молотов и к ней придут детали. Люся проверяла продукцию двух бригад: Карнилина и Полутенина.

Внешне Люся была спокойна, всем она казалась выдержанной, деловой, озабоченной, — любовь к отцу, гордость и самолюбие не позволяли ей работать как-нибудь. Но никто, кроме разве матери, Надежды Павловны, не знал, что творилось в ее душе.

Работу в кузнице Люся считала как бы наказанием за прошлое свое поведение. Она чувствовала себя глубоко несчастной и страдала от этого. Ее угнетал цех, полный грохота, огня, шума, движения, стесняли неудобные, громоздкие машины, среди которых она просто терялась, страшили грубоватые, бесцеремонные, чумазные люди: все эти кузнецы, нагревальщики, прессовщики. Дисциплина труда оказалась для нее непомерно тяжелой, обременительной.

По окончании рабочего дня, едва ополоснувшись в душевой, она с лихорадочным нетерпением стремилась домой, скрываясь от грохота молотов, от копоти, от мрачного света сквозь задымленные окна. С отцом она держалась отчужденно, считая его виновником того, что с ней произошло. С матерью теперь разговаривала мало и почти совсем перестала смеяться. По вечерам по старой привычке Люся снимала с вешалки свои наряды, гладила их, собираясь пойти куда-нибудь повеселиться. Но приготовив платье или юбку с кофточкой, она вдруг чувствовала усталость, — гул кузницы не покидал ее и дома, настойчиво звучал в ушах, — всякое желание идти куда-нибудь исчезало; на звонки Антипова она отвечала отказом и рано ложилась спать. И Антипов в эти минуты неосознанно раздражал ее чем-то; всегда казался неестественным, точно играл какую-то роль, как артист на сцене; и от этого выглядел белой вороной среди кузне-

цов. «Надо поговорить с ним об этом...» — уже засыпая, думала Люся.

Надежда Павловна видела, как отражается работа на ее любимой дочери, и горестно вздыхала украдкой. По утрам, прежде чем разбудить Люсю, она подолгу и с состраданием вглядывалась в ее лицо, потом тихонечко касалась плеча дочери и просила шопотом:

— Вставай, девочка... Пора на завод.

Люся с усилием заставляла себя подыматься, молча одевалась, молча завтракала и уходила.

Однажды Надежда Павловна заметила, как у Люси скатилась со щеки слеза, упала на горячий утюг, зашипела. Надежда Павловна приблизилась к дочери, полная неизъяснимой материнской жалости к ней, прошептала:

— Доченька... Милая ты моя... Голубка... Измучилась... — И у самой задрожали губы.

Люся не выдержала. Она поставила утюг на консервную банку, взглянула на свои руки: несмотря на перчатки, они были шершавые, в ссадинах, с неотмываемой копотью в извилинах ладоней и под ногтями, когда-то блестящими от лака; закрыла этими руками лицо и задрожала, задыхаясь от рыданий.

— Мамочка! Не могу я больше, — заговорила она прерывисто. — Не могу!.. Не девичье это дело — ворочать поковки. Не для женщин этот цех, эта работа...

Надежда Павловна поглаживала ее вздрагивающие плечики, утешала, придерживая свое пенсне:

— Ну, не надо. Успокойся... Потерпи еще немного. Вот я поговорю с отцом...

Однажды в воскресенье Люся была в театре и легла спать поздно. Утром девушка не в силах была раскрыть глаза. Она что-то пробурчала матери сонным и недовольным голосом и отвернулась к стене.

На помощь Надежде Павловне пришел Леонид Гордеевич.

— Вставай, Люська, а то проспишь! — громко сказал он, вытирая лицо полотенцем, усмехнулся и наклонился над ней — с бороды упало ей на шею несколько холодных капель. — Слышишь?

Люся внезапно вскинулась и прокричала отцу:

— Ну и проспю! Ну и пусть! Не нужна мне твоя кузница!.. — Она была полна решимости не идти больше на завод.

Леонид Гордеевич спокойно ответил:

— Почему — моя? Она также и твоя.

— Я не нуждаюсь в ней! Я ее ненавижу! И больше туда не пойду. — И уткнулась опять в подушку.

— Люся! — воскликнула Надежда Павловна, как бы предупреждая дочь.

— Что ж, оставайся дома, спи, — все так же спокойно сказал Леонид Гордеевич. — Ты будешь спать, а поковки за тебя пусть проверяет другая девушка, ей наверно спать не хочется... Только научи, что мне сказать людям, когда они спросят, почему моя дочь не вышла на работу. Сказать, что она не хочет и не любит работать, не любит вставать рано, умеет лишь веселиться?.. Так, что ли? Не забывай, что ты сама согласилась идти в кузницу... А кузница-то не танцевальный зал, а горячий цех.

Люся молчала. «Останусь дома, — мелькнула в голове мысль, — лягу спать... Нет, не усну, сна уже нет. Встану, уберусь, позавтракаю... А дальше что? Слоняться по комнате, по улице, как раньше? Пржнее, видно, ушло, не вернуть. Мать будет вздыхать, отец перестанет разговаривать...»

Она представила, как удивится бригада Карнилина, когда на контроле вместо нее окажется другая девушка, и Гришюня Курёнков, конечно, не упустит случая посмеяться над Люсей:

«Ненадолго хватило огня у начальниковой дочки — угасла. Запах не по вкусу — не та атмосфера... — И Анто-на заденет наверняка: — Ненадежным оказался предмет твоих вздыханий!..»

А Антон бросит с презрением:

«Что с нее взять!..»

И именно эти слова, которые Антон не говорил и, возможно, никогда не скажет, испугали Люсю больше всего. Неужели нет у нее за душой ничего такого, что понадобилось бы людям?.. Интересный парень, этот Антон. Совсем недавно он казался другим... Приятно и немножко страшно смотреть на него, когда он сердится: голова наклоняется, широко открываются белки глаз, губы сжимаются...

Люся села на кровати и протерла глаза.

Отец говорил:

— Уметь переломить и заставить себя приняться за дело именно в тот момент, когда больше всего ничего не

хочется делать, — в этом и сказывается воля человека, Люся... Пойди-ка, умойся, сразу веселее будет.

Люся вздохнула, поднялась с кровати, — стало как-то легче.

Как больной человек, минуя опасные моменты кризиса, идет на выздоровление, так и Люся, перенеся свой «кризис», медленно, день за днем, привязывалась к кузнице. Ее не страшили теперь полыхающие огнем молоты, как раньше, а люди казались простыми, бесхитростными, даже привлекательными. Она уже знала все молодежные бригады, кто как работает, кто из парней за кем ухаживает. Собираясь вместе, они смеялись, подшучивая друг над другом, соревновались, на комсомольских собраниях обсуждали свои дела.

А Володя Безводов, однажды идя с ней до метро, сказал улыбаясь:

— Подавай заявление в комсомол, пока не поздно! Чего сторишься?

— Да я не знаю... — замялась Люся и покраснела, а сердце забилося вдруг часто-часто. И подумала, разойдясь с Володей: «И чего я стесняюсь, чего боюсь? Раз уж пришла в цех, так надо быть полноправным... Как все».

Леонид Гордеевич Костромин знал, что на участке о работе дочери отзываются хорошо. За последние месяцы Люся заметно повзрослела, в задорных глазах ее появилось серьезное, осмысленное выражение, и дома отец с дочерью все чаще разговаривали о кузнице. Леонид Гордеевич замечал, что интересы цеха становятся и ее интересами.

Антон невольно побаивался Люси и удивлялся ей: кто бы мог подумать, что из нарядного мотылька выйдет такой взыскательный, настойчивый контролер! Не проходило дня, чтобы она не выискала какого-нибудь, пусть самого мельчайшего, изъяна в его поковках.

Подойдя к молоту, она скупно и, как ему казалось, высокомерно кивала головой; ресницы, заслоняя от пламени глаза, почти смыкались, взгляд делался острее, позрительнее, сквозь металлический грохот пробивался ее звонкий голос: то она усматривала перекося штамп и требовала устранить его, то находила большую окалину на поковках.

Частые замечания и придирки ее, хоть они были и справедливы, раздражали Антона, в нем все кипело, но он сдерживался, был с ней сух, официален.

Может быть, он по-иному вел бы себя, если бы между ними не стоял тот дождливый вечер, та машина, где он объяснялся ей в любви. Если бы она все это забыла!.. Но она, видимо, хорошо помнила каждое его слово, каждый жест и, встречаясь с ним, смотрела на него с любопытством, со скрытой улыбкой, изучающе, как бы говоря: «Как ты ни хмурься, как ни сердись, что ни говори, а ты принадлежишь мне. Любишь ведь? А от любви не убежишь...»

— Следите за своим подручным, — поучающе-назидательным тоном однажды заявила она Антону, небрежно указывая на Гришонию Курёнкова перчаткой. — Он не для украшения молота поставлен. Пусть продувает окатину как следует, чтобы на поковках не оставалось вмятин, а не глазет по сторонам.

— Слыхал? — со скрытой иронией спросил Антон Гришонию, когда она, круто повернувшись на каблучках, ушла. — Учти...

И Гришоня заторопился, заголосил:

— Два с половиной года работаю — ни одного порицания не имел, а тут заявила эта цаца и узрела: то не так, это не этак... Усердствует. Ее надо унять! И чем раньше, тем лучше, а то она житья нам не даст... — И не мог удержаться: хоть и тихонько, но все же уколол бригадира: — А ты еще изнывал по ней... Отплатила!

Сарафанов легонько толкнул Антона плечом и предложил:

— Если у тебя духу не хватает схлестнуться с ней, пошли ее ко мне — я ей в любви не объяснялся. — И зычно захохотал, довольный.

Но, к изумлению Гришони и Сарафанова, бригадир встал на сторону Люси.

— Нечего попусту зубы скалить! — строго прикрикнул он. — Она права. Работать надо лучше, тогда и замечаний не будет. Нечего стоять...

Илья нехотя взялся за кочергу, обиженно отодвинулся к печи, а Гришоня глубокомысленно отметил, косясь на Антона и осуждающе качая головой:

— Я думал, ты излечился от своей болезни. Но — нет! Засела она в тебя до самых печенок...

В тот же день после обеда Люся стремительно налетела на Антона и в категорической форме потребовала: — Остановите молот! У вас штамп дал трещину.

Антон недовольно посмотрел на нее сквозь очки.

— Вижу, — сказал он.

Полчаса назад он заметил, что на поковке появилась извилистая выпуклая жилочка. Это случилось у него и раньше, поэтому Антон хоть и отметил этот факт, но решил дотянуть до конца смены.

— Вы гоните брак! — кричала Люся. — Или меняйте штамп, или устраните трещину.

— Трещина незначительная и на качество поковки не влияет, — спокойно ответил Антон. — Штамп менять не стану.

К Люсе подступил Сарафанов с угрюмым, каменным лицом. От его гневного баса она вздрогнула:

— Что ты к нам прицепилась, девка? Иди своей дорогой.

Но бас Ильи не поколебал решимости Люси, она лишь небрежно отмахнулась:

— Я разговариваю с бригадиром.

Из-за гула молота Сарафанов не расслышал этих слов, но понял их: он поморщился, как от зубной боли, хотел выпалить хлесткое словцо, но, встретившись с предупредительно-грозным взглядом Антона, только фыркнул, замотал головой и отошел на свое место, к печи.

— Мы ведь не враги себе, чтобы гнать брак, — льстиво, примирительно обратился Гришоня к Люсе, точно и не он только что призывал унять ее. — Сами видим, что делаем... — И прибавил вполголоса: — Подумаешь, контроль на цыпочках!..

— Мы будем работать так, как работали, — твердо заявил Антон, надевая рукавицы.

— Вы не смеете! — возмущалась Люся. — Как вам не стыдно?! Лучшим бригадиром считаетесь... Я пойду жаловаться на вас.

— А ты защищал ее, — звернул Гришоня, с опаской отступая от Антона, боясь, как бы чего не вышло.

Девушка повернулась, чтобы немедленно бежать с жалобой, и лицом к лицу столкнулась с Володей Беззодовым. Встав на цыпочки, она торопливо заговорила в ухо ему о безобразиях в бригаде Карнилина, все время показывая то на Антона, то на поковки.

Володя взглянул на груду остывающих поковок и посоветовал кузнецу:

— Проверь, Антон, может, и в самом деле брак штампуешь.

— Я ручаюсь за свои поковки, — сказал Антон. — Ей впервые приходится сталкиваться с таким случаем, вот она и встревожилась. А у нас это бывает.

Он шагнул было к молоту, но Безводов удержал его за рукав:

— Сегодня я созываю бюро, будь обязательно. — Потом Володя повернулся к Люсе: — И ты приходи. Будем разбирать твое заявление...

Люся точно задохнулась от этих слов. Обеспокоенно взглянув Володе в глаза, она медленно пошла вдоль корпуса.

После смены в небольшую комнатку Володи Безводова начали сходиться члены бюро, бригадиры молодежных бригад — розовые, распаренные после горячего душа.

Остерегаясь, как бы не удариться головой о косяк, вступил сменный мастер Сидор Лоза; за ним с достоинством вошел технолог Антипов; опустившись на стул, он обхватил колено руками и застыл в невозмутимо скучающей позе. Явилась Таня Оленина; здороваясь, одарила ребят ласковой улыбкой и устроилась рядом с Безводовым, зябко повела плечами под шерстяным платком. Шумно ввалились бригадиры: Женя Космачев, Олег Дарьин, Федор Рыжухин, Антон Карнилин.

Затем робко проскользнула Люся Костромина и скромно приткнулась возле Тани. Зашел и Фома Прохорович, молча сел на свое место в углу и закурил.

Антон наскоро выбрал пластинку и завел патефон. Комната огласилась праздничными звуками марша. Сквозь осенние тучи прорвался луч заходящего солнца, копьем вонзился в окно.

Володя Безводов позвонил начальнику цеха, известил его, что все в сборе, потом встал, откинул со лба чуб и сказал Антону:

— Карнилин, кончай музыку.

Антон оторвал от пластинки иглу, осторожно прикрыл патефон, приготовился слушать.

— Вот что я вам скажу, товарищи бригадиры, — заговорил Безводов. — Перед кузницей, а значит, и перед нами, встала важнейшая задача. Решить ее можно толь-

ко общими усилиями, когда мы сомкнемся локоть к локтю... — Володя помолчал, хитро прищурился и сказал: — Тут уж, друзья мои, не до ссор и распрей — надо крепко держаться друг друга, а славу будем делить потом: кто сколько ее заработал, тому столько и достанется.

Антон и Олег Дарьин невольно переглянулись. Володя намекал на их ссору.

Ссора эта произошла несколько дней назад.

Соревнуясь с Фомой Прохоровичем Полутениным и Антоном, самыми сильными кузнецами, Олег задался целью во что бы то ни стало отвоевать первенство. Есть люди, которые идут к своей цели честно, открыто и прямо, а есть и другие: те подбираются к первенству осторожно, с оглядкой, обходя острые углы, опасные места, кому надо — угодливо улыбаясь и кланяясь и хамски попирая того, кто в данный момент не нужен; и если взглянуть на след такого человека, то след этот напомнит хитрые лисьи петли на чистом снегу; или, подобно лошади, закусившей удила, рискованно мчаться, не разбирая дороги, по рытвинам и ухабам; жажда власти, славы или выгоды как бы ослепляет их, заставляет забыть о совести, о чести и человеческой гордости; они томимы одним желанием — выделиться себя из остальных.

Таким был и Олег Дарьин. Перекрывши Антона не ставляло для него большой сложности: Карнилин — штамповщик молодой, малоопытный и тягаться ему с Дарьиным рано, не под силу. Но превзойти Фому Прохоровича, с его устоявшимся опытом, выверенными временем приемами, с его неиссякаемой, нестареющей энергией и духом, было не так-то просто.

Началась ожесточенная гонка. Олег работал, как одержимый. Стоило ему подняться немного вверх, как старый кузнец, как бы дразня Дарьина, взлетал еще выше и оставлял его позади. С огромными усилиями удавалось Дарьину вскарабкаться еще на одну ступеньку, а на другой день Фома Прохорович снова опережал его. Полутенин решил испытать его до конца...

Так продолжалось недели две. И Олег не стерпел. Сдерживая клокотавшую ярость, он подлетел к Фоме Прохоровичу и, не видя стоявшего рядом с ним Антона, прокричал отрывисто:

— Что вам надо? Слава у вас есть, почет есть! Почему ходу не даете? У вас хребет трещит, вам отдыхать

надо, на пенсию пора! А вы дорогу заслоняете... Бойтесь славу другим уступить?!

Фома Прохорович отшатнулся, побледнел.

— Ах ты, поганец!.. — прошептал он, болезненно морщась как от пощечины. — Да как же ты смеешь говорить мне такое?! — Взглянул на свои руки, на клещи, промолвил глухо: — Уйди! Уйди от греха подальше!..

Антон схватил Олега за грудь.

— Я тебе за такие слова, знаешь, что сделаю?! — прошептал он ему в лицо: — Убить могу!.. — Он с силой толкнул Олега от себя.

Тот ударился боком о станину, взглянул на Антона, резко повернулся и скрылся за молотом.

Точно больно ушибленный словами Олега, Фома Прохорович растерянно мигал, папироска в пальцах дрожала.

— Двадцать пять лет работаю — ни от кого худого слова не слышал. Сыновья не говорили. А этот... Целый год учил его...

Фома Прохорович будто сразу постарел, сгорбился, ушел домой молчаливый и обиженный.

...Придя в цех, Леонид Гордеевич долгое время глядел на молодых рабочих недоверчиво, снисходительно: шумят на своих собраниях, думают о гулянках, о невестах, о футболе — какая уж там забота о цехе, о плане! Но впоследствии он понял, что глубоко заблуждался, и был рад этому заблуждению. Оказывается, они замечательные работники, беспокойные, отзывчивые, с ними можно смело начинать большие дела.

И сейчас, широко растворив дверь, Костромин вошел в комнату комсомольского бюро в халате нараспашку, без фуражки, волосы пышно и красиво взбиты: он был, как всегда, возбужденный, захватывающе стремительный, горячий; заметив дочь, он улыбнулся уголками губ, присел на краешек табуретки возле Сидора Лозы — тот поспешно встал, освобождая ему место. Но сидеть Леонид Гордеевич не стал, а, подхватив слова Безводова, заговорил просто, немного просяще, и эта закрадывающаяся в сердце нотка особенно трогала комсомольцев.

— Литейным нашего завода уже присвоено почетное звание передовых цехов. Очередь теперь за нами, кузнецами... Я доволен вашей работой, ребята. Я теперь не представляю ни одного задания, которое было бы успешно выполнено без вашего участия, без вашего огня.

И сейчас комсомольско-молодежные бригады обязаны сыграть если не решающую, то, во всяком случае, незаменимую роль, — вы ни на шаг не должны отставать от кузнецов-коммунистов. Сами идите вперед и ведите за собой отстающих!

— Можете не беспокоиться — поведем, — неожиданно выпалил Женя Космачев.

Левая бровь Леонида Гордеевича нервно взлетела к виску, изломилась, в темных глазах затеплилась усмешка:

— Ну, если Космачев решил вести за собой отстающих, то я действительно могу не беспокоиться, — все пойдет как по маслу.

— Сам он еле-еле стоит на ногах, а туда же — вести! — бросил Дарьин с презрением.

Но Космачев только приосанился, гордо выпятил грудь и почему-то подмигнул Антону.

Леонид Гордеевич сунул руки в карманы халата, коленом оперся на угол табуретки.

— Что же это такое — звание передового цеха? — спросил он. — Давайте-ка пораскинем мозгами. Высокие показатели выработки — раз. — Он выбросил перед собой руку и загнул мизинец. — Брак — к черту, вычеркиваем. Даем поковки только отличного качества — два. Согласны? Продукция у нас сейчас дороговата — удешевим ее. Вот вам еще один плюс. Как упростить и облегчить работу — об этом позаботится каждый из вас. Так? Ну, и будем хозяевами: подумаем, на чем можно сэкономить металл, горюче-смазочные материалы. Все это вместе сложим, закрепим — и над воротами кузницы будет красоваться надпись: «Передовой цех!» — Костромин замолчал, оглядел примолкнувших, несколько озадаченных кузнецов, усмехнулся: — Вот сколько я накидал вам вопросов! Но вы не пугайтесь...

— Мы и не пугаемся, — отозвался Антон. — Дайте только срок.

— А сроки-то нас и не ждут, — возразил Леонид Гордеевич. — Но я надеюсь на ваше творчество, на ваш задор, на ваши поиски... Вы не будете одиноки — к вам на помощь придут партийная организация, инженеры, технологи, мастера, нормировщики... — Он опять помол-

чал и попросил: — Я хотел бы услышать ваши замечания.

Наступила тишина. Володя Безводов смотрел на каждого вопросительно. Но ребята или отворачивались, или опускали глаза.

— Ты все время рвался в бой, Рыжухин, — выскажись вот...

— А чего говорить-то? Все понятно. Будем ковать — вот и весь сказ.

— А ты, Олег? — обратился Безводов к Дарьину. — Ты, наверно, многое надумал, выкладывай.

Олег понимал, что от него ждут важного и авторитетного высказывания, постановки «животрепещущего» вопроса. Но он не нашелся, что ответить, лишь солидно пожал плечами, сохраняя собственное достоинство:

— По-моему, все ясно...

— Позвольте мне, — сказал Антон, вставая и глядя на Костромина. — Чтобы решить эти вопросы, нужна подготовка, Леонид Гордеевич. Нужно, чтобы штампомеханический цех давал нам штампы только отличного качества, а мы иногда получаем никудышные, честное слово.

— Это бывает, — подтвердил Костромин.

— Чтобы металл доставляли качественный, определенного веса и, главное, в срок. И выходит, что бороться за высокое звание придется всем заводом, потому что мы связаны и друг без друга жить не можем.

— И это верно, — согласился Леонид Гордеевич.

Олег Дарьин нервничал: ему было не по себе оттого, что Антон, как бы отстранив всех, в том числе и его, Дарьина, завладел вниманием начальника и свободно, уверенно высказывает ему свои мысли и требования, и Костромин соглашается с ним. Олег усматривал в этом, в сущности незначительном, факте свое поражение — пускай легкое, но все же поражение. Дарьин даже изменился в лице. «Надо что-то предпринимать, — подумал он, сменяя в шарик найденный в кармане старый трамвайный билет. — И чем скорее, тем лучше. Трудно завсевывать первенство, но еще труднее, видно, удержать его. Надо осадить Карнилина в самом начале... Но как это сделать?.. А как внимательно прислушивался к нему Костромин! Может быть, он знает, что Антон влюблен в его дочь и поэтому так участлив к нему?..» — От этой

внезапно подвернувшейся мысли Олега как будто покорило всего, он завозился на стуле, отгоняя от себя эти неприятные подозрения; он злился на себя за то, что ему, лучшему кузнецу из молодых, приходится опасаться Антона, хотя тот ничего выдающегося еще не совершил.

— Космачев, включи свет, — попросил Володя Безводов. — Товарищи, поступило заявление о приеме в комсомол от контролера Людмилы Костроминой.

Люся почувствовала, как по спине, по лопаткам морозец щекотно провел колкой щеточкой, а в груди разлился, заполняя все уголки, жар, сердце учащенными толчками гнало его вверх, к лицу, к вискам; она незаметно прислонила руку к щеке и, точно обжегшись, отдернула. Сейчас с нее спросят отчет о жизни. Она с лихорадочной поспешностью мысленно пробегала свой недлинный жизненный путь — и негде было задержаться, ей не о чем было сказать людям с гордостью, как будто она совсем и не жила. Но работа в кузнице и то, что она сидит вот среди комсомольцев, — не является ли это самой большой победой ее над собой?

Люся недоумевала: вопрос с бригадирами был решен, а никто из них не уходил, и отец еще сидел, точно ждал чего-то. Он явно стеснял ее.

Леонид Гордеевич с удовлетворением отметил, что дочь сильно волнуется и это волнение преображает ее. делает строже, суровее, и был доволен происходившей в ней переменой. Один он знает, с каким трудом досталась ей эта перемена...

Теперь этот прием в комсомол как бы проведет ясную черту между ее прошлой жизнью и будущей, заставит еще глубже задуматься над своей судьбой.

Люся посмотрела на отца долгим и умоляющим взглядом — просила его уйти.

Костромин вышел, уводя за собой бригадиров, и в комнате стало просторнее, тише и даже уютнее. Фома Прохорович, облокотившись на колени, курил, выпуская дым в приотворенную дверь. Люся вздохнула с облегчением и, подняв глаза, встретила с Антоном, которого недавно избрали в члены бюро; в его прямом, внимательном взгляде Люся уловила что-то подстерегающее, обвинительное.

— Пусть она расскажет о себе, — предложил Сидор Лоза и почему-то вынул из кармана блокнот и положил на колени.

— Стоит ли? — возразила Таня. — Ведь мы ее все знаем.

— Ты знаешь, а я не знаю, — невозмутимо ответил Лоза. — И потом так положено: вступаешь в комсомол — рассказывай автобиографию. Это традиция...

Люся встала, тряхнула локонами, облизала пересохшие губы и проговорила, нервно теребя в пальцах отороченный кружевами платочек.

— Ну, училась в десятилетке, окончила... потом вот... поступила на завод контролером... — Она замолчала, опустив голову, — ей стыдно было признаться, что ее не приняли в институт; но скрывать что-либо от товарищей она считала малодушием и, решительно вскинув голову, произнесла: — Осенью хотела поступить в институт, но не сдала...

— Понятно, — глубокомысленно сказал Сидор Лоза. — Значит, не сдала и на этом поставила крест? Так?..

— Не поставила, — быстро ответила Люся. — Учиться я буду.

— Есть еще вопросы? — спросил Володя.

— У меня есть, — сказал Дарьин, поворачиваясь к Люсе. — Почему ты раньше не вступала в комсомол? Ведь в школе, где ты училась, была, наверно, комсомольская организация?

Плечи девушки сжались: вот он, коварный вопрос, которого она ждала и боялась. Она не знала, что ответить. На помощь ей, как ни странно, пришел Антон Карнилин.

— Я думаю, вопрос этот не по существу, — сказал он негромко. — Это все равно, что спросить человека, почему он родился в тот день, в который родился, а не раньше. Не вступила, значит не была подготовлена...

— Или комсомольская организация была слабая, плохо поставлена воспитательная работа с молодежью, — поддержал его Антипов.

Но Люся прервала их, твердо заявив:

— Нет, комсомольская организация в нашей школе была сильная, хорошая. Но я думала обойтись без комсомола; мне казалось, что, вступив в комсомол, я возьму на себя обязательства, которые свяжут мою свобо-

ду... И я жила так, как мне хотелось... И мне казалось, что живу я по-настоящему, весело, интересно... Но, оказывается, жизнь-то, настоящая, большая, проходила мимо меня, и я в ней не участвовала. Я это поняла, когда пришла сюда, в кузницу. Я верю, что комсомол даст мне многое... даст силу и волю для жизни, для борьбы... Но и я... — Люся выпрямилась, прижала руки к груди и посмотрела в окно. — Я сейчас иду в комсомол с полным сознанием... — Вздохнула и прибавила шопотом: — Пожалуйста, верьте мне, товарищи. — И чуть было не расплакалась от стеснения: собиралась сказать спокойно, а вышло по-девичьи путано, слишком взволнованно, пальцы ее еще усиленнее затеребили платочек.

Наступила пауза, и явственнее послышался гул молотов в кузнице; от этого гула колебалось здание и в раме тонко-тонко дребезжало стекло.

Олег Дарьин не мог отделаться от чувства недовольства и раздражения; он придирчиво допрашивал Люсю: читает ли она газеты, следит ли за мировыми событиями, как она относится к войне в Корее, кто ее подружки, не дает ли она поблажек кузнецам во время работы, то есть взыскательна ли. Его поддерживал Сидор Лоза.

И до сих пор молчавший Фома Прохорович, не выдержав, прикрикнул на них:

— Да замолчите вы со своими вопросами! Вот привязались, прости господи! Что вы из нее тянете? Не видите — человек перед вами душу наизнанку вывернул, ни одного пятнышка не скрыл, а вы все пытаетесь, копаетесь... Принимайте скорее да растите. Работает она на совесть, страдает за каждую деталь. Это я хорошо знаю, да и Карнилин знает, у него пока брака-то побольше... Ты почему молчишь, Антон? Расскажи, как она с вами воюет из-за каждой царапины на поковке.

— Есть предложение рекомендовать общему собранию принять Костромину в члены Ленинского комсомола, — объявил Безводов. — Нет возражений? — Он повернулся к Люсе, улыбнулся и сказал: — Все. Теперь жди собрания.

— Я могу идти? — несмело спросила Люся.

Выйдя из комнаты, она осторожно притворила дверь и вздохнула с облегчением. Ей даже не верилось, что все так быстро и так хорошо кончилось. Какие замеча-

тельные ребята, добрые, великодушные. А Антон Карнилин, которого она больше всего боялась, вел себя просто и справедливо. Значит, его чувства к ней прежние...

Люся хотела зайти к отцу, поделиться с ним своей радостью, но в самый последний момент раздумала, — дома все расскажет; она никогда не заходила к отцу во время работы, считала это неудобным.

3

Бригада Карнилина несла трудовую вахту в честь тридцать третьей годовщины Октября. Антон ковал безостановочно, словно старался все свои силы истратить сегодня, не оставив ничего на завтра. И, быть может, именно в этот день ребята осознали, как накрепко спаялись они, как послушно подчинялись воле своего вожака.

Несколько раз в бригаду приходила Люся Костромина и, проверяя готовые поковки, украдкой следила за кузнецом пристальным и ожидающим взглядом. Он виделся ей сквозь пышные и багровые вспышки огня, поглощенный работой, суровый и озабоченный, и какое-то незнакомое чувство сожаления шевелилось в груди девушки: чувство это не радовало, а пугало Люсю, и она поспешно удалялась, обещая держать себя в руках, а через полчаса еще сильнее тянуло ее к этому молоту, чтобы взглянуть на Антона. Люся не могла дать себе ясно-го отчета, что произошло: она ли изменилась, он ли стал совершенно другим?.. Где тот парень с шестимесячной завивкой, с большими, неловкими руками, который боялся прикоснуться к ней, боялся дышать, когда они танцевали, где его благоговейный взгляд? Тогда ей казалось: пожелай она, и он с готовностью раскрыл бы перед ней свою душу. А теперь он и разговаривает по-иному и смотрит совсем не так, как раньше, — пристально, умно, даже снисходительно. Он казался другим еще и потому, что нравился ей все больше и больше, хотя она и не призналась бы в этом даже самой себе.

Но Антон не замечал Люсю; он торопился, как торопится на последних метрах бегун на дальнюю дистанцию. Нагревальщик, подручный и прессовщица знали, почему он спешит, и старались не отставать от него. Когда прозвучавший сигнал известил о конце смены, Антон принял от Сарафанова последнюю, пышущую жа-

ром, в искрах болванку, кинул ее на штамп, затем, как бы подводя итог рабочего дня, обрушил на нее удары молота, смял, сплющил, выковал деталь и, потухшую, потускневшую, отбросил прочь. Он выключил пар, и намаившийся за день молот уныло затих; в цех медленно возвращалась тишина, лишь кое-где шипел пар, вырываясь вверх белыми струями, да продолжало гудеть пламя в печах.

Гришоня увидел Люсю, подскочил к ней и спросил скорговоркой:

— Сколько накидали?

— Больше, чем надо, — ответила девушка и, сняв перчатку, запрятала под косынку выбившуюся прядь. — Поздравляю вас! — сказала она, повернувшись к кузнецу.

Антон ничего не ответил ей, а, взглянув на Сарафанова, устало сгорбившегося у печи, на Гришоню, на Настю Дарьину, прибирающую у пресса, простодушно, торжествующе-широко улыбнулся, медленно открыв белый ряд зубов. Затем он поднял очки на лоб и долго тер ладонью утомленные глаза, чувствуя, как по всему телу разливается тягучая и сладостная усталость и теплота.

Пстом кузнецы прошли к палатке и долго пили газированную воду.

Прибежал старший мастер Самылкин, всплеснул руками и обрадованно закричал:

— Спасибо, братцы! — Вынул платок из кармана, вытер вспотевший затылок, засмеялся, локтем толкнув Антона в бок: — Ты, гляди, парень, и впрямь в большие люди выйдешь! Только не загордись, как Дарьин...

Антон спросил насмешливо:

— Что же мне теперь, казанской сиротой прикидываться? А Дарьин нам не пример!

— Ну, тогда поздравляю: от себя лично и от имени нашего участка.

В это время к Василию Тимофеевичу подступил Камиль Саляхитдинов; руки его были полусогнуты в локтях, узенькие глаза сверкали остро и рассерженно.

— Василь Тимофеевич, — крикнул он срывающимся голосом, — давай другой молот или давай другой сменщик!

Самылкин встревоженно спросил:

— Что случилось, Камиль?

— Давай другой молот,— упрямо повторил Камиль.— Мой опыт больше, мой стаж больше, а Карнилин меня бьет, на оба лопатки валит! Я много старше его, мне лет много больше, мне это стыдно!

Старший мастер оглянулся:

— Эко, что вздумал! Коли тебе стыдно, что тебя комсомольцы бьют, так ты тянись за ними.

— Не могу я тянись! — воскликнул Саляхитдинов. Шея и скулы его побагровели. — Его бригада лучше моей, мой бригада хуже. Его нагревальщик сильнее. Сарафанов — мой нагревальщик. Зачем забрал? — крикнул он Антону.

— Ты сам отдал, — сказал Антон. — Он же тебе не нравился.

— Тогда не нравился, а теперь нравится. Давай назад Сарафанова.

Гришоня весело взвизгнул:

— Накося тебе Сарафанова, держи карман шире!

Саляхитдинов свирепо топнул на него; тот юркнул за спину Антона; а Илья, задумчиво потрогав нос грязной рукавицей, сказал, переступая с ноги на ногу:

— Не пойду я к тебе, Камиль. Чего это я к тебе пойду?

Антон взял со столика рукавицы, сунул их подмышку и подмигнул Саляхитдинову:

— Погоди, Камиль, не то еще будет...

Василий Тимофеевич поддержал его:

— Они тебе, комсомольцы-то, покажут, где раки зимуют...

— Покажут? — неистово крикнул Саляхитдинов. Нет, не покажут! — Взял Антона за отвороты спецовки: — Вперед уйдешь? Не уйдешь! Знаешь Камиля? От Камиля не уйдешь! Умру у молота, а не давай тебе уйдешь!..

Он легонько оттолкнул Антона и зашагал прочь, поволя могучими плечами борца, точно пробивался сквозь плотную людскую толпу.

— Умирать подался! — потешался Гришоня; Василий Тимофеевич сокрушенно покачал головой:

— Ишь, как забрало!..

Вторая смена приступила к работе, цех все гуще наполнился гулом агрегатов.

Люся было обидно, что Антон совсем не обращал на нее внимания, как будто она не стояла рядом и не радовалась его победе. Люся все ждала, что вот он повернется, посмотрит ей в глаза и скажет.. «А что он мне может сказать, — с горечью подумала Люся, — если ему приятнее шутить с Настей Дарьиной, чем со мной?»

Но когда Антон направился к выходу, она все же остановила его; он устало и приветливо улыбнулся ей. Люся растерялась, не зная, о чем его спросить.

— Вы во Дворце культуры будете? — нашлась она, хотя ей было известно, что они там будут. — Володя Безводов велел прийти вам всей бригадой.

За Антона ответил Гришоня, — всюду суется, везде успевает этот Гришоня!

— Явимся. Во дворец нам позарез надо!..

Они долго плескались в душе, смывая с себя тягостную дневную усталость, затем распаренные, освеженные, не спеша одевались, толпились у зеркала, причесываясь и завязывая галстуки, потом ждали Настю Дарьину: она вышла к ним прозрачно-розовая, как заря.

Во дворец кузнецы немного опоздали. Они бесшумно пршмыгнули в зал, сели в задних рядах и притихли. Перед ними сидели и о чем-то перешептывались Антипов и Люся. Девушка повернулась к Антону и сообщила:

— Вас в президиум избрали.

— Иди, — сказал Антипов, и улыбка тронула его губы.

— Я посижу тут, — ответил Антон и, чуть вытянув шею, оглядел зал: он искал Таню Ленину. Она сидела впереди, у самой стены. Он сразу узнал ее по высокой прическе, по голубой пушистой кофточке. Неподалеку от нее Антон заметил Олега Дарьина с Мариной Барохтой, в первом ряду — Женю Космачева и Сидора Лозу, бригадиров молодежных бригад других цехов; за длинным столом президиума, рядом с секретарем комитета комсомола Давыдовым, сидел директор завода.

Было очень тихо. Эту атмосферу тишины и торжественности, когда порыв молодости, затаенный в душе

каждого человека, ждет случая вылиться наружу и загулять по залу, необычайно любил Антон.

Над дубовой кафедрой возвышался Володя Безводов и, отчеканивая слова, докладывал собранию о работе комсомольцев кузницы с несоюзной молодежью.

— ...Я не верю, что есть такие «экземпляры», как выразился предыдущий оратор, которые не поддаются воздействию коллектива. Чепуха! Нет таких людей! Я вам расскажу об одной девушке, имя которой не назову. Это была девушка-мотылек. Кроме танцев и вечеринок, ее ничто не волновало. О комсомоле она и слышать не хотела... А сейчас она лучший работник цеха, хотя и самый молодой, но, пожалуй, самый активный и исполнительный член нашей организации. И о своем недавнем прошлом она вспоминает если не со стыдом, то, во всяком случае, с горькой усмешкой.

Люся наклонила голову. Антон увидел, как заалели ее щеки и даже шея, и он удивился, что эта вот худенькая смущенная девушка доставила ему в свое время столько терзаний.

Он осторожно погладил ее по рукаву, дружески и ободряюще.

В конце собрания секретарь горкома комсомола вручал лучшим комсомольцам-производственникам награды — грамоты Центрального Комитета комсомола. Антон почему-то испуганно пригнулся, когда услышал свое имя, и Люся, обернувшись, тронула его за плечо:

— Что вы? Идите же...

Он прошел к столу, принял грамоту; секретарь горкома пожал ему руку и пожелал успехов. Возвращаясь на свое место, Антон встретился глазами с Олегом: в прищуренном его взгляде он прочитал и неприязнь, и зависть, и укор. Дарьин не аплодировал кузнецу. Он склонился к Марине, шепнул ей что-то на ухо; та повела бровью и усмехнулась. А в последнем ряду между Гришоней и Сарафановым сидела жена Дарьина, Настя; Антон изумлялся ее выдержке: она или не видела мужа в обществе Барохты, или старалась совсем не замечать его, чтобы не расстраивать себя; простенькое лицо ее выглядело миловидным, веснушки с носа исчезли, а щелочка между передними зубами придавала ей девичью прелесть и чистоту.

Антон сел. Гришоня выхватил у него грамоту, прочитал, полюбовался ее красками, передал Сарафанову, тот — Насте Дарьиной, а прессовщица еще кому-то — и пошла грамота гулять по рукам из ряда в ряд; вернулась она к владельцу только после собрания, когда в зале уже взметнулся гул голосов и в раскрытые двери слышалась музыка.

— Спрыснуть бы надо ее, Антон, — намекнул Сарафанов, косясь на грамоту.

— И грамоту и еще кое-что, — охотно согласился Антон. — Гришоня, скажи Володе, что мы в буфете. Настя, не отставай!

Они протолкались сквозь толпу, зашли в буфет, заняли столик, и девушка-официантка принесла на подносе графин с водкой и бутерброды для мужчин, для девушек бутылку портвейна и пирожные.

Гришоня привел Безводова. Володя сел рядом с Антоном, потер руки, сдерживая радостное возбуждение. В буфет заглянули Антипов с Люсей, их тоже усадили за стол.

Когда наступил момент тишины и внимания, Безводов встал.

— Поздравляю вас, товарищи, — произнес он несколько возвышенно, — тебя, Антон, вас — Илья, Гришоня, Настя, с наступающим новым трудовым годом! Желаю вам производственных успехов, лучших, чем в прошедшем году. — Откинул назад волосы, задушевно понизил голос: — Эх, ребята, быть вашей бригаде лучшей на заводе, а то и во всем министерстве, чует мое сердце! Только об одном прошу, умоляю: пусть не разъедает ваш отряд ржавчина междоусобной распри...

— На огне спаялись — крепко! — пробасил Илья Сарафанов, а Гришоня спросил с недоумением:

— Куда же мы друг без друга? Оч-чень мне интересно знать!

Безводов повернулся к Антону:

— А грамотой ты гордись: тебя наградила ею наш родной комсомол, который вывел в люди великое множество таких парней, как ты; сколько из них стали героями, настоящими коммунистами. Не счесть!.. Поздравляю тебя с наградой. Выпьем за новый, за новаторский год! — воскликнул Безводов.

— Погодите! Что же вы одни? — крикнул кто-то из дальнего угла буфета. — Там за столиком сидели бригадиры Рыжухин, Космачев, Званко. — Стой, Володя! — сказал Рыжухин подходя. — Мы ведь тоже закончили этот год и начали новый.

— Присоединяйтесь! — крикнул Антон, широким жестом приглашая всех к своему столу. — Садитесь. Праздновать, так вместе, сообща!..

Антон ощущал в себе необычайный прилив сил, радости — от молодости, от удач, от внимания к нему товарищей. Он выглядел в этот момент красивым, щедрым, и Люся, не стесняясь, безотрывно глядела на него, отчего Антипов хмурился и кусал губы. Антон не мог понять, куда девалась Таня, не ушла же она домой. Несколько раз он выходил из буфета, надеясь встретить ее в фойе, и возвращался один. Как ему не хватало ее сейчас!..

Кузнецы перенесли свою закуску, расселись вокруг стола, и в оживленную беседу влилась струя свежих голосов. В углу одиноко остался сидеть лишь Женя Космачев.

— А ты чего красную девицу изображаешь? — крикнул ему Антон. — Почему не идешь к нам?

— Мне до нового года еще недели две осталось, — обиженным тоном ответил тот: ему очень хотелось пересесть за шумный стол.

— Ладно, поверим в долг. Иди сюда. Раздвиньтесь, товарищи! Садись с нами, Женя, — возбужденно проговорил Антон и поднял бокал. — С новым годом, друзья! С новым счастьем, с новыми победами!

Буфетчица с удивлением проговорила официантке:

— Вроде и сели недавно, а уж веселые какие.

Настя закашлялась, и Гришоня хозяйским тоном приказал Сарафанову:

— Постучи ей по спине. — Тот охотно исполнил просьбу, Настя взмолилась:

— Тише! Как болванкой бухнул.

— Погладить уж нельзя, — ухмыльнулся Илья.

Из фойе доносилась музыка. В дверях буфета то и дело показывались и исчезали новые лица, слышались обрывки фраз, взрывы смеха.

Вот вошли Олег Дарьин с Мариной Барохтой, купили конфет и стали разворачивать нарядные бумажки. Дарьин косился на кузнецов, хмурился.

— Я свои победы так не афиширую, — сказал он Марине.

Настя побледнела, опустила взгляд, кусала кончик платка, чтобы не заплакать, — ей было стыдно перед товарищами за мужа. За столом смолкли. Антон опять позавидовал мужеству Насти. Ему было жаль ее. Он глядел на Дарьина почти с ненавистью: уж если ты подлец, так хоть не выставляй это напоказ, не позорь других! Антон был на грани того, чтобы рвануться и избить Дарьина безжалостно, при всем народе; взгляд его сделался мрачным, плечи напряглись, кулаки сжались. Но Безводов остановил его:

— Сиди. Не связывайся.

— Тогда скажи ему, чтобы он убирался отсюда, — глухо, вполголоса сказал Антон. — Это же гнусно...

Но Дарьин, поняв, очевидно, что ведет себя неприлично, демонстративно ушел сам, так ни разу и не взглянув на жену, будто ее здесь и не было. А Настя долго не могла поднять головы...

Гришоня встрепенулся и, нарушая затянувшееся молчание, заговорил, обращаясь к Насте:

— Что ты приуныла? Ты думаешь, мы не знаем этого субъекта, муженька твоего? Знаем, что это за птица, вдоль и поперек! Так будем мы из-за него веселье портить?! Выше голову, товарищ Настя! — крикнул он захватски, и все засмеялись.

Неприятное впечатление от встречи с Дарьиным постепенно сгладилось. Антон обвел сидящих повеселевшим взглядом. Люся спросила его шопотом:

— Вам хорошо?

— Никогда мне не было так хорошо, как сейчас, с вами, честное слово! — ответил он негромко и растроганно. — Жаль только, что нет здесь Алексея Кузьмича Фирсонова и Фомы Прохоровича — им я больше всего обязан... — Люся коснулась своим бокалом его рюмки. Антон предложил громко: — Выпьем за здоровье Фомы Прохоровича!

В это время в дверях буфета появилась Таня Оленина. Антон вскочил и устремился к ней. У Люси полодела спина, этот радостный порыв сказал ей все: вот

кто у него в сердце — Оленина! Но этого не может быть, они никак не подходят друг другу!.. Чтобы не выдать своего волнения, Люся потянулась к бокалу.

— Поздравьте меня, Таня, — сказал Антон просветленно: — Я сегодня выполнил свой годовой план. На полтора месяца раньше!

— Поздравляю, — ответила она сдержанно.

— Идемте, посидите с нами... пожалуйста!..

Через плечо его Таня увидела Люсю, которая, как ей показалось, с беспечным видом тянула сквозь зубы вино из бокала, и не пошла.

— Мне некогда... я тороплюсь.

— Куда?

— Мне нужно... я обещала навестить знакомых... — сказала она и отняла у него руку.

Нахлынувшая толпа разъединила их, вынесла Таню из буфета, и Антон потерял ее из виду. Он не понимал, почему она отказалась посидеть за столом, что случилось? И вдруг он понял: она приревновала его к Люсе! Возможно ли это?.. Но если ревнует — значит, любит! Любит!..

Он стоял посреди буфета, чуть покачивался и, прикрыв глаза ладонью, улыбался широко расплывающейся, счастливой улыбкой. Когда Антон вернулся к друзьям, Люси за столом уже не было, но он даже не заметил этого.

— Хватит на сегодня, — сказал он и наклонился к Безводову. — Пойдем, Володя, навестим Фому Прохоровича, поздравим его с новым годом.

4

После совещания бригадиров в комсомольском бюро Антон Карнилин часто ловил себя на том, что мысли, высказанные начальником цеха Костроминим, непрошенно вертелись в голове, действовали на него возбуждающе, и надо было от них отделаться. «Конечно, — размышлял Антон, шагая на работу и отмахиваясь от Гришони, который надоедливо приставал со своими загадками, начальник подсказал, а ты сделал — это легко... А вот докопаться до всего самому — трудный орешек. Но раскусывать его надо каждому. А как его раскусишь?.. Зубы-то вроде, как молочные, детские. Ну, хорошо: высокая

выработка, брак — это зависит от нас, от бригады; поднажмем и повысим. А вот себестоимость продукции, экономия металла, разные механические помощники для облегчения труда — тут уж на силу надеяться нечего, головой придется работать. А что, если заполучить личное клеймо? Тогда контролера в отставку, от этого и поковки выйдут дешевле. На заводах многие уже получили личные клейма. А ведь это идея! Надо поговорить с Фомой Прохоровичем».

Но Полутенин не показывался в кузнице вот уже неделю: прямо от молота, потный, горячий, вышел, должно быть, к дверям, на сквозняк, простыл, и врач заставил его отлежаться дома.

Заботливо укутанный женой, Фома Прохорович лежал в постели с грелкой в ногах и скучал. Откладывая прочитанные газеты, он подолгу смотрел в потолок, размышлял о жизни, о сложной и напряженной международной обстановке, о своей работе.

В этот вечер на улице в сумрачной мгле метался и выл ветер, вихрил мокрые и липкие хлопья снега, бросал их в стекла окон, заслоняя и без того тусклый свет.

Фома Прохорович уже погасил лампочку и, ворочаясь, вздыхая и кряхтя, укладывался на ночь, когда в прихожей раздался звонок; Мария Филипповна, шаркая туфлями, пошла отворять дверь. Он нетерпеливо ожидал, пока вошедшие отряхивались в передней, вытирали ноги, раздевались, ворчали, поминая недобрым словом выдающуюся погоду, потом спросил:

— Маша, кто там?

— К тебе. Володя с Антоном.

— Зажгите-ка свет, — обрадованно попросил кузнец.

Откинув одеяло, Фома Прохорович спустил с кровати ноги в голубых трикотажных кальсонах, поискал вокруг себя брюки, не нашел и крикнул жене в другую комнату:

— Маша, куда ты задевала мои штаны?

— Я их зашиваю, — спокойно отозвалась Мария Филипповна.

— Нашла время! — недовольно ворчал кузнец, в смущении косясь на гостей.

— Тебе лежать сказано, а коль не терпится, так надевай новые, от костюма, а валенки под кроватью.

3*

195

— Вы бы лежали, Фома Прохорович,— сказал Володя. — А мы посидим возле вас.

Фома Прохорович улыбнулся:

— Приятно полежать день-два, а на третий, смотришь, и спина болит, и бока болят, и не знаешь, на какую сторону ворочаться. — Подошел к шкафу, оделся и, причесывая волосы перед зеркалом, вделанным в дверцу с обратной стороны, поинтересовался не без иронии, поняв сразу, что парни несколько навеселе:

— Как это вы надумали забрести ко мне? Поздно ведь уже...

Ребята переглянулись, и Володя, помедлив, ответил:

— Новый год встречали, ну и...

Кузнец удивленно и вопросительно приподнял брови. Антон объяснил:

— Я годовой план закончил сегодня, грамоту ЦК ВЛКСМ получил. Отметили, выпили немножко, ну и решили навестить вас, честное слово.

— Новый год? Ишь ты!.. — протянул Фома Прохорович с восхищением. — Мать, ты слышишь: ребята новый год встречали? Это в начале-то ноября! Сами себе праздники устраивают. Ловко!.. А я вот пропустил такую оказию — не отметил, а стоило бы тоже!.. — Он накиннул на плечи пиджак, сел к столу, ладонями разгладил морщины на скатерти и вздохнул с сожалением: — Водочки у меня нет, жалко, а вот садитесь — чайком погреемся. Слышишь, Маша?

— Уже поставила, — донеслось из кухни.

Фома Прохорович оперся локтями о стол.

— Значит, Антоша, новый год встречаем во всеоружии? Так... Валялся я тут, — он кивнул на кровать, немело прикрытую одеялом, — и все думал... много думал, потому что больному человеку ничего другого не остается, кроме как думать. Случится заглянуть в газету — так и прет на тебя оскаленная рожа американского захватчика; дипломаты лисьи петли выделывают, хитрят, а в Корее идет побоище, гибнут люди... Страшные тучи собираются, вот что... Как тут не думать? — Фома Прохорович передохнул, опять погладил скатерть. — А отложишь газету — сейчас же очутишься в кузнице: издалека-то вроде бы заметнее, где что неладно, где неисправно, куда кинуть силы. Думал я и над словами Леонида

Гордеевича Костромина... Быть может, в других бригадах считают, что это вопрос завтрашнего дня, а для нас, Антон, это задача на сегодня.

Антон подался к кузнецу, навалился грудью на стол:

— За этим и пришли к вам, Фома Прохорович!

Бесшумно вошла Мария Филипповна, полная женщина с добрым и умным лицом русской матери и мягкими движениями, внесла поднос с чайным прибором и домашним печеньем.

— Вот вам, забавляйтесь хоть всю ночь, — проговорила она немного нараспев и поставила перед ними поднос. — Он у меня слова не может сказать, покамест не промочит горло чаем. — Разлила чай и присела к углу ку стола, подперла рукой подбородок и как будто пригорюнилась слушая.

— Знаете, Фома Прохорович, о чем я мечтаю? — топорливо высказал Антон свое самое заветное: — О собственном клейме.

— Да ну?! Ты это серьезно?.. — Полутени удивленно и с опаской оглянулся на Володю, будто Антон сказал что-то непозволительное.

— Вполне серьезно. Если бы мы с вами его имели, то сразу бы убили двух зайцев: дали бы отличную продукцию и ликвидировали бы контролера.

Кузнец откинулся на спинку стула, ухмыльнулся:

— Ишь ты, как разогнался! На всех парах! Не жалко ликвидировать даже предмет своих воздыханий?

Антон убрал под стол руки, зажал их в коленях.

— Она для него больше не предмет, — ответил Володя.

— Да что ты?! — удивился Фома Прохорович. — Значит, старик отстал от событий. А ведь как убивался-то он по ней, бедняга... Кто же утешил?

— Нашлась одна такая, — сказал Володя. — Только неизвестно, чего там больше — утешений или опять терзаний.

— Эх, молодежь, — ласково промолвила Мария Филипповна и сочувственно вздохнула.

Антон проворчал, не поднимая глаз:

— Я вам про клеймо, а вы...

Фома Прохорович громко засмеялся, вытирая полотенцем шею и грудь, подмигнул:

— Клеймо не убежит... — Он вздохнул. — Эх-хе-хе!.. Надоело, значит, работать по-старому, захотелось жить бесконтрольно?..

— Но ведь не я один, Фома Прохорович, — как бы оправдываясь, возразил Антон. — Другие давно имеют собственные клейма. Газет разве не читаете?

— Теперь это новая мода — долой контролера! Горяч ты больно, Антоша. Ты сам сказывал однажды, что человек не машина, а особенно с твоим характером. Мало ли какие драмы произойдут в твоей жизни, а они, как мы знаем, отражаются на твоих делах: малость не доглядел, не проверил, клеймо шлепнул и отправил деталь. Легла она, недоброкачественная, в машину, машина ушла в колхоз и там, в чистом поле, вдруг встала — чини, ищи, где что болит. Так-то сказка сказывается про клеймо, Антон. Нет, ребята, нам нужен контроль, и строжайший!

Замолчали. Кузнец вышел в прихожую и там закурил. Антон задумчиво постукивал ложкой о край чашки. Он и сам теперь видел, что личное клеймо — затея ненужная, даже вредная, и, выходит, мечта его не имела крыльев: не полетела. В стекла окон беспрестанно ударились хлопья снега, липли белыми сырими блинами, подержавшись некоторое время, соскальзывали вниз и таяли.

Фома Прохорович помахал рукой, разгоняя дым, и вернулся к столу.

— Всякое дело начинается с людей, это верно. Прежде чем приступить к нему, посмотри, как расставлены люди, нет ли лишних.

Антон взглянул на Безводова и сказал:

— В нашу бригаду клин не вобьешь.

— Пробуйте печенье-то, хозяйка пекла, — угощал Фома Прохорович. — Не вобьешь, говоришь? Еще как вобьешь!.. А зачем тебе, например, подручный? Я говорю про Гришонию Курёнкува.

— Как?! — воскликнул Антон в замешательстве. — Как же без него?

— Что он у тебя делает? Прячется за твою спину, как раньше прятался за мою. Смазывать штампы ты можешь и сам, а сдувать окалину будем механическим способом, как на многих других молотах.

Антон легонько отодвинул от себя чашку, отложил печенье, озадаченно замолчал, задумался.

— Может быть, и так... Но как же я ему скажу, Гришоне-то? Это убьет его, честное слово! Только что пили за дружбу... Я просто боюсь.

— Положись на меня, — заверил его Володя. — Он меня скоро поймет.

— А ты кушай, кушай, — уговаривала Антона Мария Филипповна. — Авось в три-то ума и решите, как лучше.

Фома Прохорович поставил чашку на блюдце, — жена наполнила ее чаем, — он ласково посмотрел на растерявшегося парня.

— Ты уже вырос, Антон, на ногах стоишь крепко. Теперь подумай и о других; не век же ему, Гришоне-то, в помощниках бегать, пусть в люди выходит.

— Я понимаю, — согласился Антон. — Только Сарфанову трудно будет без него.

— Знаю.

— Придется менять всю организацию труда в бригаде, — размышлял Антон как бы с сожалением; но по его упрямо наклоненной голове Безводов видел, что он согласен с доводами своего учителя и ищет решения. — Надо будет развернуть и приблизить к молоту печь, регуляторы форсунок перенести ближе к рабочему месту, чтобы нагревательнику не бегать вокруг печи. А в общем попробуем, Фома Прохорович, — закончил Антон и улыбнулся.

— А то как же! Не попробуешь — не сделаешь, — подхватил Полутенин.

— А печенье мое совсем не ели, не понравилось, видно, — сказала хозяйка, и Володя, встрепенувшись, похвалил:

— Очень вкусное, прямо во рту тает, душистое, сладкое.

— После выпивки, мать, не печенье требуется, а рассол, — весело отозвался Фома Прохорович.

Дождь и снег на улице не переставали, и Мария Филипповна забеспокоилась:

— Может, заночуете, — куда пойдете в такую пору? Постелю на полу, проспите до утра,

Антон и Володя отказались. Фома Прохорович насмешливо заметил:

— Какая там пора! Им сейчас море по колено... Спасибо, ребята, что не забыли старика и навестили.

Антон и Володя простились с кузнецом и вышли на улицу.

Володя Безводов взглянул в улыбающееся лицо Антона и спросил, как бы внезапно вспомнив:

— А почему убежала Люся?

Антон пожал плечами:

— Не знаю. А разве она убежала?

...Когда Люся увидела, как он кинулся навстречу Тане, как нетерпеливо схватил ее руки и прижал к груди, в ней что-то оборвалось; она вдруг ощутила, что любит этого человека давно, со дня их первой встречи здесь, во дворце; эта любовь с острой болью проявилась сейчас, возможно, из чувства ревности к другой женщине, к Тане. Люся не могла их видеть вместе и ушла.

Домой она пришла обиженная; было смутно, тоскливо и горько на душе. И Надежда Павловна, изучившая каждую черточку лица дочери, выражение глаз, догадалась, что с ней произошло то, чего она, мать, и ожидала и побаивалась: такой парень, как Антон, не останется для Люси безразличным, не пройдет бесследно. Надежда Павловна поняла это в тот день, когда Люся пошла работать в кузницу, — встретит, увлечется. Так оно и случилось. Но, видно, не все благополучно у них, если она прибежала такая расстроенная.

Люся молча разделась и легла в постель. Надежда Павловна села у нее в ногах и, поблескивая пенсне, сказала ласково, — она была оскорблена за дочь:

— Прости меня, но я не понимаю этих твоих настроений и переживаний. Если уж на то пошло, он должен тебя боготворить. Да, да!.. Твой отец благодарен мне всю жизнь за то, что я связала с ним свою судьбу. А он не кузнец, он — инженер!

Люся оторвала голову от подушки, сказала плачущим голосом:

— Ах, мама! Ну о чем ты говоришь? Боготворить!.. Подумаешь, сокровище какое!.. Он на меня и глядеть-то не хочет, не то что боготворить...

Надежда Павловна с неожиданной легкостью встала с кровати и заходила по комнате, пораженная словами дочери.

— Я не узнаю тебя, Люся! — Память некстати подсказала пушкинские строки: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей...» Она ужаснулась: не попала ли ее дочь в эти сети, и не бьется ли она в них, как рыбка, — милая, маленькая золотая рыбка?

— Уж не цепляешься ли ты за него? Это ни на что не похоже! Это... Это безобразие! Пусть он идет своей дорогой.

Люся вскинулась, села в кровати, крикнула матери:

— Я не хочу, не хочу, не хочу! Понимаешь?

— Что ты не хочешь? — испугалась Надежда Павловна.

— Оставь меня в покое!

Надежда Павловна поняла: Люся, ее золотая рыбка, в сетях, и надо ее спасать. Надо срочно взять ее с завода.

В один из вечеров, вскоре после ноябрьских торжеств, бригада Карнилина торопилась на учебу: Антон, Сарафанов и Гришоня — в школу, Настя — в техникум. Студеный ветер как бы сдувал в одну сторону отсветы уличных ламп, и в сквере тонко посвистывали голые дерева.

Невзвешенно ощущая в душе какую-то необъяснимую тревогу, Гришоня вертел головой и подозрительно вглядывался в Антона и Сарафанова. Не выдержав, он спросил, приостанавливаясь и упираясь плечом Антону в грудь:

— Может быть, вы со мной поделитесь секретами — о чем вы шептались?

Ему не ответили. Сарафанов сунул руки в карманы, спрятал подбородок в воротник, промолчал. Антон уклончиво пожал плечами. Гришоня подался к Насте:

— Может быть, ты скажешь, тебя ведь они не стеснялись. А?

— У них спроси, — ответила Настя, едва поспевая за парнями.

Гришоня забежал вперед и заглянул Антону в глаза:

— Может быть, обо мне говорили, бригадир?

— Ну, о тебе, — буркнул Илья неожиданно и сердито. — Чего пристал? Скажем, когда время придет.

— Нет уж, зарубили, так отрубайте, — потребовал Гришоня. — Говори, Антон, я требую. Да!

— Мы решили отказаться от подручного, — спокойно сказал Антон.

Гришоня мог ожидать всего, только не этого: рот его полуоткрылся, брови взмахнули под козырек кепочки.

— Совсем без подручного? — спросил он. — Значит, из бригады меня вон, как паршивую овцу? Исключили! Гениально придумали! Два года с Полутениным работал — нужен был, а как ты пришел — сразу не нужен стал. Кто это из вас додумался до такого? Оч-чень мне интересно знать!

— Фсма Прохорович, — ответил Антон.

— Врешь! — закричал Гришоня. — Врешь! Я спрошу у него!..

Ветер кинул в лицо ледяную, больно секущую крупу, земля быстро стала белеть, снег поскрипывал под ногами. Прикрывая глаза ладонью, Гришоня проговорил жалобно:

— Новый год встречали, за дружбу пили. Эх, вы!..

Свернули за угол высокого здания. Настя с усилием отворила тяжелую дверь и скрылась в школе, где помещался ее техникум. Антон задержал Гришоню, неохотно приостановился и Сарафанов.

— Ты пойми, — сказал Антон, — зачем держать липного человека, если мы можем обойтись и без него? А потом, хватит тебе в подручных состоять, выходи в мастера.

— Я сам знаю, что мне делать, не учи! — крикнул Гришоня. — И запомни: был у тебя друг, теперь у тебя — враг.

Сарафанов фыркнул и пробасил:

— Видали мы таких врагов!..

Гришоня налетел на него, подскакивая, застучал ему в грудь кулаками.

— Ты молчи! Помнишь, каким ты был? Под печью спал! Я тебе тоже помогал!..

Сарафанов легонько, беззлобно отстранил его длинной рукой.

— Чего раскипятился?

Антон повернул Гришоню к себе и посоветовал по-дружески:

— Вставай-ка, Гриша, на легкий молоток.

Лицо Гришони слезливо сморщилось, он тоненько выкрикнул сквозь сдерживаемый плач:

— И встану, и буду вкалывать, и покажу! Черти! Изменники! Ненавижу! Презираю я вас!

И, рывком распахнув дверь, он пропал в темном вестибюле.

5

В обширных и прохладных залах Третьяковской галереи сквозь сероватые тени света смотрело на Антона множество застывших глаз.

Пышные парчовые и бархатные наряды, необыкновенные пейзажи, породистые кони с огненными ноздрями, батальные действия и портреты, портреты!..

Память Антона не успевала запечатлеть всех лиц, впитывать всех красок, вмещать всех сцен: наскоро объяснив картину, Таня тянула его дальше, в другие залы. Он двигался бесшумно, не ощущая себя, как во сне, — одно настроение сменялось другим.

Тане больше всего нравилось в Антоне то, как он преображается; это ей немного льстило, — в его перемене к лучшему было и ее влияние. Он покорял ее своей жадностью все видеть и знать. И куда бы она его ни пригласила — в музей, на выставку, на лекцию или еще куда, он, не раздумывая, соглашался, полностью доверяясь ей во всем. Один раз они попали в консерваторию на концерт Святослава Рихтера. Он играл Баха, играл хорошо, долго и скучно. Антону казалось, что он повторяет одну и ту же пьесу несколько раз, — ухо не могло уловить тех тонкостей в мелодии, которые, наверно, улавливала Таня. Но он прилежно слушал, как и многие в зале: застыв в благоговейном умилении перед творениями великого музыканта, но внутренне изнывая от скуки, слушатели прикрывали робкие зевки программками. Толстые классические книги порой были тоже скучноваты,

но Антон все равно прочитывал их, чтобы потом говорить о них с Таней. Постепенно речь его обогащалась новыми словами, именами. «Мартина Идена» он «проглотил» за одну ночь и, потрясенный, бледный, даже как будто осунувшийся, прибежал в цех, поднялся на второй этаж к конструкторскому бюро — ждал Таню. Она встревожилась, увидев его:

— Что с вами? Вы не заболели?

— Я не спал всю ночь, — сказал он взволнованно. — Читал. Эх, Таня, какой это был человек, этот Мартин!.. Как он шел, как добивался своего!.. И какие сволочи были вокруг него. Такого человека погубили!.. Взял бы да и задушил их своими руками.

Таня коснулась пальцами его руки и улыбнулась:

— Я знала, что эта книжка у вас. Я была уверена, что она вам понравится. Вы немножко похожи на него.

— Что вы! — смутился он. — Скажете тоже!..

Антону было приятно, что Таня, такая уминая, красивая, уделяет ему столько внимания...

Вот и сюда она пришла именно с ним, и вместе они в молчании стоят перед картинами.

Вст незнакомая разбушевавшаяся морская стихия, грозная и притягательная, высокие водяные валы, пенные брызги, обломки разбитого корабля, темная и страшная пучина. А рядом спокойная, мечтательная лазурная гладь, возбуждающая неосознанные желания ехать куда-то далеко-далеко...

А вот мальчик-подмастерье в рваном фартуке, босой, с нечесаной головой, вышел в сени к матери и с жадностью схватил принесенный ею калач. Что-то заняло в груди при виде этого паренька: вспомнил ремесленное училище и себя в новенькой форме со светлыми пуговицами, совсем не похожего на этого... Другое время!

— Смотрите сюда, — сказала Таня. — Это Максимов. «Все в прошлом». Как верно назвал художник свою картину: действительно, все в прошлом... А какие, должно быть, были приемы гостей, какое оживление было в саду, звучала музыка, раздавался смех — молодежь веселилась. А теперь вот молодость прошла, близких никого не осталось — все позади. И эта старая барыня доживает свой век на попечении деревенской женщины-

прислуги. А барский дом, видите, обветшал, окна заколочены, — умирающая дворянская усадьба...

Антон внимательно гляделся в изображение, и ему виделась большая, сложная, незнакомая жизнь. А Таня уже объясняла другие произведения.

— Изумительные пейзажи, взгляните. Васильев. Ему было всего лишь двадцать три года... Сколько бы он мог еще создать, если бы пожил дольше!..

Антону нравилось все, что нравилось Тане. Он повернулся и обрадовался, увидев до боли знакомое: родные белые березы, над ними хлопочут грачи, поправляя обветшавшие за зиму гнезда. Поверяло детством. Антон подвел Таню к картине Саврасова «Грачи прилетели».

— А вот это я хорошо помню. Карабкался по сушняку ветел на самые вершины. Выше гнезд забирался. Хорошо смотреть оттуда — все видно как на ладони. А деревья раскачиваются от ветра, — страшно и приятно. Лететь хотелось, честное слово! А мать стоит, бывало, внизу, упрасивает: «Слезай, Антоша, разобьешься!..» А грачи всполошились, кричат...

Антон замолчал, улыбнулся, растроганный воспоминаниями. Таня слушала его внимательно, глядела без улыбки, точно перед ней был совсем другой человек, потом затропилась, потянула его в другие залы, — скоро начнет темнеть, а впереди еще сколько замечательного!

В одном зале Антон долго не мог стронуться с места. Он безстрывно смотрел на картину... Молодая женщина сидела на мягких подушках богатой коляски, спрятав руки в муфту, и, несколько высокомерно повернув лицо с полуприкрытыми глазами, поджидала спутника: вот сейчас он подойдет, молодой, мужественный, вскочит в коляску, раздастся гулкий цокот копыт, и они умчатся в туманную даль проспекта. Под картиной на медной пластинке подпись: «Неизвестная».

— Она мне известна, — сказал Антон, повернувшись к Тане. — Это вы, Таня, она очень похожа на вас...

— Вы забыли сказать «честное слово», — улыбнулась Таня, польщенно краснея.

— Честное слово, — подтвердил он. — Только вы красивее этой, теплее.

— Я знаю, что это неправда, — ответила Таня и просунула руку ему под локоть. — Но мне все равно приятно

но... Можете почаще говорить, что я красивая, милая и что я вам нравлюсь.

— Вам это приятно?

— Увы, как всякой женщине.

Они прошли в другой зал и там встретились с Семиёновым. Откинув назад голову и прищутив глаза, он стоял перед картиной Федотова «Сватовство майора» в глубокое и важное раздумье и изредка что-то записывал в маленькую книжечку.

Увидев Таню, он встрепенулся, шаркнул ногой и, очутившись возле нее, заговорил:

— А я звонил вам утром; соседка ответила, что вы ушли, а куда, не сказала. Мне стало грустно, как всегда, когда я слышу по телефону не ваш голос. Я начал размышлять, как Шерлок Холмс: где вы можете быть в зимний, хоть и воскресный, но серый день? На всякий случай справился у Фирсоновых — не заходила, и оно не обмануло: вы здесь, передо мной. Судьба, Татьяна Ивановна!

— Вы, видно, частый гость здесь, — заметила Таня.

— Не гость, а свой человек, — поправил он. — Человеку необходима духовная пища, быть может, в большей степени, чем пища физическая, кухонная. — Иван Матвеевич нетерпеливо похлопал записной книжечкой о ладонь левой руки; Антона он не замечал, хотя тот стоял рядом с Таней.

И когда кузнец отошел, Семиёнов спросил Таню шутливо:

— Уж не увлечены ли вы, Татьяна Ивановна? Или это благодеяние богатого, который делится щедростью душевной и более бедным? Это должно льстить самолюбие женщины. Вы случайно встретились здесь?

-- Нет, он просил проводить его.

— Может быть, вы и в балет его поведете?

-- Может быть.

-- Вот как! Я частенько стал видеть вас вместе — это наводит меня на некоторые размышления, — предупредил Иван Матвеевич и погрозил ей пальцем. — Разбирается ли кузнец в живописи?

— Трудно сказать: он здесь впервые, — ответила Таня. — Но при виде каждой картины сильно и как-то по-детски переживает. Это интересно наблюдать.

Семиёнов придвинулся к Тане, взял ее под руку и спросил, понизив голос:

— Когда мы увидимся еще?

Таня нахмурилась.

— Мы видимся с вами каждый день, Иван Матвеевич, — ответила она уклончиво.

— Встречи на работе не в счет, — возразил Семиёнов. — На работе мы другие люди, и я не вижу в вас той женщины, какую вижу, скажем, сейчас. Встречи наедине, Татьяна Ивановна, обновляют чувства. Да и обстановку менять полезно...

— Телефон мой вы знаете — звоните.

Семиёнов усмехнулся, скрывая обиду.

— Звоните, когда меня дома не будет, да? Вы неуповимы, как ветер.

Антон стоял неподалеку от них, смотрел на какую-то картину и ничего не видел, будто ее застлал туман. Как было хорошо пять минут назад и как тоскливо, пусто сейчас! И надо же было появиться здесь этому Семиёнову!.. Конечно, ей интереснее с ним, он «свой человек» здесь. А он, Карнилин, только грачей и может объяснить. «Пусть они остаются, а я уйду», — решил Антон, приблизился к ним и проговорил, виновато улыбаясь:

— В голове у меня винегрет, Таня. В глазах рябит, в висках застучало, честное слово. Я уйду. Я совсем заблудился, что у меня уроки не приготовлены. В другой раз лучше приду...

— Я тоже иду, — поспешно отозвалась Таня. Они простились с Иваном Матвеевичем и вышли.

Серые зимние сумерки сеяли сухой и мелкий снег, с реки в переулочек дул холодный ветер, с шуршанием гнал по мостовой змеи поземки. В тусклом небе за рекой зажглись красные звезды. Антон поднял воротник, сунул руки в карманы пальто.

— Спасибо, Таня, что вы согласились пойти со мной. Один я когда бы еще собрался!

Таня прятала лицо в воротник котиковой шубки, виднелись лишь одни глаза.

— А вы не соглашались! — упрекнула она, просяв. — Иван Матвеевич спрашивает, не поведу ли я вас в балет.

Антон приостановился.

— Он так сказал? Ишь ты! Значит, он считает, что балет не для нас? А мы пойдем, Таня, обязательно пойдем!

...Антон и Таня все сильнее привязывались друг к другу. Он попрежнему был почтителен и робок с нею, покорно следовал ее советам, смущался своей неловкости. И все чаще улавливала она в его взгляде сдержанное, какое-то благоговейное восхищение ею, которое говорило об искренней силе его чувства. Это возвышало ее в собственных глазах и пугало. Она видела, какие нераскрытые богатства таятся в его душе, и понимала, что наступит момент, и перед нею встанет во весь рост человек, могучий, цельный, широкого размаха, и заранее страшилась этого человека — страшилась и ревновала. Она подозревала, что любовь Антона к Люсе Костроминой, первая и пылкая его любовь, не прошла. В том, что Антон и Люся избегали друг друга, а находясь вместе, смущались, Таня улавливала что-то недосказанное, затаенное — и тревожилась. Но временами она отмечала неподдельное равнодушие Антона к девушке, и это ее успокаивало.

И сегодня в Большом театре, когда потухли хрустальные люстры и зазвучала музыка, Таня доверчиво вложила свою руку в руку Антона.

Вот он, любимый Антоном знакомый вальс, не раз слышанный им по радио!.. Сколько живописных красок, сколько веселья! И какие красивые, плавные, ритмичные движения!.. Эти подчиненные музыкальному ритму движения были близки и понятны Антону: у молота во время работы им руководил тот же неуловимый внутренний музыкальный ритм; он усмехнулся этому непрошенному сравнению.

Но вот пролетела последняя стая лебедей, и музыка смолкла.

В антракте Таня показывала Антону театр; они прошли по фойе, в буфете купили мороженое.

И снова вздрогнул и медленно разошелся по сторонам занавес. Теперь всю сцену — берег озера, залитый

таинственным светом луны, — заполнили танцовщицы в белых воздушных одеждах — лебеди.

Все колыхалось, плыло, рябило в глазах. Ослепительная пестрота сцены, музыка, тусклая позолота многоярусного зала, едва внятное благоухание духов, исходящее от волос Тани, нежное пожатие ее руки — все это сливалось воедино и наполняло душу ощущением полного, почти осязаемого счастья.

Напряжение, с которым Антон начал смотреть балет, улеглось. На душе его было спокойно и по-весеннему светло. Но вот опять ему представилась кузница, вся в зарницах вспышек, в синем дыму, в стройном гуле молотов; промелькнули знакомые лица кузнецов. Он мысленно отмахнулся, досадливо поморщившись. Никуда, видно, не скрыться от нее! Даже опасно покосился на Танию, точно она могла догадаться, что он, глядя на балет, думает о своей кузнице.

По окончании представления Антон усиленно хлопал в ладоши: любовь победила зло.

— Вот мы с вами и в балете побывали, — сказала Таня, выходя из зала. — Понравилось?

— Да.

— Все поняли?

Он усмехнулся:

— Нет.

Таня обиженно приостановилась:

— И вы молчали?

— Что тут понимать? Сказка! Разбирать игру артистов, восхищаться техникой танца я не стану — не умею. — Помолчав, он взял ее под руку и сказал. — Бывает летом: духота, жара, зной, воздух горячий, липкий, все томится — дождя бы!.. И вдруг ударит ливень, сразу все освежает, зазеленеет и дышится легче. То, что мы видели, — для меня это дождь, честное слово! Смотри, отдыхай, восхищайся и думай! — Он рассмеялся простодушно. — Лезет мне в голову кузница, да и только! — Вставая в очередь к вешалке, он наклонился к Тане, шепнул: — И опять я благодарю вас. Побольше бы таких дождей — и урожай был бы отличный, честное слово!

Они оделись, спустились по ступенькам лестницы, прошли в сквер. Антон окинул взглядом театр — мощные

колонны, скачущих коней над ними, запорошенных снегом. Снег валил густо, улицы были заполнены белой кипящей массой; свет фонарей тонул в ней, расплываясь матовыми пятнами. В шелестящей мгле торопливыми тенями стремились люди, двигались машины и троллейбусы. Город сделался каким-то седым, сказочно-древним; и весело думалось о заснеженных лесах, о бабушке Морозе с белой бородой, с красным, накаленным стужей носом.

— Вот это снег!.. — протянул Антон, глядя на Таню. Снежинки повисли у нее на ресницах, таяли на губах. — Настоящий новогодний!

— А знаете, что Безводов придумал? — оживленно сказала она и засмеялась. — Встречать Новый год за городом, на даче.

— Он выдумает!..

— Вы поедете?

— Я от Володи не отстану. А вы?

— Не знаю, — неопределенно ответила Таня, глядя сквозь валивший снег на красные огни реклам. — Встретить Новый год за городом, в лесу хорошо бы. Но я обещала встречать с Фирсоновыми. Вот если бы их склонить, Алексея Кузьмича...

Алексей Кузьмич только посмеивался над затеей Безводова:

— Староват я, Володя, гоняться за вами на лыжах по лесу.

Фирсонова заманили в комнату комсомольского бюро, обступили со всех сторон Безводов, Карнилин, Желя Космачев, Люся, Сарафанов, Таня, доказывали, что встреча Нового года в лесу, у живой елки — это красиво, необычайно, весело, что такой случай в жизни не повторится, что ходить на лыжах и дышать свежим воздухом необходимо для здоровья. Парторг начал выискивать причины, чтобы отказать.

— Ладно, я согласен. Но не забываете, что я женат. Согласится ли жена?

— Елизавету Дмитриевну я уговорю, — заявила Таня уверенно.

— И ты с ними заодно, — сказал Алексей Кузьмич с видимым осуждением и выставил свой последний до-

вод: — Дача не моя — Дмитрия Степановича, у него и спрашивайте.

К учителю послали Безводова и Карнилина. Дмитрий Степанович провел их в свою комнату, усадил в кресла и выслушал просьбу. Потом он молодо выпрямился, раза два качнулся на носках и, заложив руки за проймы жилета, спросил оживленно:

— В чьей голове родилась эта светлая мысль? Кто придумал? Ты, Володя? Умница! Будить сердца людей — превосходная должность.

— А нам говорят, что мы за рамки выходим, — сказал Володя, как бы жалуясь.

— Рамки? — весело зарокотал учитель. — Рамками надобно плохое ограждать. И чем уже эти рамки, тем лучше. А для хорошего зачем рамки? Пусть его выходит, пусть льется через край!.. Большой труд должен венчать большой праздник, красивый отдых — отдых вдосталь, в полную грудь. — Повернулся к Антону и произнес: — Я тоже хочу выйти с вами за рамки...

6

В канун Нового года, еще до рассвета, Дмитрий Степанович, надев валенки, обмотав шею теплым шарфом, отправился прокладывать дорожки к даче. Затем прибыли туда Савельевна и Елизавета Дмитриевна с Игорьком; их сопровождал Илья Сарафанов — тащил две корзины с продуктами. Озираясь на прятавшиеся за сугробами дачные домики, на заваленный снегом лес, он произнес с чувством, похожим на изумление:

— Эх, тихо-то как!.. Даже в ушах звенит с неприятными вычками.

Илья колот дрова, носил их в дом, помогал топить печку.

В полдень высадились с электропоезда и прикатила группа лыжников, — ее привел Володя Безводов. Глухая улица огласилась веселой переключкой голосов. С деревьев с карканьем взлетали вороны, осыпая с ветвей серебристые снежные струйки.

Люся Костромина была похожа на снегурочку, вся пушистая, розовая и сияющая. Путешествие это напоминало ее прежние загородные прогулки, по которым она так стосковалась. Лес, тишина, искрящийся на солнце снег придавали особую прелесть этому дню, и она

чувствовала себя легкой и счастливой. Она была влюблена в Антона. «Не может быть, — думала она, — что он всерьез увлекся Олениной; вон она бредет сзади с Гришоней, и на лыжах-то как следует не умеет ходить, уж очень они не подходящие друг для друга. Не такая нужна ему подружка. Скучновата Таня для него. А возле такого парня должна быть девушка звонкая, озорная, такая, как она, Люся. Ведь другой такой Люси не найдет он, даже если будет искать».

Антон шел впереди всех. Сегодня она поговорит с ним, выяснит отношения; трудно поверить в то, что он так быстро разлюбил ее.

Самой последней пришла Таня, и Люся с легкой досадой и завистью отметила, что она действительно красива. На свежем, разругавшемся лице темные большие глаза, улыбка застенчивая, чуть-чуть приоткрывающая зубы. «Ну что тебе надо? — уже с раздражением подумала Люся, глядя на Таню. — Есть Семиёнов, и держись за него!»

Женщины вызвались помогать Савельевне и Елизавете Дмитриевне по хозяйству, а парни, приставив лыжи к изгороди, затеяли какой-то спор, сопровождая его взрывами хохота. Гришоня Курёнков задавал Илье Сарафанову загадки, какие обычно задают детям до пяти лет, с неподкупным видом следователя вел ему каверзный вопрос: насколько эффективной была его помощь Савельевне. Илья отвечал сначала серьезно, с наивной правдивостью, но, почуввав подвох, постепенно накалялся и, выведенный из терпения, кинулся на Гришоню с кулаками. Началась веселая возня, в которую ввязались остальные. И вскоре высокие хребты сугробов осели под тяжестью сцепившихся тел, в воздухе замелькали снежки.

Савельевна, которая была недовольна поездкой и все время ворчала на тех, кто ее придумал, развеселилась; выйдя на крылечко, она вступилась в защиту Сарафанова.

— Что же вы все накинулись на одного? Лошадь он вам, что ли, ездите на нем верхом? Развернись, Илюша, дай им хорошенько! — Потом предупредила: — В снегу много не валяйтесь, сушиться негде, в мокром-то недолго протерпите на холоде!

— Кровь горячая — высушит, — ответил ей Дмитрий Степанович; опершись на лопату, он стоял на дорожке и следил, как Сарафанов неуклюже скакал по глубокому пушистому снегу, настигал кого-нибудь и отшвыривал в сугроб.

В сумерки, когда на снегу задрожали розоватые отсветы окон, приехал Алексей Кузьмич, свежесбритый, возбужденный, парадный, поздоровался с молодежью, легко взбежал на крыльцо и сказал вышедшей навстречу жене:

— Семиёнов меня одолел, три раза приходил... Я сказал, что всю мою семью комсомольцы Безводова взяли в плен и как заложников увезли из города. Он сильно переживал нашу «измену», сказал, что все сговорились против него и что Безводову он припомнит этот вечер. Слышишь, Володя? Теперь у тебя есть тайные враги.

Безводов снял кепку, откинул волосы и заверил, жарко блестя черными глазами:

— За нас не волнуйтесь: с врагами мы справимся, с тайными и с явными.

Над сосновым бором взошла луна, круглая, с золотисто-желтым ободом. Она всплывала все выше и, освобожденная от прозрачно-серых облаков, торжествующе засияла над миром, застывшим в ледяном безмолвии.

Шумно выбежав из дачи, все встали на лыжи и не спеша двинулись в лес выбирать елку. У Дмитрия Степановича лыж не оказалось, и он направился в лес пешком. Дома остались Савельевна с Игорьком, мальчик был обижен, сидел в кровати раздетым — одежда сушилась у печки.

Антон шел за Таней. Перед тем как войти в лес, Таня остановилась и присела, чтобы затянуть ремешок. Задержался и Антон. Он вызвался помочь ей, нагнулся, а сзади уже торопили:

— Не задерживайся!

Антон медлил, как будто намеренно ждал, пока лыжники, обойдя их, не пропали в лесной темноте, потом распрямился, послушал удаляющиеся голоса товарищей, улыбнулся и предложил Тане:

— Заглянем на озеро, покуда они выбирают елку?

— А мы не потеряем их? — спросила она шопотом.

— Помните то место, где мы летом устраивали привал и пили кислое вино? Возле речки? Там они и остановятся.

— А вдруг хватятся, что нас нет, на поиски пойдут, — зима, лес, холод.

— Догадаются — и не пойдут.

Таня усмехнулась и повернула лыжи влево. Некоторое время они шли по опушке, по грани лунного света и теней деревьев, затем вступили под высокие своды сосен. В тишине ночного леса весело пел снег под лыжами. Вскоре они достигли озера, и в глаза, привыкшие к лесному мраку, обильно плеснулось зеленоватое, нестерпимое сияние нетронутого снега, — точно огромное зеркало, озеро как бы отражало ослепительный накат месяца.

Лицо Тани казалось бледным, темнели, порой вспыхивая и лучась, ее большие глаза; на свитере и шапочке отчетливо выделялись узоры, только красный цвет сделался черным.

— Сколько раз была я на этом озере, — заговорила Таня тихо, — всегда оно разное, и настроение тоже разное... Летом — помните? — кругом зеленело, у берега копошились ребятишки, птицы пели, а воздух смоляной, сосновый — тогда и мне петь хотелось. Осенью я приходила сюда одна — пусто, глухо, вода черная, а на ней желтые листья. А теперь вот здесь совсем по-другому: таинственно, холодно, все звенит. — И прибавила: — Вот и еще один год остался позади. Что-то принесет нам новый?

— Я жду от него очень многого, — сказал Антон убежденно.

— Свой год вы встретили, он уже принес вам свои дары.

— Самый главный дар еще впереди...

Таня поняла намек и, взглянув на Антона, сказала:

— На волосах у вас иней, будто вы седой. Напрасно не надели шапку.

— Ничего, я привык. А вам холодно?

— Пока нет. — Она указала палкой на мостик, прозрачно видневшийся вдаль: — Смотрите, как сверкает, словно хрустальный, кажется, ударь по нему — и осколков не соберешь.

— Хотите, пойдём к нему?

— Нет, вблизи он, наверное, совсем иной, тусклый...

Обтянутая свитером, казавшаяся подростком, она стояла совсем близко, и ему непреодолимо хотелось обнять ее, такую милую, немножко печальную, но он почему-то страшился, лишь несмело положил руку ей на плечо и заглянул в глаза, — они были глубокие, встревоженные и какие-то укоряющие.

— Сходим туда, за просеку, куда мы летом забегались? — предложил он.

— Это туда, где вы просили меня не выходить за муж? — с улыбкой спросила она. — Какой ультиматум вы заготовили на этот раз?

Он неожиданно засмеялся:

— Никакого, честное слово! А вы испугались?

— Разве я похожа на пугливую? — Таня тоже рассмеялась. — Едемте-ка лучше к своим. Уберите ваши лыжи с моих, дайте мне развернуться.

Над головами, загораживая звездное небо, снова сомкнулись кроны деревьев, а позади, щедро насыщенный лунным светом, завораживающе пылал на озере снег.

Своих они нашли легко и быстро: сначала донеслись крики и хохот ребят, затем среди стволов замечались красноватые тени, и вскоре путь их озарил огнем костров, — костры эти входили в программу, выработанную Володей Безводовым.

— Как красиво, Антон! — воскликнула Таня, приостановившись; в широко раскрытых глазах ее дрожали, отражаясь, огоньки, ее плечо касалось плеча Антона; он внезапно обнял ее, притянул к себе и поцеловал в холодноватую щеку. Она отстранилась, растерянная, не зная, как ответить на этот порыв, — рассердиться или обрадоваться.

— Вот вы, оказывается, какой... — произнесла она негромко и удивленно, улыбнулась и, рывком оттолкнувшись, подкатила к елке.

Среди других елок, громоздко отягощенных снежными пластинами, елка эта, в красноватых отблесках окружавших ее костров, казалась черной и мохнатой; снег вокруг истоптан, лыжи были воткнуты в сугроб. Ребята веселились кто как мог, играли в снежки, длинноногого Сарафанова заставляли прыгать через пламя; кто-то выхватил из костра горящее полено и точно с факелом помчался в темноту леса; Дмитрий Степанович заботливо

подкладывал в огонь хворост; Алексей Кузьмич стоял поодаль у сосны и, посмеиваясь, наблюдал за происходящим.

— Ага, вот они, пропащие! — басисто протрубил Сарафанов, встречая Таню и Антона.

— И где это они пропадали? Интересно узнать! — с любопытством воскликнул Женя Космачев.

Таня подбежала к Елизавете Дмитриевне, зябко прижалась к ней.

— Все уединяешься? — осуждающе прошептала Елизавета Дмитриевна.

— Мы на озеро ходили, — ответила та. — Там удивительно красиво...

— Ох, Таня!.. — предостерегающе вздохнула Елизавета Дмитриевна.

— Не беспокойся, пожалуйста, все хорошо, — сказала Таня.

Алексей Кузьмич выступил из-за ствола и с напускной серьезностью подсказал Беззодову:

— Предать их суду и наказать.

— Судить! — подхватило несколько голосов.

— Верно, судить — таков суровый закон этого вечера, — подтвердил Беззодов, приблизился к Антону и тонким учителем сказал: — Перешагивая порог Нового года, ты обязан на огне этих костров выжечь всю накипь и плесень: грубость, лень, самомнение, неряшливость и прочее и прочее — все, что искажает душу человека. А также закалить все хорошее в себе, чтобы не поддавалось оно ржавчине и износу.

Антон внимательно слушал необычайную, напыщенную речь, не зная, как отнестись к ней, — принять всерьез или отшутиться. Кругом было тихо, потрескивали сучья, дым обвивал елку и тянулся вверх, к звездам.

— И прежде чем совершить закалку, — продолжал Беззодов, — ты должен покаяться в грехах своих у избранного нами судьи и ясновидца. Отвечать ему правдиво и без утайки. Вот он, ответствуй! — закончил Володя и указал на Гришонию Курёникова.

Напялив на себя какой-то вывороченный наизнанку длинный балахон, а на голову колпаком торчащую женскую вязаную шапку, Гришоня стал посредине площадки со скрещенными на груди руками, напоминая раскрывшегося на дожде грача.

— Подойди, сын мой, — приказал Гришонию торжественным и несколько визгливым тоном и приосанился. Антон решительно направился к нему, но тот властным жестом остановил: — Стой тут и отвечай, чтобы слышали все.

Гришонию выдержал паузу, оглянулся на затаивших смех зрителей и, вспоминая подсказанное Беззодовым, спросил:

— Не ты ли, комсомолец Карнилин, одержимый гордыней, похвалялся перед своими товарищами, что ты самый лучший и незаменимый кузнец нашего цеха? Говорил ты так?

Антон молчал. Зрители хором ответили за него:

— Говорил, говорил!

— Правда ли это? — допытывался судья строгим и вкрадчивым голосом.

— Правда, — пробормотал Антон. — Только я в шутку это говорил... честное слово!

— Очищайся, сын мой, очищайся, — произнес судья и показал на костер. — Разбегайся и — оп-ля-ля!

Антон нерешительно топтался на снегу. В тишине прогремел требовательный бас Ильи Сарафанова:

— Прыгай, прыгай, меня тоже заставляли!

Антон разбежался и прыгнул через высокое пламя под аплодисменты и одобрительные возгласы зрителей. Таня присела у огня рядом с учителем и спросила шопотом:

— Что это за представление, Дмитрий Степанович?

Учитель усмехнулся:

— Критика, Таня. Вернее, разновидность критики. Они и тебя проведут через огонь.

— Я убегу, — поспешно сказала Таня и с тревогой оглянулась.

— От людей куда убежишь? Найдут. Слышишь?

В тишине снова зазвучал невозмутимый вопрос Гришони:

— Отвечай мне, кузнец Карнилин. Не менял ли ты школьные занятия на балетные пируэты?

— Менял, менял! — закричали Женя Космачев и Сидор Лоза. — Мы знаем!

Антон с угрозой покосился на Женю. Судья вскинул руку, предостерег:

— Спокойнее. Будешь ли ты и впредь менять школу на балетные представления и преступно пренебрегать своей партией? Отвечай!

Антон встретился взглядом с Таней, вид у нее был изумленный и веселый, она мигнула ему, и он буркнул:

— Не буду.

— Очищайся, сын мой, очищайся. — Прыжок через второй костер, горячая волна в лицо, и опять судейский допрос:

— Готов ли ты, комсомолец Карнилин, всеми средствами, всеми способностями своими, вкупе со всеми нами, поддерживать хорошие начинания в кузнице и готов ли бороться с трудностями, не щадя живота своего? Отвечай, готов ли ты к этому? Готов ли вступить в единоборство с Дарьиным?

Терпение Антона иссякло, пальцы невольно сжимались в кулаки.

— Готов, — сдержанно заявил он, наступая на судью, и закричал ему в лицо: — Готов! Ну? Закаляться, что ли?

— Тише, осади, — предупредил Гришона, испуганно пятясь. — Закаляйся... в последний раз!

Антон перемахнул через третий костер, подлетел к судье, схватил его поперек тела, рывком, точно куль, кинул к себе на плечо, отбежал и под хохот присутствующих бросил судью в сугроб, вниз головой. Гришона задрыгал в воздухе ногами. Выбравшись из сугроба, он протер залепленное снегом лицо, осуждающе вздохнул:

— И вот награда и почет за мой великий сан и честный суд.

Началась суматоха, толкотня. Рядом с Антоном оказалась Люся Костромина. Поздравив с «очищением», она тряхнула пышным помпоном на шапочке, точно курица гребнем, хитро сузила глаза:

— Когда другие приглашают в кино или в театр, вы учебой щеголяете, а сами под шумок...

Ей не дали договорить. Налетевшая толпа разъединила их, закружила. Костры, приняв последнюю порцию сучьев, взметнули ввысь стай искр, затрещали. Ребята перемахивали через столбы огня, гонялись друг за другом в темноте между стволами.

Константин Антипов стоял в сторонке под сосной и снисходительно улыбался: странное веселье у этих взрослых людей, неужели они не понимают, что такая забава

под стать детям! Он безотрывно следил за Люсей. Поразительное существо, эта Люся! Мечется среди костров, всех толкает, смеется, — действительно бабочка, вьющаяся вокруг лампы. Как она хороша сейчас в свете огней!.. И ему самому захотелось, сбросив привычный свой сплин, бежать за Люсей, носиться с ребятами, играть в чехарду, прыгать через пламя. Но сдерживала выработанная еще в школе, манера держаться в обществе — солидность, скупающая надменность.

Люся, подлетев к нему, схватила за рукав:

— Нечего тут стоять. Замерзнете еще! Идемте в круг!

— Ну что вы, Люся, — Антипов в недоумении пожал плечами. — Неужели вам приятно это дурачество? — Сердцем он рвался к ней, а рассудок останавливал: «Что это я ни с того ни с сего пушусь скакать козлом? Никогда этого не было, и вдруг... Для потехи ребят разве?..»

— Какой вы кислый, Костя! — Люся досадливо махнула варежкой. — Брюзжите, точно старик какой. Что вы все время наигрываете?

Антипов промолчал, обиженно поежился: «Вот как вы заговорили... А когда-то все это вам нравилось: тактичность, сдержанность, отсутствие грубости...»

Гришона припер к стволу Сарафанова и донимал его:

— Отгадай: «зимой и летом — все одним цветом». Что это? Ну, что? Отвечай!

— Что ты ко мне пристал? Откуда я знаю, что это.

— Это же елка, — она всегда зеленая.

— Правда, — проговорил обрадованно Сарафанов и рассмеялся: — Скажи, пожалуйста!..

Дмитрий Степанович вынул из кармана часы, взглянул и, спохватившись, воскликнул встревоженно:

— Новый год стучится в двери! Надо успеть встретить его по всем правилам, с почетом.

— Туши костры! — скомандовал Алексей Кузьмич.

— Домой! Домой! — загремело по лесу.

Все поспешно начали швырять в костры комья снега, огни рассерженно зашипели, выбросили темные клубы дыма и потухли. И люди вдруг примолкли, объятые тьмой, елка растворилась во мраке, стало холоднее. В наступившей тишине звонко поскрипывал наст под

нечаянным движением лыж, да в отдалении что-то пощелкивало, потрескивало.

— «...Мороз-воевода дозором обходит владенья свои!» — продекламировал кто-то.

Илья Сарафанов сердито рывкнул, подражая деду Морозу:

— Освободить мои владенья! Живо!..

— Догоняй! — крикнул Алексей Кузьмич, оттолкнулся и исчез в темноте.

Минут через десять лыжники подкатили к даче, поставили лыжи к изгороди и, поджидая отставшего Дмитрия Степановича, отряхивались от снега. Учитель первым прошел в дом, за ним чередом двинулась молодежь, все разряженные, пахнущие морозом.

Еще из двери Антон, к удивлению своему, увидел Семиёнова. Иван Матвеевич в праздничном костюме, с пышно взбитыми волосами сидел поодаль от богато накрытого стола и беседовал с Савельевной.

Таня воскликнула в замешательстве:

— Иван Матвеевич! Как вы сюда попали?

Семиёнов встал, ответил, как всегда, с юмором:

— Вы намеревались скрыться, Татьяна Ивановна. Это вам не удастся. Быть сегодня без вас — это значит быть обреченным на одиночество в грядущем году. Нет, не представляю себя вне вашего и Елизаветы Дмитриевны общества. Мы войдем в Новый год рука об руку...

Люся радостно оживилась, встретив Семиёнова: пусть Антон лишней раз убедится, кого предпочитает Оленина, и перестанет заблуждаться!

— Здравствуйте, Иван Матвеевич! — сказала Люся. — Как хорошо, что вы приехали! С наступающим вас!..

Антон обездуривало то неотступное, хладнокровное и планомерное упорство, с которым добивался Семиёнов своей цели. «Надо положить этому конец, — решил он. — Поговорю с ним прямо, в открытую. Что ему надо от Тани? Пусть он оставит ее в покое! А если она не хочет, чтобы он оставил ее?..» Антон сурово, испытующе вглядывался в лицо Тани, сомнение тяжело и больно легло на сердце. Он замкнулся, ликование, которое грело его весь вечер, бесследно исчезло.

Володя Безводов предостерегающе шепнул ему на ухо:

— Держи себя в руках...

Но Антон не расслышал его. Он сидел за столом и молча пил вино. Шум развеселившихся товарищей доходил до него, как сквозь толстую перегородку.

— Теперь, когда мы закалены на огне, — говорил Алексей Кузьмич, — я уверен, что все задачи, какие бы ни встали перед нами, мы выполним с честью! За наши успехи, друзья!

Антон приподнял рюмку и встретился глазами с Таней. Она сидела напротив, рядом с Семиёновым, и неодобрительно щурилась: ей, видимо, неприятно было, что Антон дуется и все это видит.

— Позже, когда заиграл патефон и пары, толкаясь, начали танцевать на «пяточке» между столом и печкой, он отозвал Семиёнова в угол и спросил беззлобно, но требовательно:

— Что вы ходите за ней по пятам, Иван Матвеевич? Чего добиваетесь? — Голова Семиёнова откинулась, губы негодуя поджались. — Я про Таню Оленину... Отстаньте от нее, Иван Матвеевич, не пуждается она в вас, честное слово.

— Вы пьяны. — Семиёнов повернулся, чтобы отойти.

Антон задержал его:

— Погодите, я не все сказал...

— Вы уполномочены разговаривать со мной в таком тоне?

— Нет, но мне давно хотелось сказать вам это.

— Какая дикость! — возмущенно прошептал Семиёнов и пожал плечами; выдержав паузу, он спросил насмешливо: — Вы, что же, имеете на нее особые права?

— Хоть бы и так!

Семиёнов качнулся к нему всем телом и проговорил захлебывающимся шопотом:

— Я сделаю все, только бы она не оказалась с вами! Вы не достойны даже одного ее мизинца.

Внезапный голос Тани оборвал их спор:

— Это вы обо мне так разговариваете? — Она стояла перед ними прямая, разгневанная, побледневшая, руки комкали платок. — Как вам не стыдно! Я не вещь, чтобы делить меня или передавать друг другу. Это низко! — бросила она с горечью и скрылась за занавеску в другую комнату.

Антон сразу протрезвел: он понял, что произошло что-то непоправимое, рванулся было за Таней, но на пути встал Володя Безводов и не пустил.

Глава шестая

1

Перейдя в корпус легких молотов и распознав вкус самостоятельной работы, Гришоня Курёнков помирился с бригадой. Он простил Антону «измену» и теперь частенько навещался на старые места перекинуться словом с товарищами, подмигнуть Насте Дарьиной, загадать загадку Илье Сарафанову.

Тыча указательным пальцем нагревальщику в грудь, Гришоня надоедливо допытывался:

— «Что над нами вверх ногами»? Отгадай. — И знаками просил Настю молчать.

Илья озадаченно глядел на потолок — там густо зыбился дым — и напряженно думал.

— Тяжело, сердечный, мудрая загадочка, не скоро отопрешь, — иронизировал Гришоня. — А ведь это всего только муха, обыкновенная домашняя муха!..

— Муха? — неожиданно взревел Илья. — Что врешь! Какая муха может жить в таком дыму, погляди! Сам ты муха — липнешь со своими загадками!.. Не ходи больше к нам в бригаду!

Дома, возвратившись из школы и тотчас прыгнув в постель, Гришоня высовывал из-под одеяла беловолзую голову и донимал Антона:

— Ну скажи: достается тебе без меня?

— Достается, Гриша, — сознавался Антон, не отрываясь от книжки.

Казалось, ничего особенного не делал Гришоня в бригаде, а выбыл из строя — и образовалась прореха. Выработка бригады заметно снизилась, и Олег Дарьин злорадствовал. Указывая на Антона, он произносил углом рта, кидая слова через плечо:

— Если бы можно было, он всех разогнал, властвовал бы один.

Прошло недели две, пока бригада окончательно освоилась с новой расстановкой сил и постепенно достигла прежней нормы выработки, и Гришоня Курёнков од-

нажды перед сном с глубоким сожалением признался Антону:

— Оказывается, и в самом деле я почти три года был десятой спицей в колеснице, и никто не замечал... Оч-чень интересно!.. Погоди читать, послушай. Дарьин был уверен, что ты провалишься со своей затеей, не выгребешь. Завидует он. А что такое зависть? Атавизм. Злая кошка с зелеными глазами, которая вцепилась в человечесью душу и скребет ее когтями, терзает. И человек в эту минуту может пойти на любую пакость. Я лично давно расстался со своей кошечкой!..

— Расстался, а сам Жене Космачеву завидуешь, — поддразнил Антон.

Гришоня рассмеялся:

— Верно. Кошку-то я выбросил, а котенок остался — недоглядел. — Гришоня сел на кровати, расправил одеяло, на стене отразилась всклокоченная голова. — Как ты думаешь, Антон, догону я когда-нибудь Олега Дарьина?

— Хорошо поработаешь — догонишь, — отозвался Антон, загораживаясь книгой.

— А перегоню?

— Постараешься, так и перегонишь. Олег теперь не такая большая величина, чтобы на него равняться.

— Ну все-таки... Вот будет потеха! — засмеялся Гришоня и покрутил кудлатой головой в предвкушении будущей победы; тень на стене ожила, закачалась. — Гришоня Курёнков обставил Олега Дарьина, рекордсмена и светила! Оч-чень интересно! А ведь обставлю, вот увидишь: он уже воздух ртом хватает... Присмотрись-ка к нему.

Олег Дарьин действительно переживал кризис: нервное напряжение не покидало его; он все время морщился, точно и в самом деле душу царапала злая кошка. Олег видел, как другие бригадиры, набирая скорость, догоняли его, обгоняли, шли дальше — сообщая, сомкнутым строем. С тем, что его обогнал Карнилин, он скрепя сердце мирился: признавал за ним и силу, и сноровку, и находчивость. Но когда его, Олега Дарьина, превзошел молоденький комсомолец Женя Космачев, Олег растерялся. Давно ли стоял он особняком, на вершине, и люди цеха, завода смотрели на него с уважением и завистью? Давно ли его как новатора избирали в прези-

диумы торжественных заседаний? Давно ли его как лучшего кузнеца посылали на другие заводы для передачи опыта? Сколько городов объехал: Горький, Львов, Челябинск, Казань!.. Газеты именовали его не иначе, как зачинатель. Теперь замолчали, даже местная многотиражка ни разу не упомянула о нем. Портреты его повсюду снимали, а где остались — пожелтели от времени, позабытые; на досках, в табельной, у проходных повесили фотографии других, новеньких, — тоже мне кузнецы!.. Антон Карнилин занял его место. Ловок, ничего не скажешь! Начальство вокруг него прямо танцует.

Олег с тревогой оглядывался вокруг, отыскивая причину своих неудач. Он видел мелкие, раздражающие его неурядицы, обижался на товарищей, если вообще были они у него, винил их в том, что они, как ему казалось, покинули его, но, как все честолюбивые люди, он не замечал больших своих ошибок и огрехов.

Разъезжая по городам, по заводам, занятый собой, своими переживаниями, настроениями, увлечениями, Дарьин если не разлюбил совсем свой молот, то, во всяком случае, охладил к нему: после разного рода торжественных встреч, докладов, похвал ему было скучновато возле него, трудно, грязно. Огонек, с которым он всегда принимался за дело, постепенно угасал. Олег стал торопить дни. Ему казалось, что победа, достигнутая им однажды, незыблема. Можно дать себе волю, работать полегче.

Разлад в семье становился все глубже, отчуждение разъединяло его с женой все дальше. Олег считал Настю своей обузой, смотрел на нее, тихую, молчаливую и укоряющую, с неприязнью и сожалением. Как она не похожа на Марину! Прямо — небо и земля. Та красивая, сильная, смелая, а характер огненный какой-то, а глаза, а брови, а волосы!.. Разве перед ней устоишь, разве не потянешься к ней, разве до учебы тут! Какие, к черту, курсы мастеров! Все бросишь, побежишь к ней, только взглянуть бы на нее. А эта? Ну что в ней хорошего? Даже причесаться как следует не может. Некогда учиться. Тоже мне студентка!.. Смотрит на тебя и молчит — куда как интересно!

Больше всего Олега возмущали эти молчаливые, укоряющие и сочувствующие ее взгляды. Он их просто не выносил: знал, что она все понимает — и правду и

ложь. И, казалось, некуда было скрыться от этих взглядов.

Однажды, возвратясь домой поздно ночью и встретив осуждающий и какой-то скорбный Настин взгляд, Олег крикнул ей:

— Что ты на меня уставилась? Давно не видала? Эка невидаль! Лучше бы сказала что-нибудь, а то живешь, как воды в рот набрала. Рыба! — Он даже замахнулся на нее. Замахнулся — и сам испугался.

Настя как будто преобразилась: точно вся обида, накопленная в ней за годы совместной жизни, вылилась наружу. Глаза ее расширились, губы побелели, платок скользнул с затылка на плечи.

— Только тронь... — прошептала она сквозь зубы. — Я тогда... Я не знаю, что с тобой сделаю... Убью!.. — И подалась к нему, сжав кулаки. — Ты на кого замахиваешься?.. Ах, ты!.. Я тебе что, кухарка?.. Подлец!

В первую минуту Олег опешил, — он не узнавал своей жены; боясь что с шопота она перейдет на крик, поднимет все общежитие и тогда не избежать скандала, он рванул занавеску и пошел между рядами коек на улицу, рассерженно шепча: «Я тебе дам «подлеца»!.. Я тебе покажу, как со мной разговаривать!..»

В цехе он часто придирался к нагревальщику, к пресовщице, косил в их сторону злым глазом — это они связывают ему руки; поссорившись с нагревальщиком, потребовал его замены. Но с новым человеком работа бригады пошла еще хуже, медленнее. Затем он решил, что ему подсунули каверзную деталь, да и молот тоже не из лучших — дрессельная заслонка открывается туго, нога устает от педали, — и стал добиваться более простой поковки или перевода на другой молот.

Однажды, выслушав требования Дарьина, Василий Тимофеевич всплеснул руками.

— Вот беда: весь полк шагает не в ногу, один ты — в ногу! Все нехороши, один ты — святой. — Недовольно поморщился и ткнул пальцем в пол, под ноги себе. — Ты гляди, парень, в корень. Может, ты самый и есть во всем виноватый.

— Начальство разберется, кто правый, кто виноватый, — сказал Дарьин резко. — Только я знаю, что раньше вы в моей бригаде дневали и ночевали — хорош

был, а теперь стороной обходите — нехорош. На черную страницу занесли.

Самылкин вынул из нагрудного кармана халата засаленную книжечку, взмахнув ею, подтвердил:

— Верно, раньше ты был на хорошем месте. — За-молчал и пояснил: — Я — старший мастер, милый человек, а не лекарь. Мне учить тебя нечему — ты не новичок. У меня других ребятшек много, кому надо показать, кому подсказать. А тебя, видно, лечить надо. У тебя, гляди, парень, самолюбие взъерошилось, как щетина на волчьем хребте, приладить ее надо, горячим утюгом провести разок... Но я на это не спец. Обратись к Володе Беззодову, а еще лучше к Фирсонову, они тебя приглядят...

— Мое самолюбие останется при мне, пусть оно вас не тревожит, — кратко сказал Дарьин.

— А коли так, то тебе никакой молот не поможет, куда ни поставь. — Василий Тимофеевич посмотрел на Дарьина подобранными глазами и сказал вдруг по-отечески просто, дружелюбно: — А иди-ка ты, парень, в цех, к людям, да приглядишься к товарищам своим, как они куют. Пойди к Карнилину. Ты, я знаю, его не подпускал к себе, когда он учился, а он тебе все отдаст, только бери.

Старший мастер еще более разбередил остро саднившую рану. Олег ревниво охранял свои знания, накопленный им опыт. Идти на поклон к другому он считал уделом слабых. У него была одна возможность стронуться с мертвой точки — курсы мастеров. Но увлечение Мариной Барохтой заставило его забросить курсы, хотя дома перед уходом на свидания он продолжал говорить Гасте, что идет учиться.

Полное поражение Дарьин потерпел в конце зимы.

Цех из месяца в месяц выполнял программу и решительно выходил на первое место среди заготовительных цехов завода.

Комсомольская организация подводила итоги длительному и упорному соревнованию молодежных бригад. На комсомольское бюро были вызваны бригадиры-кузнецы и нагревальщики.

Заседание вела Таня Оленина, заместитель комсорга, — Володя Беззодов был болен. Она сидела за столом прямо, неподкупно строгая, даже властная, не по-

хожая на себя, и Антон глядел на нее удивленно, не узнавая в ней прежней Тани.

Вместе со своим учителем Полутениным Антон надежно утвердился на первом месте в кузнице и сейчас был главным предметом спора.

— Карнилин родился в рубашке — так моя бабка говорила про счастливцев, — шуливо сказал Женя Космачев, указывая на Антона. — Его куда ни поставь, — все равно ему повезет, так уж на роду написано.

— Бабушкины сказки! — оберегая авторитет своего бывшего бригадира, сказал Гришоня из-за плеча Сарафанова.

Дарьин уничтожающе покосился на него, презрительно фыркнул и скептически, с расстановкой выговорил:

— Рубашка на нем есть, это верно. Только он собрал на нее, как говорится, с миру по нитке.

Олег сидел у раскрытого окна, изредка взглядывал на яркую зелень аллеи.

— На что намекаешь? — спросил Сарафанов недружелюбно. — Не вилай, топай напрямки...

— У Карнилина своего, оригинального опыта, своих приемов нет, — пояснил Дарьин отчетливо. — Он, как нищий, ходил по кузнице, по бригадам и побирался: кто что подаст. Его успех по кусочкам собран — ткни его, он и рассыплется...

— Уж не ты ли ему подавал? — крикнул Гришоня насмешливо. — Благодетель нашелся, гляди-ка! От тебя дождешься... Но теперь нам наплевать на тебя!..

Таня, привстав, строго поглядела на Гришоню через плечо Ильи Сарафанова, предупредила:

— Курёнков, умерь свой пыл. Хочешь говорить, прося слова. Продолжай, Дарьин.

— И еще заметьте, — сказал Олег, — Карнилину выращивали, как выращивают садовники подопытное дерево: ему и удобрения, и прививки, и поливка... Вокруг него целый хорювод — и мастера, и технологи, и наладчики, и комсорг с парторгом. Тут уж не умеешь плясать, да запляшешь.

Гришоня вскочил и, перегнувшись через плечо Ильи, крикнул Дарьину:

— А с тобой мало носились? Забыл? Завидуешь!

— Помолчи, Курёнков, — опять одернула его Таня. — Дисциплины не знаешь?.. — Красные разводы румянца

на щеках Тани выдавали ее волнение. Повернувшись к Дарьину, она спросила негромко, но настойчиво: — Может быть, ты разъяснишь то, что сказал?

— Я хочу сказать, что каждый из нас, кузнецов, кому отваяют столько же внимания, сколько получает Карнилин, достигнет тех же успехов, а может, даже и больших.

Выдержав паузу, дождавшись тишины, Таня спросила, испытующе глядя на Олега:

— Ты считаешь, что тебе мало уделяют внимания?

— Да, мало.

— Ерунда, — перекрыл всех зычный сипловатый голос Сарафанова. — Ручки нам целовать, что ли?

— Просто стечение обстоятельств, — воскликнул Рыжухин. — Попал на волну, вот и подбросило на гребень.

— Опять ерунда, — еще громче возразил Сарафанов. — Штамповать надо, как Антон, изо всех сил, да коробочку эту, — средним пальцем он постучал себя по виску, — надо иметь посветлее, соображать что к чему, тогда и первое место очутится под руками — занимай! Правильно я говорю, Фома Прохорович?

Антон сидел в углу, возле радиолы, и следил, как Сидор Лоза рисовал на листке блокнота смешные рожицы. На вопрос Рыжухина он услышал глуховатый голос Фомы Прохоровича Полутенина:

— Ты что молчишь, Антон? О тебе говорят, объясни товарищам: твои дела — не секрет.

Антон поднял голову и вопросительно взглянул на Танию; она кивнула ему головой:

— Говорите, Карнилин.

— Дарьин прав, конечно, — сказал Антон, — я действительно ходил по бригадам, собирал то, чего у меня не хватало. — Он встал, повернулся к Дарьину и проговорил резко: — Только ты врешь, Дарьин: я ходил по цеху, но не как нищий, — рабочий человек никогда не был и не будет нищим! Я ходил как член коллектива, как ученик этого коллектива. Я и к тебе обращался за помощью. Только ты оказался кулаком, фордом каким-то, чорт бы тебя побрал!..

Комсомолы примолкли, всполошенно переглядывались. Скрывая улыбку, Таня предостерегающе постучала по столу карандашом:

— Выражайтесь осторожней, Карнилин.

Антон виновато взглянул на Танию, как бы извиняясь, и уже спокойнее прибавил:

— Сказать по правде, Дарьин, не люблю я тебя, честное слово. Еще когда в ремесленном училище, не нравилась мне твоя фанаберия, фырканье твое. Сам ты вырос, и спесь твоя разрослась — дальше некуда!

Дарьин тоже встал, сказал с неприязнью:

— А ты думаешь, я тебя обожаю?

— Сядьте! — приказала Таня, чувствуя, что спор грозит перейти в ссору. — Садитесь, остыньте! Иначе я закрою заседание бюро.

— Чего ты останавливаешь? — крикнул ей Гришоня. — Пусть выскажутся. Нам очень интересно послушать!

Дарьин сел, Антон дождался тишины и продолжал, обращаясь к Олегу:

— Я не перестану ходить по бригадам и учиться у товарищей. А все свое, хорошее, буду отдавать другим, в том числе и тебе, если ты этого пожелаешь. Потому что тут дело идет о государственной продукции, о деталях машин. А они безразличны к моему или моему характеру и к нашим с тобой отношениям.

— Не льсти себя надеждой: учиться к тебе не приду.

— Знаю, что не придеешь, — точно с сожалением ответил Антон. — И захочешь, да не придеешь: фанаберия не пустит. Поэтому ты и стоишь на десятом месте, сзади тебя только двое — Курёнков да Грачев. И те — новички по сравнению с тобой. — Повернувшись к Тане, Антон предложил: — Вот давайте и спросим Дарьина, почему он очутился на десятом месте?

— Потому же, почему ты вышел в передовые, — живо откликнулся Дарьин, чтобы избежать последующих вопросов. — Я об этом уже сказал.

— Пусть объяснит, почему бросил курсы мастеров, — выкрикнул Гришоня. — Заодно пусть расскажет и о своей жене...

Последние слова заставили Олега вскочить:

— Не лезь!

— Не кричи, не испугались, — отмахнулся Сарафанов. — Твоя жена — член нашей бригады, она часто плачет, мы видим это...

— Расскажи про свои амурные дела с Барохтой, — попросил Гришоня не без ехидства.

— Барохту я знаю, — вмешался Антон. — Разбить чужую семью для нее ничего не стоит. Она считает это как бы делом чести. Поэтому я предлагаю просить комсомольскую организацию механического цеха обсудить ее поведение.

Дарьин молчал, только вздрагивающие ноздри выдавали его крайнее напряжение. Таня подождала немного, потом спросила Олега:

— Ты знаешь, что такое мертвая точка? Так вот, сейчас ты стоишь на ней. Почему ты бросил курсы мастеров?

— Бросил, потому что бросил... — сквозь стиснутые зубы процедил Дарьин. — Трудно учиться, со временем неувязка.

— А мне, думаешь, легко? — откликнулся Сарафанов и шумно вздохнул. — Для меня учеба — дорога ухабистая, в колдобинах и рытвинах. А я все равно тяну, брат...

— У нас многие учатся, это факт, — подтвердил Гришона и добавил намекаяще: — У Дарьина, должно быть, другая трудность.

И Олега прорвало. Краснея и жестикулируя, он яростно стал выкрикивать беспорядочные слова:

— Надоели мне ваши вопросы, ваши намеки! Что вы лезете ко мне в душу? Учеба, учеба... Кто хочет учиться — учись, не хочет — живи так, работай! Я работаю и не приставайте ко мне со своими расспросами.

— Позволь, Олег...

— Не хочу! — прервал он и топнул. — К чертовой матери всех! — расталкивая сидящих, он устремился к выходу, сильно хлопнул дверью, вызвав в комнате вихрь негодующих возгласов:

— Вот это распалился!

— Оч-чень интересно!

— Обсудить его немедленно!..

— Исключить из комсомола, и все тут!

— Вернуть и устроить головомойку, чтоб всю жизнь помнил...

— Сам придет, — сказала Таня и подняла руку, призывая к порядку. — Тише. Успокойтесь.

— Зачем спешить с решениями? — сказал Фома Прохорович. — Погодите. Куда он от вас уйдет? Никуда. Вернется. Вот ветерком его обдует, кураж из головы вы-

ветрится, и придет. Тогда вы и поговорите с ним терпеливо, по-дружески...

— Так он вам и вернется, так и выложит! — выскочил Гришона со своим словом. — Ждите, Фома Прохорович! Вы еще мало знаете этого субъекта, а я его до тонкостей изучил; он сейчас только коготки показал, покажет и клыки...

Дарьин не вернулся. И Сарафанов заключил с несвойственным ему глубокомыслием:

— Да, с такими людьми о коммунизме и не мечтай. Кузнецу передовой не сделаешь! Разве что на скачках играть...

2

Проходя по заводу, Антон часто замечал, как над воротами какого-нибудь цеха вдруг появлялась надпись, выведенная, пожалуй, уж слишком крупными, кричащими буквами: передовой цех. Эта надпись как бы заявляла всем с гордостью о дружной рабочей семье, о высокой культуре труда, о мастерстве и изобретательности. И у Антона всегда рождалась мальчишеская ревность, зависть. Конечно, кузница не какой-то механический или сборочный, где чистота, как в фойе Дворца культуры, и за людей многое выполняет машина — стой у конвейера и делай, что тебе положено. В кузнице работа другая, тяжелая, — белоручки туда не суйся, — и народ там особый, суровый, и текучесть рабочих большая. Но чем настоячивей и упорней борьба, тем значительней и радостней победа.

Антон с улыбкой вспоминал слова Тани. Как-то раз она провожала его до школы; они говорили об обязанностях человека в обществе, об учебе, о подвиге, который должен совершить каждый, коснулись судьбы Антона.

— И вообще пора вам привыкать мыслить широко, по-государственному, как сейчас принято выражаться, — сказала Таня с мягкой улыбкой.

— Легко сказать — по-государственному! — возразил Антон, волнуясь, и напряженно хрустнул сцепленными пальцами. — С чего начать, куда направить силы, — вот вопрос. Это надо ясно видеть.

— Найдутся люди — укажут, — ответила она.

Эх, придумать бы что-нибудь такое, что повлияло бы на работу кузницы и поставило бы ее в ряд передовых

цехов! Но придумать ничего не мог, как ни старался. Трудненько, видно, мыслить по-государственному-то!..

Однажды Антон с Гришоней проспали и неумытые побежали на работу, завтракая на ходу. Февральское утро было студеное, ветер забивал ушицы снегом, снег скрипел под ногами, — дворники не успевали счищать его с тротуаров. Возле завода Антон не утерпел и встал в очередь за газетой; Гришоня, ныряя в проходную, насмешливо крикнул ему:

— Зря время теряешь: таблицу не ищи, розыгрыш ждем через неделю!

Антон взял газету и, боком проскользнув мимо вахтера, развернул ее: корейские солдаты и китайские добровольцы вели ожесточенные бои с американскими войсками; английские оккупанты в Египте расстреливали мирное население, применяя против женщин и детей танки, пулеметы, полевую артиллерию и реактивные самолеты; в Италии воды реки По, прорвав дамбы в верховьях, ринулись в долину, затопляя возделанные поля, разрушая жилища, неся гибель десяткам тысяч людей; созданные коммунистами народные комитеты спасали население от смерти и голода; бойцы Народной армии Вьетнама успешно сражались с французскими колонизаторами. В самых отдаленных уголках мира люди труда вступали в борьбу с поработителями.

Антон перевернул страницу, тут была жизнь иного мира: очерки и корреспонденции рассказывали о доблести и подвигах молодых строителей электростанций; спортивные общества готовились к летнему сезону; по вечерам рабочая молодежь садилась за парты школ и институтов; труженики переселялись в новые, светлые жилища...

Привлек внимание крупный заголовок: «Дадим Родине больше металла!» Это сказали сталинградские комсомольцы сталевары. Призыв подхватили молодые металлурги Москвы, Урала, Днепропетровска, Запорожья... Идея этого движения была сформулирована ясно и отчетливо: чем больше металла, тем могущественнее Родина и тем прочнее и длительнее мир на земле.

«Вот могут же люди придумать большое, полезное! — подумал Антон, шагая через рельсы к цеху. — А ведь и у нас есть что-нибудь такое — не может не быть! — лежит рядом, а не разглядишь, не догадаешься...»

Штампая детали, Антон вновь и вновь возвращался к мысли о начинании металлургов и все настойчивее чувствовал, что он тоже причастен к этому делу. В перерыв, когда печь загружалась свежими заготовками, Илья Сафранов, видя своего бригадира сурово углубленным во что-то, спросил:

— О чем задумался?

Антон неопределенно пожал плечами. Весь день он чувствовал себя связанным чем-то, выглядел озабоченным, смирным, в разговорах все больше отмалчивался, а глаза, большие и думающие, как бы обращены были внутрь себя. И Люся Костромина, наблюдавшая за ним, забеспокоилась: уж не заболел ли он?

— Вы плохо себя чувствуете? — спросила она пододвигая.

Он удивился такому вопросу, улыбнулся и отрицательно покачал головой.

Иногда Антон ощущал в себе это непонятное беспокойство, что-то вертелось в голове, бесформенное, но важное, необходимое ему, а осмыслить не мог. Он не в силах был отделаться от мысли о сталинградских металлургах, и это его раздражало. «Дались они мне, эти металлурги! — ругал он себя, вышагивая по комнате из угла в угол. — Обещают дать больше металла, ну и хорошо, и спасибо им. Меньше будем простаивать. А то, бывает, стоишь по полдня — стали нет».

Гришоня оторвался от учебника, проворчал:

— Что ты, нанялся мерить комнату? И вот маячит перед глазами! Надоел.

Антон покорно сел на койку, но тут же поднялся опять и зашагал.

На другой день, в коротенькую передышку, он присел на груды сырых и холодных заготовок; взгляд его был прикован к валявшейся у ног болванке, короткой и увесистой, с синеватыми торцами. Издалека пришел сюда этот металл. Антон представил его в виде бесформенных крупинок, перемешанных с породой; геологи и изыскатели определяли месторождение руды; рудокопы спускались в глубокие недра, добывали ее, поднимали наверх. Перед взором Антона возникали гигантские печи, огненные реки назринувшегося в ковши металла и молодые доменники, создающие эти грозные реки; ему слышался грохот мчащихся эшелонов с ценнейшим грузом...

Антон и себя, штамповщика деталей, включил в эту живую цепь создателей, и токарей механического цеха, и сборщиков на конвейере, и тех водителей, которые ведут грузовики с породой из котлованов...

Сколько человеческих судеб объединяет в себе этот кусок стали, сколько вмещает физических сил и умственной энергии!.. Как же надо беречь этот драгоценный материал!

И то, что мучило его эти сутки, определилось. Неясная, ускользнувшая от него мысль вдруг стала четкой и ясной: «Надо идти навстречу металлургам. Надо экономить этот металл, каждый грамм!..»

Обрушивая «бабу» на вязкую и белую от накала сталь, Антон соображал и подсчитывал с лихорадочной быстротой: несколько граммов экономии на каждой детали каждым кузнецом. Граммы складывались в килограммы, в тонны, в десятки тонн... Они чудодейственно превращались в новые поковки, в детали, в узлы... И воображение уже неудержимо рисовало обширную и желанную картину: площадь заводского двора заставлена новыми машинами, грузовиками, самосвалами, лакированными легковыми автомобилями, комфортабельными автобусами. Колонны их с ревом выходят из ворот и растекаются по дорогам во все концы земли...

Антон с трудом дождался конца смены и, как только прозвучал сигнал, помчался к Володе Безводову. Столкнувшись с ним на лестнице, он спросил:

— Ты домой? Погоди... — Повернул его, увлек в комнату комсомольского бюро. — Запри дверь!

— Что ты шальной какой? В чем дело? — непонимающе спросил Володя, огорошенный его натиском.

— Садись, слушай, — командовал Антон, с силой пригибая Володю к скамейке. — Читал вчера призыв сталинградских сталеваров?

— Ну, читал...

— Дело, которое они начали, касается и нас. И мы должны поддержать их.

— Каким образом? — спросил Володя с некоторым недоверием — он еще не понимал, что тот задумал.

Антон заволовался:

— Пойдем к ним навстречу: объявим поход за экономию металла на каждом изделии. И поход этот возглавим мы, кузницы-комсомольцы! Я знаю, я убежден,

что вопрос этот очень важен для нашего цеха. — Антон следил за Безводовым неуверенным и как будто умоляющим взглядом: поймет ли его Володя? — За нами пойдут, честное слово!.. Вся заводская молодежь пойдет!..

— Ну, ну? — сказал Безводов, взглядом поощряя кузнеца.

По мере того как Антон высказывал свои соображения, цифры, лицо Володи все более расцветало, воодушевлялось, он уже не мог спокойно сидеть, а ходил, ускаляя шаг, от стола к двери, ероша волосы.

— Погоди, Антон! Дай очухаться... Ты говоришь экономить... А на чем?

— Найдем на чем, — сказал Антон. — Ты думаешь, все у нас уже решено окончательно, ничего нельзя пересмотреть? Пусть каждый подумает. Вот у меня, например, остается от поковки кусок граммов на восемьсот, он идет в отходы. А из него можно штамповать более мелкую деталь. Да мало ли на чем!..

— Так, правильно, — подтвердил Володя; он был очень серьезен, сосредоточен. — Это здорово, Антон! Здорово и своевременно! Только ты мелко берешь. Тут не одной кузницей пахнет и даже не заводом. Надо захватывать шире!..

— Я же и говорю, — начал было Антон, радуясь тому, что вызвал в товарище такое сочувствие. Володя прервал его:

— Молчи! Молчи, Антон. Ни слова больше... Я все понял. У тебя сегодня уроков нет? Зайдем к Алексею Кузьмичу.

В партбюро Карнилин и Безводов застали, кроме Фирсонова, Ивана Матвеевича Семиёнова и Таню; склонившись над столом, они рассматривали какой-то чертеж.

— Разрешите, Алексей Кузьмич, — попросил Володя, вступая в комнату.

Головы всех троих приподнялись.

— Что у вас? — спросил Фирсонов.

Володя Безводов широким жестом указал на Антона и громко, с восторгом объявил:

— Расступись — кузнецы пошли!

Антон смущенно потупил взгляд. Таня глядела на него с нежностью. Семиёнов перехватил этот взгляд и подумал с завистью, оглядывая Антона: «Что-нибудь придумал. Вот такие и нравятся женщинам, жадные, с жа-

ром, с захватом, — что-то придумывают, выскивают... А все-таки это невероятно!..» Он ткнул окурком в пепельницу, спросил:

— Судя по вашим взволнованным лицам, догадываюсь, что пришли к Алексею Кузьмичу по срочному делу?

— Вы угадали, Иван Матвеевич, — задорно отчеканил Володя.

— Опять какая-нибудь проблема государственной важности? — снисходительно улыбнулся Семиёнов.

— Вот именно, проблема!

— Правда, что-нибудь серьезное, Володя? — спросила Таня.

— Очень серьезное.

— Ну что у вас? Выкладываете, если не секрет, — сказал Алексей Кузьмич. — Да покороче.

— Покороче нельзя.

Перебивая и дополняя друг друга, Антон и Володя начали излагать ему суть дела.

Фирсонов молчал, старательно посасывая свою трубку. Семиёнов скептически рассмеялся, стукнув себя ладонью по колену:

— Удивительно! Приходится поражаться такому вольному обращению с людьми... Мы никак не можем допустить, чтобы человек находился в состоянии душевного и физического покоя: обязательно надо его взвинтить, взбудоражить... Не то, так другое!

Алексей Кузьмич строго и вопросительно взглянул на Семиёнова, а тот поспешно вынул сигарету, закурил и, пуская дымок, разъяснил:

— Разве у нас не проводится экономия металла? Только происходит это спокойно, планомерно, без ажиотажа. И ведь часто так, и не только у нас, а вообще: живут, работают люди тихо, спокойно, то есть нормально. Вдруг одному какому-нибудь человеку взбредет в голову — не знаю, из каких побуждений, — пустить по цеху этакий вихрь, понаделать шуму. Глядишь, и газеты заpestрели заметками, громкими заголовками. Выявятся два-три героя, их объявят зачинателями борьбы — все равно какой, за что: в данном случае за экономию металла. А металла сколько было, столько и осталось, а если и прибавилось, так это капля в море. Да и вообще... Это все равно, что прокутить в ресторане сотни рублей.

а дома экономить на спичках, — закончил Семиёнов; и трудно было разобрать, всерьез он высказывал свои убеждения или шутил ради оригинальности, с желанием вызвать возражения, спор.

Антон сердито наклонил голову: неприязнь к Семиёнову охватила его сильнее; он просунул за воротник два пальца, ослабил галстук, туго давивший шею, и недружелюбно процедил:

— Тысячи тонн — не спички... Сколько я вас знаю, вы всегда стоите в позе взыскательного судьи: все осудить, все осмеять, зачеркнуть.

Алексей Кузьмич рассмеялся:

— Это верно! Ивана Матвеевича хлебом не корми, а дай встать поперек — таков уж склад его ума: сомнение прежде него родилось. — Он положил перед собой трубку чубуком на край пепельницы, встал, прошелся к шкафу. — Мы сэкономили металл, Иван Матвеевич, но делали это кустарно, вразброд, как бог на душу положит. Теперь мы пойдем в поход организованно, развернутым строем и общими силами: рабочие, мастера, технологи и вы, конструкторы. Я еще не уяснил себе окончательно, что все это может значить для нас, но чувствую за этим что-то огромное и важное для нашей кузницы. Ребята поднимают глубокий пласт. Правильно, Таня? — Таня молча кивнула. — А ты, Иван Матвеевич, этого не понимаешь.

— Как не понять? — тихо обронил Семиёнов и прибавил, точно дразня Антона: — Однажды из окна вагона я видел, как пионеры собирают в поле колоски — идут по стерне тоже развернутым строем. Однако урожай определяется не пионерскими колосками, а работой зерновых агрегатов.

— Вот ты и смотришь на жизнь из окна вагона: и тебе все кажется в уменьшенном виде, искаженным. И иронизируешь ты потому, что тебя производственные вопросы никогда не касались, как, скажем, Безводова или Карнилина.

— Возражаю! — сказал Иван Матвеевич. — Тут ты не прав. Если бы я не интересовался делами кузницы, меня не избирали бы в цехком. А я четвертый год бесменный попечитель рабочих по бытовой линии. Не жалуются, а благодарят. Скоро лето, и опять начнутся хлю-

поты, беготня: одному подлечиться надо, другому отдохнуть, третьему деньжонок подкинуть, четвертому бесплатную путевку достать...

— Благодарят, говоришь? — сказал Алексей Кузьмич. — Что ж, это хорошо, если благодарят. Теперь мы взвалим на тебя еще и обязанности начальника штаба, который будет возглавлять движение за экономию: тогда послушаем, как ты запоешь...

— Правильно! — подтвердил Володя. — Пусть испытает на себе...

Алексей Кузьмич был уверен, что сомнительные улыбочки Семиёнова, ироническое отношение его ко всему, загадочное пожимание плечами — все это наносное, поверхностное, нечто вроде стиля не слишком высокого вкуса, а в существе своем это человек серьезный, неглупый и исполнительный. И приобщить его к коллективу можно только большим, общественно важным делом.

Польщенный неожиданным вниманием, Иван Матвеевич как-то осанисто выпрямил спину и, важничая, пообещал:

— Ну что ж, я подумаю...

Привалившись плечом к дверцам шкафа, прищурясь, Алексей Кузьмич сквозь редкий дымок трубки наблюдал за Антоном; тот сидел на табурете, угнетенно молчал, недовольный тем, что в новое дело замешивается Семиёнов, глубоко неприятный ему. На глазах Фирсонова вырос талант этого человека, неузнаваемо преобразив его. А ведь в душу каждого заронена искра дарования. Часто искра эта превращается в пламя; оно жарко и радостно обнимает жизнь человека, делая ее высокой, значительной и прекрасной. Раскрывать внутреннюю человеческую красоту — не самая ли это благородная задача для таких людей, как он, парторг цеха? Вот и сейчас этот парень пришел именно к нему со своими замыслами и ждет от него сочувствия и поощрения. Алексей Кузьмич пододвинул стул, сел рядом с Антоном, отвернув лицо, выпустил в сторону дым и спросил:

— Ты уверен, что молодежь пойдет за тобой?

— Еще бы! — вскинулся кузнец. — Это каждого касается. Как же они не откликнутся?

— Конечно, откликнутся, — горячо поддержала Татьяна. — Что вы, не знаете наших комсомольцев?

— Тогда действуйте, — решительно одобрил Алексей Кузьмич. — Чем больше соберете вокруг себя людей, тем лучше. Вот и перед тобой, Татьяна, открывается широкое поле деятельности. — И прибавил, подумав: — Очень прошу не забывать еще про одного хорошего штамповщика.

— Олега Дарьина? — буркнул Антон хмурясь. — А ну его!.. Обойдемся без него. Посмотрели бы, как он вел себя на комсомольском бюро...

— А жаль, — сказал Алексей Кузьмич с некоторым разочарованием. — Штамповщик он был отличный.

— Был! — воскликнул Антон. — Мало ли кто каким был. А вот кем стал... — Взглянул на Фирсонова и согласился с неохотой: — Спросим его. Но уговаривать не станем. Надоел он нам со своими капризами.

— Мы хотим, чтобы у нас были крепкие тылы, Алексей Кузьмич, — сказал Володя. — Хотим заручиться поддержкой партийной организации и вообще начальства.

Алексей Кузьмич весело рассмеялся:

— Вот тебе раз! Первый раз слышу, чтобы партийную организацию зачисляли в тылы.

Володя смущенно отбросил назад волосы:

— Я не то хотел сказать. Не так выразился.

— Ничего, ничего, — успокоил парторг. — Можете смело идти в наступление, тылы вам будут обеспечены. Я сейчас пойду к Леониду Гордеевичу и скажу ему об этом. Вот будет рад!.. А вы действуйте. Не забудьте зайти в комитет комсомола.

Антон и Володя вышли.

Через час зайдя к Давыдову, они до самой ночи обсуждали этот вопрос, сознавая всю его важность и необходимость. Затем Давыдов позвонил секретарю ЦК комсомола, кратко изложив ему суть предложения Карнилина. Потом замолчал, внимательно и неподвижно слушая ответ. Антон с Володей тоже замерли в напряженных позах ожидания и надежды.

Положив, наконец, трубку, Давыдов сказал:

— Семафор открыт, ребята. Борьба за экономию металла должна быть главной в жизни комсомольской организации нашего завода.

На следующий день в обеденный перерыв в комнате Володи Безводова собрались члены бюро и бригадиры молодежных бригад.

Как всегда, среди них находился Фома Прохорович Полутенин. Заглянул и Алексей Кузьмич. Позже всех, рывком распахнув дверь, вошел Леонид Гордеевич Костромин, поставил ногу на табурет, оперся локтем о колено, проговорил отрывисто и возбужденно:

— Слышал! Все знаю, ребята. Согласен с вами и одобряю! — Сел и уже тише, ласково и как будто немного удивленно произнес: — Ах вы, соколики мои!.. Вы представляете, что значит ваше начало? Это не только тонны металла, не-ет! Мы вызовем к жизни еще не разбуженные творческие возможности: рационализаторство, механизацию, сократим брак! Сегодня мы стоим на одной ступеньке, а завтра подыдемся на другую, выше. — Удовлетворенно потеревил бороду, обратился к Володе: — С чего думаете начать?

— Группа наших кузнецов — Карнилин, Рыжухин, Званко — написала письмо в многотиражку с призывом ко всей заводской молодежи включиться в борьбу за экономию металла. Обязательства они взяли такие: Карнилин — восемьдесят тонн в год, Рыжухин — сто двадцать пять, Званко — пятьдесят.

— Молодцы! — прошептал Костромин и с изумлением обратился к Алексею Кузьмичу и Фоме Прохоровичу: — Откуда берутся такие золотые ребята?

— Все из нашей кузницы, Леонид Гордеевич, — усмехнулся Фома Прохорович.

— Создали комплексную бригаду, пока только одну, для пробы, на участке Василия Тимофеевича Самылкина, — докладывал Володя. — В нее вошли трое штамповщиков с Карнилиным во главе, технолог Антипов, конструктор Оленина, сменный мастер Лоза. Вот пока все. Посмотрим, во что это выльется...

— Для начала неплохо, — поощрительно отметил Леонид Гордеевич. — И бригаду выбрали правильно. — И, уходя, в двери, держась за косяк, сказал парторгу: — А с тобой, Алексей Кузьмич, мы так договоримся: завтра, когда будет опубликовано письмо, соберем цеховую

партийную конференцию для обсуждения предложений комсомольцев.

Мимо начальника, поднырнув под руку его, юркнул в комнату Гришюня Курёнков взбудораженный, панически отчаянный, — с таким видом выбегают на перрон оставшие пассажиры с огурцами в пригоршнях и замечают лишь хвост умчавшегося поезда. Растерянно озираясь, Гришюня спросил:

— Уже подписали?

В ответ раздался внезапный и дружный хохот. Гришюня воинственно сунулся к Антону и упрекнул с презрением:

— Эх ты, друг тоже!.. Сам вперед вырвался, а приятеля бросаешь — прозябай в неизвестности... Оч-чень благородно! — Сняв кепочку, рукавом размазал по лицу грязь, заключил обиженно и жалобно: — Заперлись, конспирацию соблюдают... Я, может, тоже хочу подписать воззвание.

— Не я решаю — бюро, — оправдывался Антон, оглядываясь на Володю, как бы спрашивая у него подтверждения.

— А экономия у тебя есть? — спросил Володя Гришюню.

— Есть немного... Знаете ведь, какие детали штампу: с них не скоро наскребешь.

— Ладно, посмотрим, — успокоил его Володя. — Женя, найди и приведи Дарьина. Только быстро, а то перерыв кончится.

Космачев торопливо скрылся за дверью. Володя спросил собравшихся:

— Алексей Кузьмич просит вот включить в бригаду Дарьина. Как вы думаете, товарищи?

— Не много ли чести для него? — с сомнением откликнулся Сидор Лоза.

— Да, многовато, — обронил Антипов. — Пусть подтянется...

— А по-моему, ребята, надо включить, — подала голос Таня. — Понаблюдайте-ка за ним, присмотритесь — он вроде как спит, честное слово. Никогда не улыбнется, не заговорит. Надо его разбудить, заинтересовать, потому что... очень тяжело жить без интереса.

— Что вы его жалеете! — вмешался Гришоня. — Х-ха, нашли кого жалеть!.. Без интереса!.. Есть у него интересы, побольше, чем у нас с вами.

Володя неуверенно и вопросительно взглянул на Фому Прохоровича; тот сидел на своем месте, в уголке, облокотясь на колени, неторопливо курил и прислушивался.

— Таня правильно поняла Дарьина-то, — сказал он медлительно и с расстановкой. — Вы ругали его порядочно и за дело. Теперь, может, и похвалить пора, это важно — во-время поддержать человека... — Фома Прохорович встал, погасил окурок, сунул в спичечную коробку. — И не только к бригаде причислить, а дать ему подписать ваше обращение. Это должно подействовать на него, вроде ношу взвалит на плечи: хоть и тяжело, а понесет, самодлюбие не позволит сбросить. И Курёнков пусть подпишет...

— Вот спасибо, Фома Прохорович, один вы меня понимаете, — сказал Гришоня. — Я-то подпишу. А вот за Дарьина — сомневаюсь. Помяните мое слово — наломает он дров!.. Не от него все это пошло...

Космачев в это время ввел Дарьина. Олег остановился у двери и с любопытством оглядел присутствующих, искра в глазу вспыхнула остро и вызывающе, бугор на щеке чуть вздрагивал, выдавая напряжение кузнеца. Он ждал.

— Садись, Олег, — пригласил Безводов, но Дарьин не пошевелился. — Говори, Карнилин, — попросил Володя Антона.

— Ты слышал, Олег... мы тут дело одно затеяли.

— Слышал, — скупно разжал губы Дарьин.

— Так вот... может, ты примешь участие?... — Антон взял со стола листок с обращением и подал Дарьину. — Вот почитай.

Олег, не меняя выражения лица, пробежал взглядом написанное, губы тронула саркастическая усмешка; он вернул листок, настойчиво спросив:

— Что это — снисхождение, приманка или розыгрыш ради забавы? Вы же знаете, что экономии у меня нет.

— Ты сиротой не прикидывайся, несчастного и обездоленного из себя не строй! — повысил голос Безводов.

Дарьин вытянулся, как струна, спросил сухо и четко:

— Может, мне уйти, чтобы не вызывать в вас излишнюю нервозность?

— Фу ты, пропасть! До чего же занозистый характер, — воскликнул Фома Прохорович. — Прямо еж — везде иголки. Ну что ты стал штопором! Сядь! Сядь!.. — Дарьин присел на краешек табуретки и тут же встал, настороженный. — Товарищи говорят с тобой тихо, мирно, по-дружески, помощи твоей просят... потому что ты парень дельный и кузнец хороший...

— Спасибо, — бросил Дарьин.

— Газеты писали на весь союз, в кино показывали, — вставил Космачев.

— Писали, да перестали. Теперь о других пишут. — Олег пристально смотрел Антону в лицо, не скрывая вражды к нему. Вот она где кроется, причина его неудач, — в Карнилине. Помог ему выбраться в Москву, а он приехал и отпихнул его в сторону, нахал! Возмущение подступало к самому горлу.

— Что же ты молчишь? — спросил Антон грубовато. — Будешь ты подписывать обращение? Или ты хочешь, чтобы мы перед тобой на колени встали?

— На колени вставать вас никто не просит. Я сказал, что экономии у меня нет. И не предвидится.

— Зато есть голова на плечах, чтоб думать, — сказал Безводов.

Дарьин не слышал этого замечания; он, не спуская взгляда с Антона, отчеканил:

— Я своими подписями не швыряюсь. Я не верю в такое начинание. Это просто шумиха, не больше.

Антон знал этот высокомерный дарьинский тон. Вскочив, он рванулся к Дарьину, крикнул несдержанно, со злобой:

— А не веришь, так убирайся к чертям! Без тебя обойдемся! Уходи!..

Олег метнулся из комнаты, вылетел, позабыв закрыть дверь. Антон медленно сел.

— Ну и характерец!.. — вытирая лицо платком, проговорил Алексей Кузьмич не то про Дарьина, не то про Антона. — Я даже вспотел от волнения.

Гришоня засмеялся громко и с торжеством:

— А что я вам говорил?! К нему с голыми руками не суйся. Его надо брать клещами, как горячую болванку.

Алексей Кузьмич повернулся к Антону:

— Ты что же это?.. Разве так разговаривают с людьми? Надо было спокойно, мягко...

— Вот и разговаривайте с ним мягко, — прервал Антон. — А я не буду!

Сожаление, близкое к раскаянию, овладело Дарьиным, как только он очутился за дверью один. Он солгал, что не верил в успех этого начинания. Нет, он глубоко верил в него; он по собственному опыту знал, как люди с радостью подхватывают каждый свежий запев. Подхватят и этот, и не только на заводе, но, возможно, и по всей стране, и страдал от того, что не он явился запевалой, не он пойдет во главе движения. Надо было согласиться с ними, покориться на время. Но не смог он переломить себя: не позволяла гордость. И зря сказал он, что нет у него экономии, — есть, небольшая, но есть. А если поразмыслить как следует, то наберется и больше. Как долго он не думал о молоте, о поковках — голова занята другим... И дома все скверно: Настя дуется, уткнется в книгу и молчит. После той сцены опасно вступать с ней в пререкания. И Марина ведет себя как-то странно; в словах ее все чаще проскальзывает ирония по отношению к нему; а вчера он видел ее с Семиёновым, они стояли в метро, спрятавшись за колонну, и тот, все время озираясь, говорил ей что-то. Что ему надо от нее?.. Может, понравилась, красивая! Олег шел вдоль цеха, глядя в пол; он не слышал глухого буханья молотов, не видел искр, сыпавшихся ему под ноги. «Теперь к ним не подступиться, — с горечью думал он об Антоне и его друзьях. — Стороной будут обходить меня, как зачумленного. Чорт бы ее побрал, эту мою горячность! А ведь когда-то были друзьями... Хотя всегда мы глядели друг на друга критически, и соединял нас Володя Безводов; не будь его, мы бы и тогда, может, не дружили».

...Как просочившийся из глубины недр родник вдруг забьет студеной и чистой струей, живительные соки земли сольются в единый ручей, в него упадут другие воды и образуют реку; напоенная свежими весенними потоками

ми, она стремительно понесется вдаль, бурно кипит и пеняется, и вот уж, смотришь, вырвалась на простор и качит свои волны, богато украшенная сиянием в ночи и повитая синим маревом в знойный летний полдень, течет, тая в себе несокрушимую мощь, и ничем не остановить ее, — так и беспокойная мысль кузнеца увлекла сначала комсомольцев своего цеха, к ним присоединилась молодежь других цехов, других заводов — тысячи, сотни тысяч пытливых и пылких людей.

В заводской многотиражке было опубликовано обращение комсомольцев кузницы. Партком завода провел специальную конференцию. Молодых рабочих приветствовал Центральный Комитет комсомола, Московский комитет партии предложил директорам предприятий и секретарям парткомов поддержать это патриотическое движение. Центральный совет профессиональных союзов обязал профсоюзные организации изучить и распространить опыт новаторов. Газеты разнесли по стране весть о начавшейся борьбе за металл.

Заместитель министра Федосеев, придя в цех, остановился, как и в тот раз, в бригаде Карнилина. Он поотцовски поощрительно обнял Антона и спросил:

— Как наш молот, еще стучит?

— Стучит, товарищ Федосеев.

— Многих еще выведет в люди этот молот, — промолвил Федосеев тихо. — А за тебя я от души рад. Молодец! — Он расправил седые усы, улыбнулся, обращаясь к столпившимся вокруг него кузнецам, нагревальщикам. — Доволен я, ребята, что наша кузница попрежнему задает тон другим цехам, заводам, что новое начинание пошло в мир из ее ворот. Значит, люди ее не стоят на месте — растут, ищут... И мой совет вам такой: передавайте ваш опыт любыми путями и средствами, встречайтесь с людьми, выступайте в печати, читайте лекции, агитируйте... Выезжайте в другие города — мы пойдем вам навстречу. Слышишь, Карнилин? Ты почему хмуришься?

— Никуда я не поеду, товарищ Федосеев, — заявил Антон твердо и убежденно. — И на другие заводы не пойду.

— Почему? — удивленно спросил Федосеев и с недо-

умением взглянул на Костромина. Тот непонимающе пожал плечами.

— Мое дело — работать, а не гастролировать по городам, — разъяснил Антон. — Не такая уж это сложность, чтобы толковать каждому. Тут и так все ясно из газет. А в лекторы я не гожусь, — он застенчиво улыбнулся, — у молота я себя чувствую лучше. Часто отрываться от него вредно, у нас есть примеры...

— Дарьин, — не удержался Гришоня и приткнулся, скрываясь за Сарафанова: понял, что лишнее сболтнул.

— Потом мы сами еще учимся, — как бы оправдывался Антон, — и опыт у нас у самих...

— В эмбриональном состоянии, — опять подсказал Гришоня.

— Так что прикажите, товарищ Федосеев, не трогать нас, — попросил Антон. — А если к нам придут, выложим все, что знаем.

Федосеев задумался, глядя на кузнеца, согласился как будто с неохотой:

— Н-да... Просьба резонная. Я подумаю.

Но кузнецам все же пришлось посещать московские заводы, беседовать с рабочими. Принимали гостей и у себя, водили их по цеху, знакомили с первыми своими достижениями; а кое-кто выезжал и в другие города: Званко с технологом Антиповым — в Горький, Рыжухин с токарем-скоростником Баратовым — в Грузию. Антон наотрез отказался, как его ни уговаривали.

Таня Оленина прочитала в Политехническом музее лекцию: «Пути борьбы за снижение расхода металла на каждое изделие».

Никогда еще она не чувствовала себя такой счастливой за все время своей работы в кузнице: наконец-то нашла она свое место в цехе! Она гордилась тем, что стала необходимой для кузнецов, нагревальщиков, пресовщиков: умело и настойчиво прививала им вкус к изобретательству и поискам; комсомольцы без стеснения несли к ней свои догадки, соображения, искали у нее помощи и совета. И если в предложении заключался хоть проблеск новой и дельной мысли, Таня дополняла ее, углубляла. Она по-настоящему была увлечена.

С Антоном она виделась теперь часто: участковая комплексная бригада собиралась почти каждый день,

хоть и ненадолго. Ей нравилось, как он, рассматривая предложение, решительно отвергал или принимал его, хотя нередко и ошибался. Таня настораживалась только, когда среди них появлялась Люся Костромина. «Ох, немало еще неприятностей принесет мне эта девушка!» — думала Таня, украдкой разглядывая Люсю, хорошенькую и всегда веселую.

За две-три недели было подано столько предложений, сколько в другое время не подавалось за год.

Иван Матвеевич Семиёнов, возглавлявший общецеховую комплексную бригаду, опешил и растерялся под натиском взбудораженных, неожиданно смелых технических идей. Он никак не мог понять, откуда берутся у простых людей — кузнецов, нагревальщиков, мастеров — такие сложные, порой еще корявые, но интересные и глубокие мысли, комбинации, когда сам он, конструктор с немалым стажем, не мог придумать ничего путного и толкового, как ни старался. Приходилось только уточнять и разрабатывать темы других. Это озадачивало его и злило. В каждом новом слове он искал повода, чтобы придаться и отвергнуть его. Но отвергать приходилось редко: в бригаде, кроме него, были старший технолог Елизавета Дмитриевна Фирсонова, Василий Тимофеевич Самылкин, Фома Прохорович Полутенин, — спорить с ними Семиёнов боялся. Зато он умел тянуть. Принесет человек чертеж с описанием давно выношенной своей думы, Иван Матвеевич возьмет листок, строго поджав губы, взглянется в него, потом, подумав, произнесет сквозь зубы, взыскательно:

— Н-да... Напутали вы что-то... Не совсем понятно...

— Что же тут не понять? — пылко возразит автор. —

Смотрите...

— Не трудитесь, — остановит его Семиёнов, все более раздражаясь. Вот предложение этого парня примут, внедрят, выдадут гонорар, и имя автора появится на Доске почета. А он, Семиёнов, обязан разрабатывать и изменять штамп согласно этому чужому решению. — Не трудитесь, — повторит он, — я грамотный, и разберусь сам. Обсудим и дадим ответ.

Автор уходил, а Семиёнов прятал чертеж в нижний ящик стола и, не показывая членам бригады, ждал — не подаст ли кто другой предложения на ту же тему, чтобы столкнуть авторов лбами, а потом отклонить.

Однажды пришел к нему и Дарьин. Долго Олег стоял в стороне, долго крепился, стараясь быть равнодушным ко всему, что делали его сверстники и товарищи, — охвативший их порыв как бы не касался его. Он все ждал, что к нему придут, и не один кто-нибудь, а целая делегация, и будут упрашивать принять участие в этом большом мероприятии. Но к нему никто не приходил, его как будто и не замечали совсем. А он хотел попасть на Доску рационализаторов, хотел получить вознаграждение; он жаждал почета, мысль его работала напряженно, с лихорадочной быстротой. Вот он, его успех, его экономия под руками — бери, другие не видят, а он видит.

Семиёнов прочитал объяснение Дарьина и заволновался, долго мерил шагами небольшую комнату, делая вид, будто проникает в сущность его идеи. На самом деле душу Ивана Матвеевича остро и едко точила досада. Как он, наизусть знающий штамп этой детали, не мог осмыслить простую и в то же время оригинальную вещь: конец заготовки, захватываемый клещами — клещевина, которая равнялась почти самой детали, шла в отходы. Олег просил удлинить немного заготовку, и тогда из одной такой заготовки он будет ковать две детали: с одного конца и с другого. Это давало десятки тонн экономии стали в год. Почему же ему, Семиёнову, не пришло это в голову, и не сейчас, а года два-три назад? Ну, ладно, не пришло, так не пришло, проглядел. Что же делать сейчас? Может быть, надо восторгаться творческим успехом других, в данном случае успехом Олега Дарьина, как делает Алексей Кузьмич или Полутенин? Вот тут-то все его существо восстало против. Успехи других больно кололи его самолюбие и, как ему казалось, пагубно отражались на его собственных творческих возможностях. Тогда следовало бы отказать честно от обязанностей бригадира. Но этого он тоже не делал: ему льстило, что имя его уже несколько раз появлялось на страницах местной и центральной печати.

— Хорошо, Дарьин, мы разберем ваше предложение. — сказал он кузнецу и забросил предложение в нижний ящик стола.

А листки с чертежами, с краткими описаниями технических усовершенствований все поступали. Ивану Матвеевичу приходилось два раза в неделю созывать бригаду,

разбирать заявки, не упоминая о многих, наиболее эффективных. Он стал грубоват и нетерпелив, глаза его смотрели зло, сверляще и подозрительно, волосы над затылком, будто откинутые ветром, создавали впечатление отчаянной устремленности, а на вдавленных висках неожиданно засеребрились.

Олег Дарьин, встречаясь с ним, дерзко и требовательно справлялся:

— Разбирали мое предложение?

Один раз Семиёнов вспылил:

— Что ты пристал? Как будто у нас только одно твоё предложение! Месяца не прошло, а понесли уже больше сотни. Эпидемия какая-то... Каждый мнит себя великим изобретателем!

4

В просторном фойе Дворца культуры было полно народу. Обильный свет неоновых люстр, зеркальный блеск паркетных полов, танцы среди мраморных колонн, метель конфетти в дрожащих фиолетовых полосах прожекторов, взмахи надушенных платочков возле пылающих девичьих лиц, вспышки смеха, в распахнутые окна — потоки свежести майской ночи и музыка, звучащая вокруг, — все это сливалось воедино, опьяняло, создавало впечатление всеобщего торжества, которому, казалось, не будет конца.

Часом раньше Антон Карнилин сидел в президиуме собрания, посвященного присвоению кузнечному цеху звания передового и вручению ему переходящего Красного знамени. Теперь же, увлеченный Люсей Костроминной в самую гущу танцующих, он легко вальсировал, нетерпеливо поглядывая поверх голов в сторону лестницы: ждал Таню.

Люся старалась его заинтересовать. Придерживая длинное зеленое, все в блестках, платье, она не отрывала от его лица сощуренных, приподнятых к вискам глаз.

— Ну, заварили вы кашу!.. — проговорила она с ошарпительным смешком. — Ребята теперь ходят с блокнотами, карандашами, с видом мыслителей что-то чертят. Даже я заразилась... И я думаю сделаться изобретателем — вот возьму и совершу техническую революцию в кузнице!

Антон ответил ей великодушной усмешкой; сильный и добрый, он не таил в себе обиды на нее, она как-то по-своему даже нравилась ему.

— Какая у вас теперь цель на очереди? — поинтересовалась Люся.

— Думал освободиться от вас... — начал он, но девушка, перебивая его, воскликнула с оттенком горькой иронии:

— Значит меняете милую девушку Люсю на клеймо! И вам не жалко? — Ноги ее послушно скользили по гладкому полу. — Как ни странно, но мне не хочется от вас уходить...

— Вы не логичны, Люся, — упрекнул он, мягко кружа ее. — Вы были недовольны нами, всегда ругались, жаловались.

— Это больше для вида, чтобы держать вас в строгости. А пришло время — и грустно расставаться, привыкла я к бригаде вашей.

— Я вас успокою, — сказал Антон. — Я только мечтал о личном клейме, но моя мечта оказалась не более как заблуждение: Фома Прохорович сказал, что затея эта вздорная и даже вредная. Так что вам придется еще помучиться с нами.

— Ура! — Люся захлопала в ладоши. — Никогда вам от меня не отделаться! И не старайтесь.

Музыка кончилась, стройность движения нарушилась, все перемешалось. Антона кто-то толкнул плечом, он обернулся и увидел Олега Дарьина, который пробирался к колонне, держа под локоть Марину Барохту; Олег что-то шептал ей на ухо, и она самодовольно усмехалась, ломая свои красивые грозные брови.

Антон подумал о Насте и поморщился, точно ему больно наступили на ногу.

— Что с вами? — спросила Люся.

— Так, ничего...

...Таня поднималась по белой мраморной лестнице. Она с наслаждением ловила обрывки звуков, неясный гул голосов, видела вверху игру световых лучей и, помахивая веточкой сирени, усмиряя в себе радостный трепет, медленно ступала со ступеньки на ступеньку в предвкушении чего-то необычайного, что щедро напитает ее счастьем. Она представила Антона, свою руку на его

плече, и сердце ее ноюще сжалось. Таня помедлила немного наверху, потом вошла в толпу. И тут ей шепнул кто-то, сначала один, затем другой, что Антон весь вечер не отходит от Люси; рука Тани с веточкой сирени беспомощно повисла, взгляд застлала мгла...

Антон с Люсей стояли у окна. Какая-то девушка, пробегая мимо, швырнула вверх горсть конфетти, блестящие дождем осыпали их головы, плечи. Люся поймала несколько кружочков, один приклеила к своим губам, другой хотела прилепить к губам Антона, но он мягко перехватил ее руку, погладил и опустил. Люся достала из сумочки крошечный, отороченный кружавчиками платочек, и Антон сразу вспомнил давнишнюю сцену у фонтана и улыбнулся. Люся тоже рассмеялась.

— А помните, каким вы были в тот вечер, когда мы с вами познакомились? Ужасно смешной... Волосы как на барашке...

— Да и вы были несколько другой, Люся, честное слово. — ответил он в тон ей и опять удивился, что та буря чувств, которая охватывала его тогда, пролетела безвозвратно, оставив в душе светлую и спокойную гладь: как ни бросай Люся камешки в нее — не поколеблешь!

Если бы Антон повернулся в этот момент, то увидел бы Таню, которую так ждал, и не произошло бы того, что потом случилось.

Но в это время опять загремела музыка, и Люся потянула Антона танцевать. Таня побрела по залу. Вокруг нее мелькали горячие, веселые лица, лучистые глаза, счастливые улыбки... Как сквозь сон, услышала она голос Володи Безводова:

— Куда ты? Идем туда, к Антону...

— Алексея Кузьмича не видел? — глухо спросила Таня.

Володя сказал, что видел его в буфете, и она поднялась этажом выше.

Фирсоновы сидели за столиком вдвоем. Увидев Таню, Елизавета Дмитриевна отставила бокал, удивленно и обрадованно воскликнула:

— Таня! Боже мой, какая ты красивая!.. — Таня задумчиво улыбнулась. — Садись. Почему ты так поздно?

Таня села, взяла ее руку, приложила к своей щеке и прошептала жалобно:

— Пожалей меня, Лиза...

— Что с тобой? — Елизавета Дмитриевна пристально и встревоженно всматривалась в лицо подруги, поняв, спросила вполголоса: — С Люсей он? — Таня кивнула. — Я так и знала. Сколько раз я тебе говорила — ненадежен он.

Алексей Кузьмич внимательно смотрел на женщин и глубоко затягивался дымом трубки.

В это время в буфете появилась Настя Дарьина, отчаянным взором оглядела столики, подбежала к Алексею Кузьмичу, села рядом, закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Алексей Кузьмич не удивился ее появлению. Люди, точно пчелы в ячейки сотов, несли к нему свои чувства: мечту и радость, душевную боль и муки раздумий, — он привык к этому.

— погоди плакать, — сказал он Насте, вынул из зубов трубку и, дымящую, положил на стол, мундштуком на край тарелки. — Что у тебя? Ну, перестань же!..

— Повлияйте на него, Алексей Кузьмич, — заговорила она, кусая кончик платка. — Не могу я больше... Измучил он меня. Пришли вместе, как муж и жена, а потом он прицепился к этой Барохте и весь вечер от нее не отходит. Приворожила она его, что ли! Хорошо еще, что Гришона Курёнков с Сарафановым были со мной, а то бы одна болталась... Стыдно мне... — И на скатерть одна за другой упали две крупные слезы.

У Тани тоже увлажнились глаза, но она сдержалась.

— Сукин сын! — недовольно проворчал Алексей Кузьмич, взял трубку и усиленно задымил. — Надо что-то с ним делать...

— Все они такие, знаменитости! — сердито проговорила Елизавета Дмитриевна, как бы обращаясь к Тане.

— Не печалься, Настенька, мало ли что в жизни случается — все пройдет, уляжется... — Таня погладила Настю по плечу, налила фруктовой воды. — Выпей вот...

— Можно, я вина выпью? — попросила Настя, и Елизавета Дмитриевна пододвинула ей свой бокал.

— Ладно, не плачь, — сказал Алексей Кузьмич. — Завтра я вызову его, поговорю. Совсем свихнулся парень!

Настя вскочила, — никогда ее не видел никто такой решительной.

— Поговорите? Завтра? Нет уж!.. Я сама поговорю! Сейчас! — выпалила она и быстро ушла.

Таня тоже собралась домой, и Алексей Кузьмич спросил ее:

— Ну, а у тебя, вдова, тоже сердечная драма или повышенная мнительность? Ты это выяснила?

— Какая там мнительность! — ответила за нее жена. — Это подлость с его стороны! Не надо было кружить девке голову, коль другая на уме. А то ходил, вздыхал, а ты ему потакал в этом.

Алексей Кузьмич ничего не ответил, затянулся дымом, задумался: сколько встречалось в жизни сложных, казалось бы, совсем неразрешимых вопросов! Но рано или поздно они решались. А вот душа человеческая остается непостижимой; как проникнешь в глубину ее?.. А надо, дозарезу необходимо! И тогда, быть может, не плакала бы так горько тихая, скромная прессовщица Настя, не вздыхала бы милая, чудесная Таня...

Придя домой в пустую комнату, Таня засветила настольную лампочку возле пианино, скинула плащ, прошла к окну и толкнула створки рамы. Ворвался шум вечерней улицы, напомнил покинутый людный зал. Небо было безоблачно. В стороне над темным силуэтом купола старой церкви без креста одиноко сияла голубая звезда. Отойдя от окна, Таня села на диван, огляделась: все было аккуратно расставлено, развешано, все носило печать девической чистоты, порядка, и от этого было еще более тягостно; с болью она почувствовала себя одинокой, ткнулась лицом в подушку и заплакала.

Потом глубоко вздохнула, посидела минутку, бездумно уставясь на носок туфельки, выглядывавшей из-под кресла, встала, машинально открыла крышку пианино и опустила руки на прохладные клавиши. Она благодарила Чайковского за утешение, за сочувствие... Какие теплые, какие чудесные звуки! Они прозрачными каплями падают в душу, насыщая ее просветленной грустью.

«Не надо строить иллюзий, — думала она. — Все гораздо проще: Люся моложе, красивее, звонче. Она — первая его любовь, а это много значит... Ну и пусть!

Все проходит, и это пройдет. Надо жить, работать, ждать... Ждать... А чего?»

В дверь негромко постучали. Таня опустила руки на колени. Стук повторился.

— Войдите, — сказала она и выжидательно, тревожно застыла. В комнату робко вошел Семиёнов, снял шляпу и, ни слова не говоря, уставился на Таню упорным умоляющим взглядом. Свет, падающий от абажура, освещал половину его лица с вдавленным виском, глаз лихорадочно сверкал...

Иван Матвеевич долго искал Таню во Дворце культуры — толкался среди танцующих, заглядывал во все двери, выходил в сад, кружил по липовым аллеям, замедлял шаги возле скамеечек, наблюдая парочки; встретил множество знакомых, а Тани так и не нашел.

В фойе мимо него стремительно пробежала Настя Дарьина, подлетела к мужу, оттянула его от Марины Барохты и крикнула в лицо:

— Можешь домой не приходить — не пушу! Оставайся здесь, с этой... — Она резко кивнула в сторону Барохты. — Хватит, помучил!..

Вокруг них мгновенно собралась толпа. Олег побледнел, испуганно пятился от наступавшей на него жены, сконфуженно бормотал:

— Тише, тише... Дома поговорим...

— Нет у тебя дома! Не приходи! Не пушу! — кричала Настя. — Иди к ней!.. — Она повернулась к Марине. — Эх ты, бесстыжая!.. Что ты липнешь к нему? Тебе других парней мало? Вон их сколько, вешайся на шею! Ишь, задрала морду-то! Гордая... Чем гордишься?..

Марина даже не двинулась с места, не смутилась, губы тронула едва заметная презрительная усмешка.

— Забирайте ваше сокровище, — бросила она глуховато и отрывисто. — Я в нем не нуждаюсь.

Семиёнов, наблюдая за Мариной, отметил: «А все-таки она красива. Простая девушка, а с каким достоинством держится. Она не лишена благородства. Недаром же она так нравилась мне когда-то... Конечно, с Таней Олениной ее сравнить нельзя...» Уходя, Иван Матвеевич слышал беспорядочные выкрики рассерженной Насти Дарьиной, краткие ответы Марины, предупреждающие слова Олега и гул толпы.

Поднявшись в буфет, Семиёнов посидел с Фирсоновыми, выпил пива и как бы невзначай спросил:

— Я что-то Татьяну Ивановну не вижу. Не знаете, где она?

— Ушла домой, — ответила Елизавета Дмитриевна, выразительно взглянув на Семиёнова. — Навестили бы...

Иван Матвеевич понял, поспешно встал и вышел. Алексей Кузьмич неодобрительно поглядел на жену.

— Поражаюсь, как ты позволяешь себе играть такую неблагоприятную роль в судьбе своей подружки. Я думаю, она не поблагодарит тебя за твое усердие...

— Ошибаешься, — ответила Елизавета Дмитриевна обидчиво. — Чутье женщины, которое чуждо вам, мужчинам, подсказывает мне, что я поступаю правильно. Таня сама не знает, чего хочет, в ней борются разноречивые желания, и если она сделает по-моему, будет счастлива, уверяю тебя.

— Будет ли счастлива — неизвестно. А ведешь ты себя нехорошо, — Алексей Кузьмич встал. — Идем домой.

— В таких вопросах я понимаю больше твоего, поверь мне, — суховато проговорила Елизавета Дмитриевна и пошла впереди мужа к выходу.

Семиёнов понял, что Таня находилась в затруднительном положении, в такой момент она может ухватиться за него. И вот он явился, взволнованный, напряженный, готовый к решительному объяснению.

— Иван Матвеевич! — негромко и испуганно воскликнула Таня, пораженная его возбужденным видом. — Что-нибудь случилось? Проходите, садитесь...

— Со мной ничего не случилось, — ответил он, сел на диван и прикрыл колени шляпой. Таня повернулась к пианино боком, положила левую руку на клавиши, ждала. — Почему вы ушли с вечера? С вами что-то произошло...

— Я... У меня... разболелась голова... — ответила Таня, замявшись. Он сидел прямо, глаза не мигали, лихорадочный блеск в них пугающе усилился.

— Вы обманываете меня, — заговорил он, волнуясь, с расстановкой. — Вы ушли по другой причине. Я не буду вникать в подробности, но знаю, что вас обидели... Не оценили. И заявляю вам, что никто никогда не оценит вас так, как я.

Таня хотела что-то возразить, но он остановил ее:

— Погодите. Я говорю слишком смело, простите. Мне казалось, что мои терзания дают мне на это право. Может быть, я недостойн вашей любви... Я не требую ее от вас. Я только хочу, чтобы вы ни на минуту не забыли, что я люблю вас давно. И что вы в любую минуту найдете у меня сочувствие и защиту. Я сейчас пришел с надеждой быть чем-нибудь полезным вам... Так будет всегда. Женщина без преданного взгляда — как цветы без влаги — увядает. Мое внимание к вам неиссякаемо: глаза мои никогда не устанут смотреть на вас и восхищаться вами. Мы оба работаем, у меня большие планы на будущее... Вы не будете нуждаться ни в чем, это я вам обещаю торжественно. Но, ради бога, не пугайтесь моей агрессивности. Я не связываю вас никакими обязательствами — не повезу в загс без вашего согласия. Нет. Я предлагаю вам пока немного: поедemте вместе на Черноморское побережье, отдохнем, присмотримся друг к другу, и, возможно, вы привыкнете ко мне, я стану для вас необходимым...

Он замолчал, вынул платок и вытер большой горячий лоб, потом замер ожидая.

Склонив голову, Таня слушала его и думала с горечью:

«Может случиться, что я и на самом деле привыкну к нему...»

Вспомнила, как в лесу обещала Антону подождать выходить замуж, горько усмехнулась в душе: не слишком ли долго она ждала? Представила Антона рядом с Люсей и с тоской поняла, что он для нее потерян.

— К морю я поеду одна, Иван Матвеевич, — произнесла она едва слышно. — Зачем мы будем связывать друг друга?..

Семиёнов мгновенно встал, некоторое время не мог вымолвить ни слова.

— Вы не сделаете так! Вам нельзя ехать одной. Вам, как ребенку, нужен провожатый. Я не отпущу вас одну, поеду с вами... — Он шагнул к ней. — Ради бога, не возражайте.

Таня пожала плечами, улыбнулась грустно и снисходительно:

— Я не возражаю.

— Благодарю вас... Татьяна Ивановна... Таня...

Иван Матвеевич поклонился ей и вышел.

В тот вечер во дворце Антон долго искал Таню, обеспокоенный ее исчезновением, обошел все залы, со многими перекинулся словом; возле самой лестницы в тени заметил Марину Барохту с Семиёновым — он в чем-то убеждал девушку, уговаривал, но лицо ее было, как всегда, неприступно-надменным, отвергающим; и Антон отметил про себя: «Кажется, у Ивана Матвеевича намечается новый объект для ухаживаний».

Володя Безводов сказал Антону, что Таня была здесь и, должно быть, ушла домой.

— Ты так был увлечен Люсей, что про всех забыл.

— Пустое! — буркнул Антон. Но во дворце ему стало скучно. Люся тоже не захотела оставаться, и ему пришлось провожать ее.

«Почему Таня ушла, не повидав меня? — думал он, возвращаясь назад. — Неужели она и в самом деле ревнует меня к Люсе? Но это же смешно! Завтра же спрошу ее об этом. И посмеюсь...»

Поток рационализаторских предложений не уменьшался, а увеличивался; со всего Союза и из-за границы — Румынии, Венгрии, Польши, Болгарии, Китая — шли письма молодых рабочих с настойчивой просьбой поделиться опытом. Им надо было отвечать. Но комплексная бригада теперь собиралась реже: Антон по горло был занят подготовкой и сдачей экзаменов. С Таней они виделись урывками, она казалась замкнутой, молчаливой, на приветствия его лишь кивала головой. Он пристально смотрел на нее, но она отводила свой взгляд; Антону хотелось крикнуть во весь голос: «Неужели из-за Люси?!.. Это же смешно, глупо!» Но Таня решительно уклонялась от разговора.

Антон сдавал один предмет за другим. Гришона поразался его выносливости и сам лез из кожи, тянулся за ним, ни за что не хотел отставать!..

В июне Антон сдал последний предмет — историю.

Простившись с учителем, он вышел из класса и тихонько притворил за собой дверь. В коридоре он встретил Гришонию с Сарафановым, они ждали его.

— У меня четверка, а у Ильи троечка, — радостно известил Гришонию, суетясь возле Антона. — А у тебя как? Вижу, что опять пятерку отхватил — ишь, как расцвел, точно тысячу рублей по облигации выиграл... — И, подпрыгнув, обнял Антона и возбужденно закричал: — А ведь сдюжили, Антошка, выдержали, сдали! Оч-чень интересно! А трусили...

— Если бы я ответил, какой главный город в Нидерландах, я бы тоже четверку получил, — расстроено бубнил Сарафанов, как бы оправдываясь.

— Не горюй, Илюша, — утешал его Гришоня. — Для тебя и тройка — украшение.

На бульваре Антон опустил на скамеечку и, запрокинув голову на спинку, сквозь просветы в ветвях поглядел на темное небо. Вдоль Млечного Пути густым тусклым потоком, не рассеиваясь, тек дым, заволакивая звезды. Одна звезда, словно не выдержав горькой духоты, сорвалась и полетела в пропасть, за крыши города, оставляя мохнатый, игольчатый след.

Жадно вдыхая ночную свежесть, Антон погружался в забытье. Нетерпеливый возглас Гришони вывел его из оцепенения:

— Надолго ты тут уселся?

Антон не пошевелился, не оторвал затылка от жестких планок спинки, проговорил, как бы извиняясь:

— Я посижу еще... А вы идите... Сходите в кино, честное слово...

— А говорил, отметим этот день, — обиженно упрекнул Гришонию.

— И правда, — согласился Сарафанов и упрямо мотнул лошадиным лицом. — Одичал я совсем с этой учебой. Поедем в Центральный парк, пива выпьем...

Антон остался один. И тут же перед ним возник желанный образ Тани. Ему захотелось увидеть ее немедленно, сию же минуту, чтобы сказать ей о своей радости, о своей любви. Сначала он устремился к ней домой, но по дороге вдруг передумал и повернул к Фирсоновым: вернее всего, она там.

Дойдя до подъезда, Антон одним махом влетел на третий этаж и, прислушиваясь к гулким ударам бьюще-

гося сердца, нетерпеливо позвонил. Савельевна впустила его, негромко известив:

— Алексей, к тебе...

Взглянув на Антона, Алексей Кузьмич отступил, ошеломленный:

— Что с тобой? На тебе лица нет...

— Я... бежал... — произнес Антон срывающимся голосом, прошел в комнату Алексея Кузьмича и, застав там хозяйку, поклонился: — Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна.

Та пристально посмотрела на мужчин: обеспокоено — на вошедшего, вопросительно — на мужа, и в смущении опустила на колени шитье.

— Откуда ты? — спросил Алексей Кузьмич.

— Из школы, — заговорил парень возбужденно. — Сдал, Алексей Кузьмич, все предметы на «отлично».

— Молодец, — похвалил парторг и, пройдя к открытому окошку, задымил трубкой.

Наступило неловкое молчание. Елизавета Дмитриевна начала шить. Поглядев на ее склоненную голову с коронной красиво уложенных кос, на Алексея Кузьмича, усиленно попыхивающего трубкой, и, предчувствуя в этом неестественном молчании что-то недоброе для себя, Антон спросил:

— Где Таня? Не знаете, Алексей Кузьмич?

Алексей Кузьмич положил трубку на подоконник, за занавеску, решительно подступил к Антону, крепко стиснул его плечи, сказал, подтолкнув к креслу:

— Сядь.

Парторг сел в другое кресло и проговорил:

— Уехала Таня, Антон.

— Куда?

— На юг.

— Когда?

— Неделю назад.

— С кем? Одна?

— С Иваном Матвеевичем. Получили путевки и уехали.

В глазах парня отразился ужас:

— Она вышла замуж?

Алексей Кузьмич кивнул в сторону жены:

— Об этом спрашивай ее. Она больше моего знает.

Антон придвинулся к женщине:

— Скажите, зачем она это сделала?

Елизавета Дмитриевна отложила на стол шитье, строго выпрямилась:

— Вы так грозно спрашиваете, будто сделала это я сама — взяла и уехала на курорт.

Антон молча, ожидающе и просяще смотрел на нее, судорожно теребя пальцами маленькую перламутровую пуговицу рубашки.

— Таня для меня родной человек, вроде сестры... Я хочу, чтобы она была счастлива... Она доверчива, как ребенок.. Вы не любите ее — сознайтесь?.. — Елизавета Дмитриевна помолчала как бы в затруднении, потом прибавила: — Каюсь, я все время советовала ей выходить замуж за Ивана Матвеевича: человек он верный, положительный, самостоятельный, его чувство к ней устоялось, с ним ей будет жить легче, чем... с кем-нибудь другим...

От ее рассудительных слов на него повеяло стужей, он зажмурился и с ужасающей ясностью увидел себя несчастным на всю жизнь: совместное, рука об руку, шествие по неизведанным тропам радостей и невзгод лишь призрак, сон, — проснулся, и все разрушилось.

— Вы молодой, — шелестел вблизи голос женщины, смягченный участливой нежностью, — у вас все впереди... девушек много... встретите, полюбите...

— Зачем вы меня утешаете? Как вы можете после всего, что случилось! Вы спросили меня — люблю я ее или нет, чтобы советовать? Сестра называется!.. — Парень растерянно, беспомощно оглянулся, точно ища что-то, прошептал: — Что же это, Алексей Кузьмич?.. Я не знаю, как я буду жить без нее... честное слово... — опустился в кресло, уронил голову, усмехнулся горько и произнес: — Послушала... А обещала ждать... И я пове- | ил!.. Что же делать, Алексей Кузьмич?

Фирсонов пожал плечами, отошел к окну и затянул- ся дымом трубки:

— Не знаю. Дай подумать.

Антон встал и молча побрел к выходу.

Все лето прибором омывал Черноморское побережье как бы с двух сторон: с юга набегали, перебирая гальку, морские волны, с севера же шумно накатывались волны

людские. Одна партия коричневых, прокаленных людей уезжала, на их место прибывали другие, жадные до солнца, до соленой морской воды.

Вдоль всего побережья, на живописных холмах, красовались дворцы, выступая из зеленой, пышно взбитой пены южных растений. По утрам из стеклянных дверей этих дворцов высыпали отдыхающие, в пижамах, в пестрых халатах, с полотенцами вокруг головы наподобие чалмы. Они толпами спускались по лестницам к морю, точно древние кочевники, разбивали легкие — из простыней — палатки, пластались на раскаленных, обточенных прибоем камнях, жарились в знойных лучах, плескались в воде, выгоняя из себя разные недуги. И если бы можно было окинуть взором все побережье, то увидели бы гигантскую подкову из бронзовых человеческих тел, прочно блокировавшую море.

Больше недели жила Таня Оленина у моря, посвежела, похорошела, загар нежно позолотил ее кожу.

Каждое утро Иван Матвеевич Семиев, весь в белом, в широкополой соломенной шляпе, с ситцевым цветистым зонтиком, являлся к дверям Таниной палаты и терпеливо ждал.

Соседка Тани, ивановская ткачиха, лукавая и смешливая Маруся, выглянув за дверь, извещала с усмешкой:

— Танечка, вас уже поджидают. — И удивленно покачивала головой: — Вот это поклонник: вроде конвойного, по пятам ходит... — И однажды, присев перед Таней на корточки, предложила заговорщицким тоном: — Давайте убежим от него, хотите? Выпрыгнем в окошко — и в море, на моторке кататься, а то в горы за ягодами?..

Таня невесело улыбнулась, мысленно говоря ей:

«Какое там окошко! А привыкать кто будет?..»

Она машинально складывала в сумку полотенце, книжку, купальный костюм, шапочку, темные очки и покидала палату.

При ее появлении Семиев весь вздрагивал, точно наэлектризованный, ноги как-то костенели, не сгибались, он внимательно и с заботливой тревогой справлялся об одном и том же:

— Как вы себя чувствуете, Таня? Здоровы? Загар не беспокоит? На какой пляж пойдем? — Затем брал у нее

из рук сумку, давал ей зонтик, и они молча ступали по ковру вестибюля к выходу.

И тут с высоты лестницы открывалась хватающая за сердце красота — море! — всегда неповторимо разное, всегда волнующее. Вся отрада Тани была в нем: она с наслаждением ныряла в светлозеленоватую, точно расплавленное стекло, воду, уплывала подальше от шумных людей, от монотонного голоса Ивана Матвеевича, ложилась на волну и разбрасывала руки. Так, не двигаясь, подолгу качалась она, глядя сквозь сощуренные ресницы в пронзительную небесную голубизну, откуда зовуще махали ей крылом чайки. Обласканная водой и солнцем, она с умилением вспоминала Москву, цех, который отсюда казался обновленно-чистым, сияющим, вспоминала Фирсоновых, Антона и ощущала на губах солоноватый привкус воды, а может быть, слез.

Потом она возвращалась на берег, вся в светлых каплях, отражающих лучики света, ложилась на разостланное полотенце и продолжала читать или сооружала из песка и гальки игрушечные крепости. Иван Матвеевич садился подле, обхватывал острые колени руками, сощуренно глядел из-под шляпы на играющее бликами море, на столбы дыма, расставленные по горизонту пароходами, и как будто обиженно говорил:

— Посмотришь на эту таинственную пустыню — море, представишь его бездонную пучину и чувствуешь себя полным ничтожеством: так оно подавляет тебя своим величием, своей грозной силой. Человек перед ним — лишь одушевленная песчинка: была и нет — сдуло ветром времени. А оно, море, вечно! Даже вот этот камешек переживет нас с вами: до нас трогало его множество рук, и после нас кто-то новый, незнакомый станет касаться его, гладить... А нас уж и в помине не будет...

Таня попросила умоляюще:

— Иван Матвеевич, милый, не надо, ну, пожалуйста, не надо, все это я уже слышала от вас, да и читала где-то. Зачем вы так принижаете человека? Должно быть, это у вас идет от эгоизма... Почему вы не рассуждаете по-другому: человек выше моря, потому что он сам создает моря, значит он не песчинка.

Тонкие губы Семиёнова шевельнулись в снисходительной улыбке:

— Если вы имеете в виду Рыбинское так называемое море, то ведь это не море, а лужица, из середины которой видна колокольня... Но поскольку вы меня просите не распространяться на эту тему, я покорно молчу, Татьяна Ивановна... Только вы не дослушали до конца мою мысль. Что касается того, что человек якобы создает моря, так это, простите, чепуха, как если бы вы, льстя себе, как человеку, заявили, что человек создает планеты по своему усмотрению... Вот на этом берегу, где мы имеем счастье загорать, жили до нас целые народы: одни вымирали, другие перекочевывали к иным берегам, а на их место селились новые; происходили битвы, морские сражения... Но из бесчисленных имен людей, побывавших здесь, мы знаем единицы... Скажем, флотоводец Ушаков водил эскадры. Где-то тут тосковал Пушкин. Бродил с посохом странника наш Максим Горький, которому смеялось море. Ну и еще раз-два, да и обчелся... А мы с вами? Кто будет знать о нашем пребывании здесь?

Таня разрушила крепость, кинула камешек в воду, сказала, безнадежно вздохнув:

— Не понимаю, зачем людям знать о вашем пребывании на курорте... Но уж если вы хотите, чтобы о вас непременно знали, тогда... прославьтесь, что ли... совершите что-нибудь, сделайте открытие...

Семиёнов прервал ее:

— Об этом я уже думал... Для этого необходимо, Татьяна Ивановна, быть первым. А это невозможно — все первые места заняты...

Не дослушав, Таня спасалась бегством в воду.

Но не всегда Иван Матвеевич был настроен на философский лад. Выпадали минуты, когда он был весел и остроумен, правда, острил он самым странным образом. Однажды в предвечерний час в беседке группа отдыхающих вела спор о прочитанных книгах, о мастерстве московских артистов, дававших в санатории концерт. В паузу, когда все замолчали, приводя в порядок свои мысли, Иван Матвеевич, завернув штанину, открыл свою коленку и с видом солидного ученого, читающего ученикам лекцию, произнес:

— Вот эта коленная чашечка — в высшей мере уникальное творение, единственная в своем роде; она состо-

ит из шестнадцати отдельных частиц и невозможно не обратить внимание на исключительной красоты лепку. Пракситель! — и ошупывал ее любуясь.

Присутствующие растерянно переглянулись, озадаченные неожиданностью, пауза затянулась, а Иван Матвеевич вдруг разразился хохотом, один. Вслед за ним, не выдержав, фыркнула смешливая Маруся и шепнула Тане на ухо:

— Да он у вас псих!

Таня усмехнулась с горечью, чтобы скрыть смущение, а позже, оставшись наедине с ним, спросила:

— Иван Матвеевич, зачем вы это сделали? Вы же умный человек.

Он оскорбленно вскинул голову, сжал губы:

— Что же мне теперь и пошутить нельзя... в вашем присутствии?

— Но ведь это не смешно, это скорее... грустно.

Он обиженно замолчал, спускаясь за ней к морю. Здесь было прохладно, море неторопливо и ровно вздыхало, тускло отвечивало стальной. Изредка срывалась крупная звезда и, вспахивая черную мякоть неба, падала в море, и вода, казалось, шипела, гася ее, а Таня, глядя на полет звезды, всегда опаздывала что-либо загадать. Олиноко, оранжевым неярким фонарем висела в пространстве луна, бросая на воду красноватую, едва колеблемую полосу. Вдалеке, озорно и дразняще перемигиваясь с луной, потухал и снова вспыхивал огонек маяка. Прошли мимо любителей ночных ванн: двое плескались возле берега, осыпая друг друга фосфорическими брызгами.

Купающиеся остались позади, в тишине слышались таинственные ночные шорохи, и вздохи моря стали как будто глуше, осторожнее. Умолкли сверлящие звуки цикад, кое-где бесшумно мелькали во мраке людские тени...

И оттого, что все — и природа и люди — как будто оробело, а тишина теплой ночи невыносимо тяжело давила на душу. Тане хотелось кричать. Не надо ей этой каменной ограды, этого добровольного заточения! Ей хочется смеяться, слышать страстный шопот, а не этот размеренный, тошный голос...

— Я надеялся, Таня, что здесь, среди этой роскоши и волшебства, вы раскроетесь передо мной, приблизитесь, а вы все такая же — ровная и прохладная, и сколько я ни иду к вам, вы отдаляетесь, как мираж. Правильно я говорю, или это мне только кажется?

Таня молчала, тихонько ступая по камням, точно слова эти толкали ее в спину, не давая остановиться.

— Я бесконечно терпелив, Татьяна Ивановна, — продолжал Семиёнов, — мне давно надо было бы стать в позу неопределенного, высказать вам свое резюме и гордо удалиться, как в старой доброй драме... Но я этого не делаю: жду, когда вы, подобно звезде в море, упадете на мою грудь. Дождусь ли?

Тане хотелось крикнуть в лицо ему зло и уничтожающе: «Не дождетесь!»

Но, повернувшись и увидев этого человека, застывшего в позе робости и готовности, сказала без гнева, спокойно, но беспощадно:

— Извините меня, Иван Матвеевич, не могу я привыкнуть к вам и знаю: никогда не привыкну. Давайте расстанемся по-хорошему. А если вы не оставите меня, я вас возненавижу! Не знаю, почему я не могла сказать вам об этом раньше, — женская слабость, а может быть, Елизавета Дмитриевна была рядом, сдерживала.

Иван Матвеевич ужаснулся:

— Я не могу поверить тому, что вы сказали... Это шутка?

Тане вдруг стало легко и радостно, точно ее выпустили на волю, как ту бойкую синицу, для которой Иван Матвеевич открыл клетку: перед ней во всю ширь — простор, лети, куда хочешь!

— Нет, Иван Матвеевич, это не шутка, — проговорила Таня. — До свидания! — и скрылась прошуршав кустами.

— Погодите, дайте мне прийти в себя... Таня!

На другой день Таня вышла к морю одна. Иван Матвеевич отыскал ее, чтобы потребовать от нее объяснений. Но, увидев приближающегося к ней Семиёнова, Таня, скользя по камням, рискуя упасть, сползла в воду.

Иван Матвеевич поплыл за ней, но, оглянувшись, увидел, что далеко оторвался от берега, от людей, забоялся, лишь крикнул ей вдогонку:

— Таня, не плавайте далеко, вернитесь!

А Таня удалялась от берега все дальше, дальше, где волны были массивней, выше, а вода чище и зеленей...

В это время Антон Карнилин, выйдя из санатория, остановился на площадке. Он прибыл сюда вчера вечером. Длительный путь и волнения утомили его. Он усмирив в себе желание немедленно отправиться на поиски Тани, принял ванну и лег спать, лишь мимолетно взглянув на темное, глухо ворчащее море, распаханное пополам широкой бороздой лунного света. Спал он неспокойно, тревожимый неумолчным шумом прибоя, неясным ощущением близости чего-то огромного, грозного... И вот наутро, после врачебного осмотра, он вышел из санатория и остановился на вершине лестницы.

Над морем, громоздясь одни на другие, заслоняя солнце, недвижно стояли белые, туго вздутые облака. Море было темное, изрытое, наискось разлинованное белыми текучими полосами пены. Но вот порыв ветра стронул с места тяжелые массы облаков, раздвинул их, и в образовавшуюся щель прорвался и мощным водопадом рухнул вниз свет, с размаху ударился о волны, рассыпался на тысячи осколков, и все вокруг нестерпимо засверкало, заулыбалось, зазвенело. Антон глядел на разметнувшийся перед ним простор без конца и края, и в груди его все подымалось, торжествуя пело, и невозможное стало казаться возможным.

Антон спустился по лестнице, свернул на тропинку, вьющуюся среди кустов, и побрел по ней, изредка поглядывая на устланный телами пляж, на барахтающихся в воде людей. Танию он не надеялся встретить: слишком много было людей, и все они были как-то одинаково похожи.

Но вон на камне стоит длинный худой человек в трусах и широкополой соломенной шляпе и смотрит вдаль; что-то знакомое было в этой долговязой фигуре. Антон сначала как будто обрадовался, узнав Семиёнова: тут должна быть и Таня. Но рядом ее не оказалось. Тогда Антон кинул взгляд на грань прибрежной мутноватой полосы, откуда катились продолговатые клубки пены, чтобы, взбежав на песок и камни, истлеть. Там, среди темных барханов волн, он различил одиноко качающую-

ся голову, которая то взлетала на гребень волны, то падала, скатываясь в яму.

«Это она, Таня, — подумал Антон. — Это за ней наблюдает Семиёнов. Смелая!..»

Через минуту он вошел в воду и поплыл. Какая прозрачная, густая вода, тело в ней почти невесомо!

Таня, не шевелясь, лежала на волне лицом вверх, точно на лужайке. Она скорее почувствовала, чем услышала, что к ней кто-то подплывает, и перевернулась. Антон вынырнул перед ней, отбросил со лба мокрую прядь, позвал:

— Таня!

Женщина вскрикнула, волна ударила ее по лицу, заплеснувшись в открытый рот, заставила закашляться, и Таня скрылась под водой, долго не всплывая, точно боялась показать ему свою радость. Антон вытолкнул ее на поверхность.

— Вернемся скорее на берег, — торопливо заговорила она, оправляясь от внезапности. — У меня ноги и руки ослабли. Я давно здесь — вон куда отнесло меня... Вы плывите прямо, а я на свое место буду выгребать... Потом я оденусь и приду к вам.

— Как же Семиёнов отпускает вас одну?

— Он боится заплывать далеко, — ответила Таня, отдаваясь в сторону. — Плывите же!..

Семиёнов встретил ее подозрительным и ревнивым вопросом:

— Свиданье на волне, подальше от людей? Оригинально! Кто это был?

— Карнилин, — коротко ответила она, стаскивая с головы шапочку. Он вздрогнул. По тому, как возбужденно сияли ее глаза сквозь мокрые ресницы, как судорожно вытиралась она полотенцем и с раздражением совала ногу в туфлю, как, не надев ее как следует, с придавленным задником, прихрамывая, начала взбираться наверх, за кусты, переодеваться, Семиёнов сердцем почувал — это конец. Через минуту он увидел, как из-за кустов выметнулся красный в лебедях сарафан, дразняще помаячил вдали и скрылся из глаз.

«Вот и все, — с горечью подумал Иван Матвеевич. — А сумку и зонтик забыла...»

Антон и Таня молча окинули друг друга жадным взглядом, потом тихо двинулись в сторону гор, которые тянулись по краю неба, точно нарисованные лиловой тушью. Тропинка была узенькой, и Антону приходилось шагать сбоку, по откосу, по камням; но неудобства этого он даже не ощущал.

— Зачем вы приехали? — спросила она строго, и голос ее дрогнул; она сорвала зеленый листок и приложила его к губам, точно боялась, что Антон заметит, как они дрожат.

— К вам. — ответил он. — Чтобы спросить у вас, почему вы уехали, ничего мне не сказав. Вы обещали не выходить замуж, а сами втихомолку укатили в свадебное путешествие. Это нечестно.

Она приостановилась и высокомерно повернула к нему голову:

— Не смейте говорить со мной в таком тоне. Я замуж не вышла и не выйду — пусть вас это больше не тревожит.

Антон покаянно и в то же время восторженно улыбнулся:

— Дайте честное слово!

— Уехала я, потому что поняла: первая ваша любовь сильнее всего остального, — усмехнулась, вспомнив его поведение на катке. — Недаром же вы головой в снег зарывались, чтобы остудить ваши кипящие чувства... И на вечере, если помните, вы не отходили от нее... Мне надоело наблюдать вашу двойную игру...

— Говорите, — попросил он, продолжая улыбаться, — выкладывайте все сразу, чтобы не возвращаться больше к этим глупостям.

— А после вечера вы в течение почти целого месяца не подходили ко мне — это тоже глупости, по-вашему?

— Вы прятались от меня.

— Я не пряталась. Просто вы не хотели меня видеть.

— У меня же экзамены были, Таня, — взмолился он. — Пощадите! Я весь наизнанку вывернулся, пока свалил их, честное слово! В тот вечер я шел к вам за похвалой — сдал все на «отлично», переведен в десятый класс!.. И вдруг — точно кинули меня под молот, расплющили всего, когда сказали, что вы уехали с Семеновым. Думал, с ума сойду... всю ночь проходил по го-

роду, размышлял, что делать дальше... А утром Алексей Кузьмич подсказал ехать сюда. Я взял путевку и вот приехал.

Таня была убеждена, что Антон не может покривить душой, схитрить или солгать, и слова его сейчас, само его присутствие являлись для нее как бы наградой за долгое время терзаний и затворничества. Она не подозревала, что ее грудь может вместить столько любви ко всему и ко всем: к морю, к оставленным в Москве товарищам, к голым крикливым выводкам ребятишек на песке, к тучной зелени садов, к дикому нагромождению камней и вот к этой тропинке, которая тайно и доверительно уводила их все дальше и дальше, к неправдоподобно красивым горам, окутанным фиолетовой пылью.

Они не замечали, что пляж уже кончился, берег становился все более каменистым и пустынным, волны, украшенные сверкающими коронами пены, поднимались выше и бежали к берегу оживленными толпами. Усилившийся ветер спугнул знойную застоявшуюся тишину, и листья тревожно зашуршали, затрепетали. Облака, грозно потемнев, тяжко прикрыли море. Лишь верхние их слои, еще желтоватые, рыхлые, судорожно шарили по небу, искали солнца и, найдя его, схватили, кинули в пропасть. Стало темно. Горы непроницаемо заплыли маслянистой тягучей мглой. Во мраке свирепо заревел ветер, заходили сокрушительные водяные валы.

— Гроза будет, — сказал Антон, опасливо оглядываясь, будто ища, куда спрятаться: вокруг — ничего для пристанища. Лишь на огромной высоте, подобно ласточкиным гнездам, прилепились к выступам горы белые домики — пока до них доберешься, дождь исхлещет до костей, — да невдалеке был брошен в море старый причал — деревянный помост на высоких сваях; сваи уже шатались и старчески скрипели под натиском волн.

Таня преобразилась, приближение грозы насыщало ее буйным озорством, вздрагивающими ноздрями она жадно вдыхала соленый морской воздух. Она схватила Антона за руку, потащила к воде, а подбежав, возбужденная, трепещущая, быстро натянула на голову купальную шапочку.

Из темной дали нескончаемой чередой накатывались зеленые водяные глыбы выше человеческого роста. У бе-

рега они рассерженно вставали на дыбы, с размаху кидались на камни и, гулко погромев галькой, отступали как бы за новым подкреплением.

— Сила какая! — крикнул Антон сквозь ветер, наклоняясь к уху Тани, как в кузнице.

Как бы отвечая на его слова, Таня ловко выскользнула из сарафана, сбросила туфли и хотела кинуться на волну.

Антон испугался: ее может ударить камнем, вода поднимает их, как пушинки.

— Куда вы? Не смейте. Одевайтесь!

— Какой тон, — изумленно молвила Таня, накидывая сарафан, факелом плескавшийся на ветру. — Что, испугался?..

Туча подступила совсем близко, стало еще темнее. Чудовищной силы взрыв потряс землю, и глаза ослепил синий ледяной накал. Искра вспыхнула где-то вверху, огненная стрела хрупко, судорожно ломаясь, впиалась в черную мякоть тучи, рассекла ее до самого основания и канула в воду. И вслед за тем ветер швырнул первые крупные капли ливня.

Антон потянул Таню к мосткам. Они сели на темные камни, упираясь головами в настил, и, примолкшие, околдованные, следили, как с каждой минутой все яростнее разыгрывалась гроза: все хаотически смешалось воедино — густой, почти осязаемый на ощупь мрак, потоки ливня, прыгающие волны моря. С нарастающим надсадным треском следовали один за другим сотрясающие удары разрядов, металась молнии, наслаждаясь своей разрушительной силой, рвали тучу на куски и сваливали их в бездну, взметая брызги и пену. Было что-то неправдоподобное в этом неистовом бешенстве огня, воды, бури, и Антон, видевший все это впервые, восхищенно кричал:

— Вот это кузница!.. Вот это уют!.. Золотые мечи выпускают, гляди!.. Вот это работа!..

Таня прижалась к нему: она дрожала от холодного, с брызгами ветра, от возбуждающей игры огня, стона земли, рева разбиваемых волн.

— Мне холодно, обними меня, Антон, — попросила она.

Он обхватил ее плечи, и она, ощущая тепло его груди, слушая неторопливые сильные удары его сердца, прошептала доверчиво:

— Я хочу тебе верить... Только никогда — слышишь, никогда! — не оскорбляй чувства мелкими ссорами, подозрениями, неурядицами. Я буду помогать тебе во всем. Только, чтобы ты всегда был таким, какой ты сейчас, и еще лучше...

Он взял в ладони ее лицо, — освещенное синим пламенем, оно показалось бледным, немного печальным, — и целовал влажные, чудесно сияющие глаза.

Гроза не унималась, волны с шумом бились в настил. В какую-то щелочку проникала вода, тонкой ниточкой струилась ему за воротник, щекочуще текла по спине, но он даже не пошевелился, чтобы не потревожить Таню.

Таким был первый день их новой встречи.

Танина соседка по палате Маруся, модница и любительница приключений, прихорашивалась перед маленьким зеркальцем, висящим на оконной ручке.

— А где твой поклонник, Танечка, Иван Матвеевич? — спросила она, скрывая под детской наивностью лукавство. — Почему он перестал дежурить у наших дверей? Без него как-то пусто в коридоре стало.

Таня выдвинула из-под кровати чемодан и, присев возле него, выбирала блузку.

— Не знаю, — ответила она, сдержанно улыбаясь.

— Как так! А говорила... — Маруся повернулась и протянула, хитро прищурясь: — Ох, и скрытная ты!.. Но от меня ничего не скроешь — я людей насквозь вижу. А тебя в особенности: ты ведь теперь не ходишь, а на крыльях летаешь... Ну и правильно! Зачем он тебе нужен, Иван Матвеевич! — Она понимающе подмигнула. — А парень этот, наверно, ласковый, добрый... Как его зовут?

— Антон.

— Смотри, держи его крепче, а то отобью!

Маруся подбоченилась, горделиво вскинула подбородок. Стук в дверь заставил ее встрепенуться, она испуганно округлила глаза, всполошенно зашептала:

— Это ко мне, Танечка, родненькая, скажи, что я давно ушла: не хочу я его видеть... — И птицей выпорхнула в окно, прошуршала ветвями — только ее и видели.

На повторившийся стук вышла Таня, скромно сказала человеку в темных роговых очках, что Маруси нет, заперла комнату, положила ключ в сумочку и прошла через вестибюль на лестницу.

Небо было бледное, солнце как будто увязло в белой мгле, лучи его гасли, не достигая земли, и от этого море было матовое, без блеска. Оно дремотно шелестело, неутомимо расстилая по песку кружева пены, источало влагу, охлаждая насыщенный зноем воздух. Высокие горы, аккуратно расставленные по горизонту, напоминали какие-то огромные стеклянные сосуды, до краев налитые фиолетовыми чернилами, — они таинственно и притягательно светились.

Таня ощущала приятную истому, невесомость, и ей казалось, что она растворяется в этом густом пряном воздухе.

Антон ждал ее в дальнем конце аллеи, над обрывом. Он стоял возле деревянной скамейки в белых брюках и голубой шелковой безрукавке; загорелое лицо его, теряя юношескую округлость, становилось более твердым, решительным, на нем выделялась полоска зубов, а глаза, как бы вобравшие в себя цвет южного неба и морской воды, были сине-зелеными.

— Получил от Володи письмо, — обрадованно сообщил он, усаживая ее на скамейку. — Послушай, что он пишет:

— «Антон, дружище, здравствуй на тысячу лет! Получил твою телеграмму и спешу обнять тебя от всей души. Небось, паришь сейчас на крыльях. Таню береги, не обижай, — другой такой тебе не сыскать в целом свете...»

Антон покосился на Таню и усмехнулся, довольный:

— Как расписывает, подлец! Как поэт, честное слово!..

Таня слегка зарумянилась, попросила, польщенная:

— Читай дальше...

— «Всем ты теперь одарен — и силой, и здоровьем, и правильным комсомольским чутьем, и любовью, и будущим. Набирайся побольше энергии. У нас все идет по старому, многие разъехались отдыхать, между прочим, и наш друг комсомольский, старик Полутенин, тоже ука-

тил в ваши края, греться на солнышке. А меня Алексей Кузьмич не пускает... В цеху теперь жара, покрепче вашего юга. Вместо тебя на молоте командует Илья Сарфанов, а Гришона попрежнему пристаёт к нему со своими загадками. Видеть их вместе — это забава, комедия чистойшей воды. Кланяйся Тане Олениной — представляю ее вид, когда ты, словно с горы, скатился к ее ногам... Ну, пока, дружище! Да, главное-то, ради чего пишу, и забыл: думай, Антошка, готовься — вернешься, будем рекомендовать тебя в партию...»

— Хорошо, — промолвила Таня задумчиво, когда Антон кончил читать и вчетверо сложил исписанный листок. — Хороший он, Володька, всегда в нем будет какая-нибудь беспокоящая мысль, всегда что-то изобретает. Побольше бы таких, легче бы жить стало, — поймут, почувствуют, помогут... Жалко, что не все такие...

— Без Володи Безводова я был бы ничто, — согласился Антон. — Не вмешайся он в мою судьбу, не сидел бы я сейчас здесь с тобой, честное слово.

— Сидел бы с Люсей, — бросила она колко. Таня чашенько донимала его такими замечаниями. Антон резко повернулся, обратил на нее взгляд, в котором она прочла и обиду и мольбу. Таня доверчиво прислонилась плечом к его плечу и сказала виновато: — Ну, не буду, не буду... — Помолчав, прибавила: — Выходит, ты должен слушаться во всем своего друга — плохое не посоветует.

Раздвинув кусты, она посмотрела в море: там на краю его, где оно сливается с небом, вывалился из облака крупный огненный шар, постоял секунду на черте и медленно, как бы подмываемый снизу струями, стал таять, уменьшаться, и вода, насыщенная его живыми знойными красками, пламенно засветилась, порозовела. Солнце скрылось совсем, а на море долго еще расплывались красные разводы. А со стороны гор, неуловимые глазу, уже стлались над пустынной равниной тени сумерек.

— Пойдем к воде, — предложила Таня.

Спустившись вниз, держась за руки, они побрели вдоль воды, тихо, любовно шепчущей что-то. Молчали, прислушиваясь к всплескам одиноких купающихся, к учащенным глухим ударам движка, к шопоту влюбленных. На камне, четко вырисовываясь на фоне потухающего света, сидели двое, тесно прижавшись друг к другу; жен-

щина размеренно кидала камешки и прислушивалась к их звонкому щелканью по воде.

Дошли до старого причала, где укрывались в грозу, постояли. Здесь все замерло, обьятое безмолвием.

— Вот и кончился срок, — произнесла Таня, с грустью оглядываясь на покинутые мостки, на камни, зеленоватые от лунного света, вздохнула: — И в Москву тянет, соскучилась очень, и расставаться не хочется.

— Поедем вместе? — быстро и решительно предложил Антон. — Я уже отдохнул, честное слово. Неделя как-то осталась...

— Нет, нет, — запротестовала она. — Это неумно — уезжать раньше времени. Неделя отдыха здесь много значит. А у тебя впереди большой год. Поеду одна... А когда соберешься — не забудь дать телеграмму, встречу. — И улыбнулась ему. — Отдыхай, милый... Подожди немножко, я искупаюсь напоследок, — попросила Таня.

— Только не заплывай далеко, — предупредил Антон, присаживаясь на теплый камень. Он с изумлением смотрел, как она, войдя в воду, поплыла, вся в фосфорических светящихся блестках: взмахнет рукой и выплеснет россыпь огненных капель.

Через полчаса, проводив Таню, Антон возвращался в свой мужской корпус. Пересекая аллею, он увидел, как отделилась от ствола дерева и вышла на лунный свет человеческая фигура. Антон узнал в ней Семиёнова. За все время пребывания в санатории они не перекинулись ни единым словом, не встречались взглядом, — Семиёнов проходил мимо с неприступно и презрительно приподнятым подбородком. Теперь он стоял, преградив Антону путь, чуть покачивался, руки засунуты в карманы брюк, губы плотно сжаты, волосы откинута назад, а по большому шишковатому лбу растекались бледные отсветы.

— Вот... уезжаю, — заговорил он медленно и хрипловато, — и хочу сказать вам на прощанье, что вы — грабитель...

— Что с вами, Иван Матвеевич? — примирительно сказал Антон. — Шли бы вы лучше спать...

— Спать?! — удивленно спросил тот, скупно и как бы с трудом разжимая рот. — Я не сплю с того дня, как вы появились здесь. Разве вы не знаете об этом? Была у меня одна надежда в жизни, вы отняли ее, ограбили меня. Зачем вы приехали сюда? Вам мало других девушек?

Зачем вам эта? Вы человек примитивный, ваш интеллект в зародыше, а она нежный цветок: вы сломаете ее, даже не заметите как...

Глядя на эту длинную, размахивающую руками фигуру в белом, на черную, покачивающуюся тень от нее на цветах, Антон вдруг обозлился:

— Убирайтесь вы к чорту!

Семиёнов, как бы протрезвев, отступил в сторону, вытянулся и произнес декламационным тоном:

— Уступаю! Иди, дитя коллектива, герой на один сезон! Несчастный...

Антон повернулся, чтобы ответить, но Семиёнов, подаваясь вперед, уже пересекал залитую лунным светом аллею.

Глава седьмая

1

— Как хорошо, что все это разрушилось и ты не связала своей судьбы с Иваном Матвеевичем, — проговорила Елизавета Дмитриевна. — Один неверный шаг, и было бы плохо всем: тебе, потому что ты все равно не смогла бы его полюбить; ему — чувствуя себя нелюбимым, он тоже страдал бы; а Антону — тому совсем было бы горько. Да и мне не сладко: видела бы все это и мучилась, считая себя злодейкой.

Таня с нежностью прижалась плечом к ее плечу, усмехнулась с лукавством:

— Ага, переживаешь! Так тебе и надо — не навязывай другим своей воли. Ты считаешь меня глупенькой, думала, что я так и кинусь в воду, не попробовав ее хоть одним пальчиком. А я, оказывается, стреляный воробей — сообразила... Вот я какая!

Женщины сидели в сквере, со всех сторон замкнутом стенами высоких домов. Елизавета Дмитриевна занималась рукоделием, Таня, отложив книжку и раскинув руки вдоль спинки скамеечки, смотрела на блекнущее небо. Августовский день медленно истлевал, красные закатные лучи зажгли окна верхних этажей, стекали с крыши неслышными золотыми ручьями. Веяло предвечерней прохладой, но каменные дома источали тепло, создавая духоту.

Елизавета Дмитриевна, отложив на колени вышиванье, распрямила спину, вытянула ноги и, разглядывая

вышитые ею яркие цветы и листья на белой, туго натянутой материи, тихо спросила:

— Антон очень настаивает на женитьбе?

— Что ты! — быстро отозвалась Таня, и румянец медленно зажег ее щеки; носком туфельки она старательно вычерчивала узор на песке. — Он очень смиренный при мне, стеснительный... Он ни за что не осмелится сказать мне об этом...

— А ты и не спеши, — посоветовала Елизавета Дмитриевна поучительным тоном, привычно входя в роль заботливой опекуны. — Пусть потомится, крепче любить будет... Присмотрись к нему за это время, как он поведет себя, не изменится ли... Навек ведь сходитесь... А парни пошли избалованные...

Таня засмеялась:

— Опять поучаешь! Пока я присматриваюсь и выжидаю, он возьмет да женится на другой. А тебе опять страдать за меня.

— Любит, так не женится, — сердито сказала Елизавета Дмитриевна, склоняясь над вышиванием. — А женится — туда ему и дорога: значит, показное все было, не настоящее.

Таня обхватила ее за плечи, ткнулась лбом в висок ей, прошептала:

— Не сердись. Я ведь пошутила. И видимся-то мы с ним урывками, мимолетно: недавно встретила, гляжу — глаза хоть и ласковые, но беспокойные, озабоченные: все мысли его там где-то — в цеху, в бригаде...

Стосковавшись по молоту, по горячему металлу, загорелый, пышущий здоровьем, сверкая белозубой улыбкой, Антон штамповал детали как бы играючи, испытывая опьяняющую дрожь во всем теле. К концу дня руки, плечи, спина приятно ныли от усталости, как в давние времена, — сказывался месячный перерыв. Сарафанов едва успевал кидать ему заготовки. В первые же дни выработка бригады резко повысилась, хотя в летние месяцы, в жару, когда кузница превращается в настоящее пекло, темпковки заметно ослабевал.

И хотя с Татьяной удавалось встречаться редко, урывками, Антон всегда ощущал — куда бы ни шел, что бы ни делал, с кем бы ни говорил, — она незримо стоит за его спиной, теплая, нежная, неутомимо внимательная, и это придавало ему сил и смелости.

Ему никогда не забыть момента встречи его с Таней, когда он возвратился с юга. Он стоял в вагоне у окна и с нетерпением и беспокойством вглядывался в толпу встречающих, глазам больно было смотреть от напряжения и пестроты женских нарядов. Всю дорогу он гадал: придет она или нет? Хотелось, чтобы пришла, она сама обещала, — он уехал из санатория на день раньше, чтобы поехать в Москву в воскресенье. За окном мелькали незнакомые улыбающиеся лица, кто-то уже махал рукой... Где же Таня? На какую-то секунду взгляд остановился на ее лице — Антон нашел бы ее среди тысячной толпы. Он схватил чемодан и начал пробиваться к выходу. Когда-то он завидовал другим: их провожали, встречали, торопливые поцелуи перемежались заботливыми словами, обещаниями, тоскующими взглядами. Теперь пусть завидуют ему, — его пришла встречать Таня, лучшая из женщин!..

Таня стояла среди толпы в легком сиреновом платье, с букетиком цветов; увидев прыгнувшего с подножки Антона, она улыбнулась и несмело махнула ему рукой. Он подлетел к Тане, ему хотелось поцеловать ее, но он не решался, — казалось, что все люди смотрят на него. Тогда она поцеловала его сама и поднесла цветы; Антон утопил в них лицо, вдыхая аромат, потом вернул обратно. Мимо них проходили пассажиры и встречающие; они стояли в этой толчее, обменивались незначительными словами, — какая там на юге погода, как ехалось, что нового в кузнице? — а глаза спрашивали и говорили другое — о любви, о тоске, о радости свидания... Они не замечали, что платформа давно опустела.

Прошла неделя после того, как Антон приступил к работе. Старший мастер Самылкин, распаренный, будто расплывшийся от жары, в синей майке-безрукавке под запахнутым халатом, устало и неторопливо обойдя нагревательную печь, остановился у окошка, пальцем поманил его к себе. Приподняв кепку, он вытер платком шею, затылок и проговорил прерывисто, с одышкой:

— Володя Безводов просил зайти к нему. Видно, разбирать тебя хотят... Гляди, парень...

Антон знал, что скоро начнется комсомольское собрание, которое должно дать ему рекомендацию в партию.

Прошло семь лет жизни в комсомоле, жизни беспокойной, горячей, неутомимой, и собрание это как бы под-

водит под его юностью итоговую прощальную черту. Прощальную ли? Антона охватило волнение. Он видел перед собой устремленные на него юношеские глаза, пристальные, внимательные и доверчивые, и повторил про себя: «Как бы ни сложилась дальнейшая моя судьба, куда бы она меня ни завела, я навсегда сохраню любовь к комсомолу: он вывел меня, деревенского парнишку-сироту, на широкую дорогу и сказал: иди. Эта дорога привела меня в партию...»

Ребята проголосовали единогласно. Даже Олег Дарьин приподнял руку, хотя тут же убрал ее, и председатель собрания Сидор Лоза придирчиво спросил:

— Дарьин, ты «за» или «против»? Как-то непонятно ты голосуешь...

Тот вскинулся и крикнул:

— Может, обе руки поднять?..

После собрания Антон направился прямо к Полутенину. Волнение еще не улеглось, и, подгоняемый им, он почти бежал.

Фома Прохорович только что вернулся с огорода и умывался, низко наклонившись над раковиной; Мария Филипповна, сторонясь брызг, стояла поодаль с полотенцем через руку, ворчала:

— Эко, лужу какую наплескал...

— Фома Прохорович дома? — спросила Антон Марию Филипповну.

— Дома, — отозвался кузнец и вышел в прихожую, вытираясь. Внимательно взглянув Антону в лицо, он спросил, понижая голос: — Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего особенного, — ответил Антон, садясь на диван. — Комсомольское собрание у нас сейчас было... Ну, вот... рекомендацию мне дали в партию.

— А говоришь — ничего особенного, — осуждающе протянул Фома Прохорович, причесываясь у зеркала. Он сел рядом с Антоном, опустил руку на его колено. — Это — особенное, главное... Это случается в жизни один раз, так же как рождение.

Антон опустил глаза.

— Хочу просить у вас... не дадите ли мне вторую рекомендацию?..

— А ты как думаешь? Дам или нет? — Антон в затруднении пожал плечами; кузнец улыбнулся: — Дам, ко-

нечно, дам, сынок!.. Кто же тебе другой должен дать, если не я?

С тех пор как отец Антона ушел на войну, ни один человек не называл его таким ласковым именем: «сынок». Он сглотнул подкатившийся к горлу комок и прошептал сдавленно:

— Спасибо...

— Себя должен благодарить. Другому кому, быть может, и не дал бы, а тебе и задумываться не стану — дам. Знаю: не подведешь ты меня, к хорошему идешь. Не наблюдателем будешь в партии, а храбрым бойцом, строителем. — Фома Прохорович встал, попросил жеману: — Маша, принеси, пожалуйста, чернильницу, ручку и бумагу. Возьми у Оленьки. Вот мы сейчас и напишем, — сказал он Антону, сел за стол и разгладил ладонями ска-терть.

2

В конце августа Антон принес секретарю партбюро заявление, рекомендации, автобиографию. Алексей Кузьмич просмотрел документы, сколот их скрепкой, вложил в папку на столе и, прихлопнув ее ладонью, сказал, что разбирать их будут после выходного. Затем, передвинув чернильный прибор, пресспапье, ручку, пепельницу, как делал всегда, прежде чем начать важный и щекотливый разговор, зажег спичку и долго прикуривал трубку, пока весь не окутался дымом. Антон сидел у стола и ждал, втиснув руки между коленами.

— Что же ты не расскажешь, как отдыхал, доволен ли, счастлив? — с шутливым упреком заговорил Алексей Кузьмич.

Антон улыбнулся в ответ:

— Времени никак не выкрою, Алексей Кузьмич, честное слово. Приехал — прямо к молоту. С одним освоишься, другое встает...

Фирсонов подождал, словно прислушиваясь к ударам молотов в цехе, мягкими, глухими толчками сотрясавшим здание: крышечка чернильницы на мраморе мелко вибрировала, издавая едва слышные звуки.

— А как мы отдыхали, вам, наверное, известно и без меня, — прибавил Антон. — Спасибо, что поддержали тогда...

Алексей Кузьмич задумчиво побарабанил пальцами по столу, пожаловался:

— Я вас поддерживаю, а мне за это влетает...

— От кого? За что?..

Алексей Кузьмич выдвинул ящик, достал напечатанное на машинке письмо, подал Антону:

— Вот почитай... анонимное. В три высокие инстанции подано. Под копирку.

Антон читал письмо, задыхаясь от изумления и гнева. В письме рассказывалось о том, как секретарь партбюро Фирсонов из личных соображений и выгод выдвигает на первые места своих любимчиков, фаворитов, например Карнилина, посредственного штамповщика; создает им авторитет, всякие блага, прославляет, а хороших, но неугодных ему работников, как, например, Дарьина, затирает, отодвигает на задний план и всячески поносит...

Антон с отвращением швырнул листок.

— Фу, чорт, мерзость какая!..

— Гляди вот, как кусают исподтишка, в темноте, — сказал Алексей Кузьмич, пряча письмо обратно в стол. — Укусил и в норку — ищи его! Хоть и не больно укусил, а ходи, разбирайся, наводи справки, расследуй, где ложь, где правда... Сколько лишних волнений, тревог, времени... А ему что, анониму этому, прохвосту: состряпал, запечатал в конверт и кинул в ящик — разбирайтесь, мол. И потирает руки, небось, ухмыляется, что прибавил людям хлопот, осложнил жизнь.

— Лишать гражданства надо таких, — сказал Антон убежденно.

— Если бы эти люди знали, что их обнаружат, то они — трусы по природе своей — ни за что не писали бы. В том-то и беда, что они живут среди нас, мы пожимаем им руки при встрече, улыбаемся и ничего не подозреваем. Невидимки!

Антон зашагал по кабинету, гневно сжимая кулаки, и с горечью, злостью и досадой подумал о том, как высокие человеческие помыслы и стремления подмываются грязным течением людской низости.

— Как же так? — размышлял он вслух. — Ведь аноним этот знает, что пишет неправду, а пишет? Кто он, как вы думаете?

— Не будем гадать, чтобы не оскорбить подозрениями честных людей, — сказал Алексей Кузьмич и положил трубку перед собой, чубуком на мраморную плитку чернильного прибора. — Партийное бюро разберет, даст оценку... Сядь. Поскольку в этом письме затронута фигура Дарьина, давай обсудим его: он у нас и в самом деле на заднем плане, в хвосте, а кузнец-то он стоящий, а?

— Ну и что?

— Надо его выручать.

— Выручайте, я не препятствую.

— А ты?

— Меня это не касается.

— Ты сядь, сядь, — попросил парторг мягко. — А я вот думаю, что именно тебе надо взяться за него и вытаскать.

— Вы шутите, Алексей Кузьмич!

— Нет, Карнилин, я не шучу, — сказал Фирсонов. — Ты о цехе думаешь? Ты хочешь, чтобы кузница была на хорошем, на первом счету?

— Хочу. Сам буду работать за троих! Но тянуть Дарьина — ни за что! С какой стати? Да, может, именно он и написал это поганое письмо... А я ему помогать должен? Не буду!

Алексей Кузьмич вспылал, стукнул по столу ладонью:

— Не смей! Это тоже подло — обвинять человека по догадкам! А не хочешь помогать — заставим!

— Не заставьте. Любить или не любить человека — нельзя заставить. Поняли? И я не буду заниматься Дарьиним. Не хочу — и ушел.

Алексей Кузьмич поморщился, вздрагивающей рукой взял погасшую трубку, раскурил, затянулся дымом, успокаиваясь и ругая себя за то, что неправильно повел себя с этим парнем, не с той стороны подошел. Если с ним поговорить по-хорошему, растолковать ему, попросить, он ни в чем не откажет.

Теперь Антон избегал встреч с Фирсоновым, опасаясь, что он опять заведет речь о Дарьине, — видеть Олега было противно, не только помогать ему.

Но вскоре Антон оказался невольным участником судьбы Дарьина.

Это произошло на общем цеховом собрании при распределении жилплощади в новом доме. Красный уголок был доотказа набит людьми: жилье — самая острая и

волнующая проблема кузницы, поэтому здесь толкались и те, кто надеялся получить ордер, и те, кто не надеялся на это, и те, кто вообще не нуждался в квартирах, но «болел» за друзей, знакомых. Собрания эти были длинными, бурными, со страстными спорами и речами.

Вместе с другими разбирались и заявления Саляхитдинова, Карнилина и Дарьина. Камиль получил комнату одним из первых и до конца собрания сидел сияющий и радостный и доброжелательно голосовал за всех. Карнилин и Дарьин претендовали на комнату в двадцать два метра. По существующим в цехе условиям первая очередь на получение площади принадлежала Антону Карнилину, как лучшему штамповщику, и голосованием комната эта закреплялась за ним. Дарьину же оставалось ждать второй очереди, когда отстроится новый корпус, ждать долго, может быть год, а то и больше.

Гришона толкнул Антона локтем в бок, негромко и с восхищением воскликнул:

— Получил-таки!.. Везде успеваешь, — и прибавил разочарованно: — Вот и разъедемся...

Антон не ответил ему. Он видел, как Дарьин, побледнев, стиснув зубы так, точно хотел сдержать крик, и на щеках образовались и закаменели бугры, а у Насти по лицу поползли красные пятна, губы обиженно и страдальчески дрогнули, глаза налились слезами. Антону вдруг до боли стало жалко эту терпеливую и работающую женщину, и неожиданно для себя он произнес:

— Дайте мне слово. — На него оглянулись, стало тихо. — Я прошу комнату эту дать в первую очередь Дарьину. Я — одинокий, живем мы вдвоем с Гришоней Курёнковым, в хорошем доме... Я могу еще подождать... А Дарьины живут за городом, в общежитии барачного типа... У них скоро появится младенец, ему условия нужны больше, чем мне, честное слово... Вот я и прошу сообразные откликнуться на эту мою просьбу...

Председатель цехкома снова поставил вопрос на голосование, и комната была передана Дарьиным.

Судорожно работая локтями, Настя протолкалась сквозь плотную массу тел к Антону, всхлипывая, обхватила руками его шею, прижалась губами к его щеке и выбежала. А позже, на лестнице, проходя мимо Антона, Дарьин задержался и, как бы с трудом разжимая губы, произнес хриловато:

— Спасибо.

— Не стоит.

Забываясь о судьбе своей прессовщицы, Антон хотел спросить Олега об отношениях его с Барохтой, но понял, что такой разговор неуместен здесь, и стал спускаться по ступенькам.

Марину Антон увидел сам в первый день занятий в школе.

Учеба началась с неожиданных встреч, с крепких и горячих рукопожатий. Парни и девушки сбивались в группы, обменивались впечатлениями о проведенных каникулах, о домах отдыха и санаториях. Антон сидел за своей партией и рассказывал о море, когда в классе появилась Марина Барохта. Она задержалась в дверях, оглядываясь; под черной тучей бровей грозными зарницами вспыхивали глаза; решительно направляясь к Антону, небрежно бросила портфель на парту.

— Мне нужно сказать вам два слова, — проговорила она и отошла к окну; а когда Антон приблизился, спросила с презрительной иронией: — Это вас должна я благодарить за те наговоры, которые доставили мне столько хлопот? Как вы, Карнилин, докатились до этого?

— Не наговоры, а правда, — ответил Антон мягко и не сразу. — Вы должны понять, что это требование не только мое, а всего комсомольского бюро. Оно имело какие-либо результаты?

— Вас это интересует?

— Да.

— Мне записали выговор по комсомольской линии, — отчеканила она отдельно и как будто с гордостью. — Довольны?

— Был бы доволен, если бы это повлияло на ваше поведение.

— Нет, не повлияло, — выговорила она с вызовом и резко оторвала листок от цветка в горшке на подоконнике.

— Значит, вы будете продолжать... мучить людей? — спросил Антон, сердито глядя на ее матовое лицо, преисполненное какой-то недоброй и упрямой отваги. — Я имею в виду свою прессовщицу.

— Жену Олега Дарьина? — Она недружелюбно откинула со щеки густые пряди волос, усмехнулась коротким

горловым смехом.—Я сказала ей, что в нем больше не нуждаюсь...

— Отслужило свой срок или потеряло ценность? — поинтересовался Антон, невольно возмущаясь каждым ее словом.

Не слушая его вопроса, сощурившись, растирая в пальцах сорванный листок, она произнесла убежденно и со злорадством:

— Олег поначалу произвел на меня впечатление волевого человека, а на самом деле это глина: лепи, что хочешь, а мне противно лепить... не в моем это вкусе.

— Сломать, разрушить легче, конечно, и вы достигли успеха. Олег перестал учиться, забросил работу, плохо обращается с женой.

— Последствия меня не интересуют. — Марина поморщилась. — Перед женой его я извинюсь. Я только тогда, на вечере, во время скандала и узнала, что Олег женат: он долго скрывал...

— Я знаю, что в каждой женщине есть что-то доброе, материнское, — сказал Антон, — а в вас я вижу, простите, много варварского. Где вы родились, где росли?

— Где я и что я, вы все равно не поймете. — Брови девушки сомкнулись в одну черную линию, придав лицу что-то смелое, стремительное, а губы тронула горькая усмешка. — Но если в жизни есть такие, как вы — удачники, счастливицы, то должны быть и такие, как я...

— Нет, таких не должно быть.

— Но они есть! — вызывающе сказала Марина и, бросив в окно измятый листок, брезгливо вытерла испачканные зеленью пальцы платком. — И не будем больше говорить об этом. К вам подходит какая-то девушка из новичков. — И отодвинулась за классную доску, к группе ребят.

Антон повернулся: перед ним стояла Люся Костромина.

С тех пор как ее перевели в другой корпус, они виделись очень редко и мельком. Антон был изумлен.

— Люся! Как вы сюда попали?

Лицо ее свежо и смущенно румянилось, суженные глаза смеялись.

— Подучиться захотелось: лучше поздно, чем никогда. — И прибавила, кокетливо тряхнув локонами: — Вот

мы и опять вместе. Это судьба! Я ведь говорила вам, что от меня нелегко отделаться...

— Вот убейте меня, Люся, если я думал, что буду когда-нибудь сидеть с вами за одной партой!

— Я тоже не думала... Где вы сидите? Рядом места нет? Ну, тогда я сяду сзади вас.

Прошел год, как Люся Костромина поступила в цех. Вставая каждый день в семь утра и в шесть вечера возвращаясь домой, она поняла, что такое работа, узнала, как зарабатывается копейка, чтобы купить кусок хлеба... Работа, суровая дисциплина кузницы и глубокое чувство любви к Антону преобразили ее. Как далека она была от той, прежней Люси, девушки-мотылька! Остались разве что смех да бойкое, острое слово. И теперь вот ее никто не гнал учиться — сама пошла.

Раздался звонок. В класс вошел Дмитрий Степанович, положил на стол папку и, окинув взглядом редко посаженных по партам учеников, проворчал: «Маловато!..» После второго урока выяснилось, что учитель математики не пришел, и группу распустили по домам. Сбежав с крыльца, Люся остановилась подождать Антона, — она не может больше оставаться в неведении, не может больше гадать, надеяться. Она выяснит все. Костя Антипов, неизменный ее поклонник, сказал ей, что Антон помчался за Олениной, когда она уехала к морю. Но возможно, что это не так, возможно, ошибся Костя или слишком стусил краски, ревнует ее. Где-то в глубине души оставалась еще надежда на взаимность, — ведь она неплохая девушка, красивая, ведь она первая его, Антона, любовь.

— Поедемте в город, — предложила она, глядя на оранжевое половодье заката. — Мне бы хотелось с вами поговорить...

— О чем?

Люся звонко и немного принужденно засмеялась:

— Ишь, какой хитрый!.. Так я вам сразу и скажу. Поедем, побродим... Быть может, там и поведею.

Антон согласился. Они миновали бульвар, спустились в метро и доехали до станции «Белорусская».

В сгущающихся сумерках, на фоне угасающего заката, бронзовый Горький посреди площади вырисовывался отчетливо, простой и по-рыцарски мужественный. За углом начиналась улица его имени. Сразу во всю ее длину вспыхнули цепочки фонарей. Заколебались, замелька-

ли автомобильные огоньки: справа — красные, слева — белые, зеленые...

Сияли затейливые вензеля реклам, отовсюду слышались гудки машин, шипение покрышек по асфальту, говор и смех празднично настроенных, нарядных и оживленных людей. Антон и Люся были вовлечены людским потоком в самую стремнину улицы.

Пересекая площадь Маяковского, они увидели вдали на углу дома гипсовую фигуру девушки; сумрак скрадывал не совсем изящные ее формы, даже серп и молот, пелепо вложенный в ее руку скульптором, не был заметен. Сейчас создавалось впечатление, что она летит ввысь, тянется до звезды, крупной и яркой, горевшей над площадью Пушкина.

Разнообразные звуки жизни вечерней улицы точно вихрем оведали Люсю. Ей нравилось идти рядом с Антоном, спокойным, сильным, улыбающимся, и она безмолву болтала, острела, влюбленно заглядывала ему в лицо.

— Люблю Москву до самого последнего закоулочка!.. Видите, красный венчик зажегся в небе? Это на шпигеле высотного дома на Смоленской. — Помолчав немного, она спросила тем же тоном: — Кто эта девушка, с которой вы разговаривали, когда я подошла к вам? Она похожа на амазонку, смелая, горячая, будто только что спрыгнула с коня после стремительной скачки.

— Да, — согласился Антон неохотно, — красивая... Она фрезеровщица.

На площади Пушкина они свернули налево, в сквер. Возвышаясь над молодыми, окружавшими памятником липами, поэт стоял, печально склонив голову, как бы прислушиваясь к веселому говору людей. За спиной его рвались вверх упругие струи фонтанов; переливаясь через края огромной вазы, ниспадали в бассейн тяжелые, шелковые ленты воды, пронизанные розовыми, зелеными, фиолетовыми лучами.

Люся подвела Антона к бассейну, дуновение ветра заносило в лицо прохладную водяную пыль. Она вспомнила фонтан во Дворце культуры... У нее тоскливо сжалось сердце. Коснувшись подбородком плеча Антона, она спросила вкрадчиво, шопотом:

— Ты еще любишь меня, Антон?

Антон не пошевелился, только лицо меняло выражение от падавших на него ответов:

— Не поздно ли спрашивать об этом?

— Нет, не поздно. Ведь ты любил меня, ты сам говорил мне об этом.

— Когда это было — помните? Да, я любил вас...

— Большая любовь не проходит...

— Прошла, Люся, — помедлив, признался он. — Вы принесли мне много огорчений тогда, много боли... Но спасибо вам, Люся, за то, что вы заставили меня обозлиться на себя...

Люся отстранилась от него, произнесла с раскаянием:

— Тогда я была девчонкой, ничего не знала, не видела... — И, не находя отклика в нем, она поникла, сжалась и прошептала: — Не любит... — Повернулась и медленно побрела прочь, вышла из сквера и затерялась в толпе.

Последние два месяца комплексной бригадой руководил Константин Антипов; он знакомил Антона с вновь поступившими предложениями. Заявок было много, среди них попадались дельные, глубоко продуманные, были и пустячные, технически безграмотные. Антипов сказал, что Олег Дарьин придумал интересную комбинацию своей поковки, но предложение подал прямо в общецеховую бригаду, Семиёнову.

Антипов выглядел обеспокоенным чем-то, говорил торопливым и изредка срывающимся голосом, стараясь не смотреть Антону в глаза. Только тут Антон заметил и отчетливо осознал, что технолог сильно изменился, казалось, он давно забыл о своей солидности и покровительственно-небрежном тоне в обращении с товарищами. Сбросив с себя несвойственную ему личину, он стал более естественным, движения выдавали юношескую, непосредственную порывистость, горячность. От его прежнего облика сохранилась лишь ровная ниточка пробора, разделявшая волосы; даже курточку со вставной кокеткой надевал редко. Зато взгляд его сделался каким-то растерянным и печальным. Часто, обрывая шаг, он внезапно останавливался и как бы чутко прислушивался к той драме, которая разыгрывалась в его душе. Он жил под тяжестью каких-то неразрешенных и мучительных дум.

Сейчас Антипов волновался потому, что не знал, как начать разговор на другую тему. Отодвинув папку с чертежами и пояснениями к ним, он молча выписывал на

газете треугольнички и заштриховывал их. Антон ждал.

— Спросить тебя хочу, — сказал Антипов, все еще не подымая глаз. — Я знаю: ты честный парень, прямой... и товарищ хороший... Скажи мне, только открыто, прямо, чтобы я сразу понял и не рассчитывал бы, не думал... Ты любишь Люсю Костромину?

Озадаченный вопросом, Антон взглянул на часы:

— Неподходящее время выбрал ты для таких разговоров, честное слово.

— Выдохся я, — сознался Антипов и улыбнулся как-то просительно. — Терпение иссякло... А знать — вот как надо! Понимаешь?..

Антон не осуждал его, наоборот, Антипов вызвал в нем сочувствие и какую-то глухую тоску — было время, когда он сам мог бы так же вот спросить другого, лишь бы избавиться от гнетущих раздумий и мучений.

— Она очень хорошая девушка, — сказал Антон. — Но я не люблю ее.

Антипов нагнулся к Антону, поспешно и обрадованно зашептал, точно боялся, что тот раздумает и скажет другое:

— Скажи ей об этом... Чтобы она знала и не надеялась. Понимаешь, три года хожу за ней, будто прикованный. Ей это нравится. Она как осенний день: то солнце светит, то дождь идет.

— Я сказал ей, — Антон встал и вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он слышал, как Антипов говорил вроде бы в шутку:

— Вы вместе учитесь, ты часто видишь ее... Скажи ей, — нельзя же так издеваться над живым человеком. Нельзя же водить его за нос...

3

Олег Дарьин влетел к Ивану Матвеевичу Семиёнову и спросил кратко и отрывисто:

— Разобрали?

Этим вопросом он доводил старшего конструктора до изнеможения. Семиёнов понял, что не с тем человеком связался. Выйдя из-за стола, он застегнул халат на все пуговицы, возвысил голос:

— Удивительный вы челсзек, Дарьин: не проходит дня, чтобы вы не пришли и не спросили. Неужели только вы один в цехе? Есть и другие, кроме вас...

Точно приготовившись к прыжку, Олег подобрался весь, напрягся, побледнел, искра в глазу вспыхнула не добрым блеском.

— Мне нет дела до других, — сминая в руке кепку, произнес он сдержанно. — Меня интересует мое предложение. Два месяца прошло. Рыжухин только что подал, а его предложение уже приняли. Почему?

— Не ваше дело, — неожиданно для себя огрызнулся Семиёнов. — Подали и ждите. Кузница не остановится без вашего предложения. Придет время — разберем. — И подумал, с неприятною глядя на Дарьина: «Тоже, видно, хорош гусь, под стать Карнилину — те же повадки. А я почему-то всегда стоял на его стороне, сочувствовал. Как свойственны человеку заблуждения!»

Олег резко повернулся и ушел, а Семиёнов с трусливым беспокойством решил: «Жаловаться побежал...» — и пожалел о своей несдержанности: «Надо сегодня же разобрать его заявку».

Возможно, в этот момент Дарьин со всей отчетливостью понял, как необходим был ему комсомол, и остро пожалел, что отстранился от ребят: они не дали бы его в обиду. Мрачно шагая вдоль корпуса, он столкнулся с Елизаветой Дмитриевной Фирсоновой.

— Что с тобой? — спросила она, видя его в таком состоянии. — Откуда ты?

Он промолчал, намереваясь пройти мимо. Елизавета Дмитриевна не пустила:

— Объясни толком, что случилось?

— Призываете всех думать, изобретать, а сами маринуете по два месяца, — Олег злобно ткнул пальцем за спину себе, в сторону двери.

— Кто маринует?

— Да этот ваш блаженный-то, Семиёнов.

— Это мы выясним, — решительно сказала Елизавета Дмитриевна. — Сегодня же.

— Тянет, тянет... И чего тянет, не могу понять! — раздраженно говорил Олег. — Не подходит — сказал бы прямо, подходит — принимай.

И вечером, когда бригада собралась в комнате Семиёнова, Елизавета Дмитриевна строго потребовала с бригадира:

— Где предложение Дарьина?

— Вот оно, — Семиёнов с готовностью подал ей листок. — Я только что хотел поставить его на обсуждение.

— Почему же вы так долго держали его?

Семиёнов в затруднении пожал плечами, улыбнулся:

— Я не делаю никому предпочтения.

— Два месяца прошло. Здесь число написано, глядите...

— Да что вы, Елизавета Дмитриевна! — изумленно воскликнул Семиёнов. — Я не ожидал, что вы такого мнения обо мне. Вы меня просто смущаете... Неужели вы думаете, что у меня только и дела, что копаться в этих бумажонках! — Он отпихнул от себя пухлую папку, листки рассыпались по столу. — Неужели таков мой удел? Вы меня и за инженера уж не считаете, а за какого-то канцеляриста. У меня, слава богу, основной работы в отделе по горло. Да лекции на курсах мастеров. А по линии месткома сколько дел да трепки нервов? Пощадите! Чтобы найти одну жемчужину, знаете сколько надо, простите, навоза переворoshить? Вы даже не представляете, сколько понатащили всяческой ахинеи!..

— Выходит, что навоз на стол, напоказ, а жемчужину нашли и прикарманили, — заметил Самылкин весело. — Хорошо!

Семиёнов обиделся:

— Я прошу не разговаривать со мной в таком тоне, Василий Тимофеевич. Я никому этого не позволю. Если мои действия не нравятся, вы можете ставить вопрос о моем отстранении. Я не слишком держусь за этот высокий пост, вы об этом знаете.

Фома Прохорович и старший мастер Самылкин непонимающе переглянулись, удивляясь такому началу заседания.

— Ладно, — как бы соглашаясь с Семиёновым, сказала Елизавета Дмитриевна тем же твердым и требовательным тоном. — Покажите все предложения, какие у вас есть.

Семиёнов торопливо застегнул халат, оскорбленно и с вызовом взглянул на старшего технолога, рывком выдвинул ящик, схватил папку, кинул ее перед собой, к ней положил отдельные, законсервированные им предложения и все это пододвинул Елизавете Дмитриевне. Сам он демонстративно отошел от стола и, прислонившись спи-

ной к стене, скрестил на груди руки, как бы говоря: «Посмотрим, что вы без меня сделаете...»

— Вы ведете себя несолидно, товарищ Семиёнов, — заметил ему Фома Прохорович.

Иван Матвеевич вышел и, угнетенный думами, оскорбленный, долго и недвижно сидел в соседней полутемной комнате, облокотившись на стол. Он чувствовал в душе зияющую пустоту, будто у него отняли что-то важное, возвышавшее его, и жгуче сожалел об этом.

Потом Семиёнова позвали к Алексею Кузьмичу. Парторг в беспокойстве передвинул предметы на столе, не глядя на вошедшего, заговорил угрюмо и осуждающе:

— Думал, что большое и горячее дело встряхнет тебя, собьет пыль, которой ты покрылся от долгого пребывания в дремоте. Ошибся... Раскаиваюсь. Ничем, видно, не оживишь тебя. Оказывается, ты сам, и с успехом, можешь любое живое дело похоронить.

— Алексей Кузьмич, — прервал его Семиёнов, прижав руку к груди, — уверяю вас, это ни больше ни меньше как недоразумение. Выслушайте меня... Предложения задерживались и раньше, это было в порядке вещей.

— Что было раньше, то прошло и нам не подходит... Нам больше нравится, что будет впереди. Выходит, критиковать-то легче, чем создавать? На порицания и критику вы мастер, а вот самому дать что-нибудь дельное и полезное у вас пороку не хватает, да и желания нет. Вы все хвастались, что к работе относитесь честно и глубоко... стараетесь. Вот мы и измерили вашу глубину... Не больно велика она, глубина-то ваша. — курица вброд перейдет. С рабочими разговариваете по-вельможному, свысока: необразованные-де люди и туда же — в изобретатели лезут! Лишний ты в жизни человек, Иван Матвеевич, такая разновидность традиционного литературного типа, ныне выродившегося. Соглядатай какой-то бесстрастный...

Семиёнов сидел бледный, осунувшийся. Выдержав паузу, он вскинул голову, чтобы возразить парторгу, но в комнату вошли Антон и Володя Безводов. Кузнец был в хорошем костюме, в нарядной рубашке и галстук. Встретив тут Семиёнова, ребята переглянулись и отодвинулись в сторонку.

— Я думаю, вы ошибаетесь, Алексей Кузьмич, вынося мне столь жестокий приговор, — огорченно заявил

Семиёнов и со свистом сквозь зубы втянул в себя воздух. — Человек — явление неразгаданное: сегодня он один, завтра — недостижимо другой. И рискованно выносить о нем окончательное решение. Как бы опять не пришлось раскаиваться...

— Нет, не придется, Иван Матвеевич, — ответил Алексей Кузьмич спокойно и твердо. Он приблизился к окну. «Как же это я? Столько лет встречался с человеком и не смог распознать? А ведь он мне нравился — острота, оригинальность мысли, обо всем свое суждение, можно поговорить, поспорить... Это привлекает. А поди, разгадай, что у него внутри! Не скоро проникнешь существование настоящее прикрыто красивыми словами. И случается, что выявляется оно слишком поздно... Трагически поздно».

Алексей Кузьмич повернулся к комсомольцам, заботливо спросил:

— Что у вас?

— На конференцию идет, — сказал Володя Безводов, кивнув на Антона. — Пришли посоветоваться — выступать ему там или нет.

— Обязательно выступать. — И, обращаясь к Антону, Алексей Кузьмич подсказал: — Доложи о начавшемся патристическом движении молодежи нашего завода. О своем труде скажи, о мечте, о будущем — своем и своих товарищей... полным голосом... В общем ты найдешь, о чем сказать... Основные мысли запиши на бумажку, чтоб не сбиться. Иди, а то опоздаешь к открытию.

4

До Дома союзов, где проходила третья Всесоюзная конференция сторонников мира, Антона провожала Таня Оленина.

Поглощенные работой, учебой, выполнением общественных поручений, они встречались не часто и урывками — в цехе, в комсомольском бюро. От этого и встречи были особенно волнующими, полными какой-то затягивающей радости, тоски и тревоги.

И сейчас, задержавшись на углу возле Дома союзов, они как бы замедляли расставанье. Стоять было холодно. отовсюду сквозило, студёный ветер нес редкий и сухой снег, сметал его с голых мостовых, белыми крошками стелил возле тротуаров, и люди мелькали мимо с поднятыми воротниками, пригнувшиеся.

— Замерзла. Беги скорее домой, — сказал Антон, глядя на Таню и поеживаясь от стужи. Она ответила, кивнув на подъезд, куда один за другим входили делегаты конференции:

— Интересно, наверно, будет...

— Хочешь, я приду и расскажу?.. — предложил он и почему-то смутился.

— Приходи, — не сразу согласилась она, опустив глаза и пряча улыбку в воротник шубки. Проводив ее взглядом, Антон отворил дверь и вошел в здание. Раздевшись, он поднялся на второй этаж.

Здесь было торжественно и сверкающе, в фойе и в зале среди массивных мраморных колонн находились делегаты — ученые, писатели, рабочие, артисты, колхозники. Многих Антон узнавал по портретам. На отворотах костюмов поблескивали золотые медали, ордена. Огромные хрустальные люстры наполняли зал ровным праздничным светом, множество голосов сливалось в единый приборный гул. Прямо перед глазами на красном бархате сияли слова, повелительно-суровые и непреклонные: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира».

Наступила тишина, на трибуну взошел человек с седой головой и стал докладывать об итогах сбора писателей под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между пятью великими державами.

Во время доклада Антон написал записку с просьбой предоставить ему слово. Отослав ее в президиум, он лишился покоя: любая поза, которую он принимал, казалась ему неудобной. Он вынимал из кармана листки и в десятый раз перечитывал свою речь, укладывая в памяти слова и фразы. Вспомнил о Тане. Она ждет его, думает о нем: сидит, наверное, с ногами на диване и слушает трансляцию по радио.

В перерыв Антону вручили телеграмму от Сарафанова. Он прочитал ее и радостно улыбнулся.

Начались выступления делегатов. Только что кончил говорить академик, заключительные слова его потонули в шуме аплодисментов, и вслед за тем Антон услышал:

— Слово предоставляется кузнецу московского завода товарищу Карнилину!

Антон не заметил, как очутился в проходе, разделявшем зал пополам, и, бледный, сосредоточенный, сдержанными шагами приблизился к эстраде, взбежал на трибуну. Окинув взглядом залитый сиянием зал, плотные ряды людей с добрыми и внимательными глазами, почувствовал, что душевное волнение вытеснилось уверенностью и смелостью.

— Коллектив нашего завода, — начал он наизусть заученную речь, — прислал меня сюда, на эту конференцию, чтобы во весь голос заявить: все наши помыслы, все чаяния, все действия устремлены к одному — сделать наше государство еще более могущественным, непобедимым. Народы мира знают: будет могучим Советский Союз — мир на земле обеспечен. Все находящиеся в этом зале люди видели великолепные, прочные и мощные автомобили. Они сделаны на нашем заводе. И мы гордимся, что эти машины помогают людям строить и жить. Промышленность без металла мертва, в звонкой стали заключена частица нашего счастья и благополучия. И комсомольцы и молодежь нашего завода начали патристическое движение за экономию этого драгоценного металла. Только один наш завод даст более двадцати тысяч тонн лучших сортов стали и других металлов — получай, Родина, наши сбережения! Сейчас, находясь здесь, я получил телеграмму от своего помощника, комсомольца Ильи Сарафанова, который на эти дни заменил меня у молота. Встав на вахту в честь происходящей конференции сторонников мира, он выполнил норму на двести пять процентов!

Аплодисменты прервали речь Антона.

— В битве за мир молот наш бьет сильно, надежно и безостановочно! Но если нас вынудят поджигатели войны, мы встанем у пушек, и великий строитель и защитник мира — родная Коммунистическая партия покажет нам цель, куда бить! Мы отстоим мир... честное слово!

Сопровождаемый аплодисментами, Антон сошел с кафедры, стараясь усмирить в себе возбуждение, но щеки долго еще не могли остыть.

После закрытия заседания Антон быстро оделся и вышел на улицу. Ветер не переставал, сквер перед Большим театром обновленно белел, плотно покрытый снегом.

Таня встретила Антона ласково, с затаенной радостью, которая светилась у нее сквозь пушистые ресницы. Была она по-домашнему тихая и, казалось, смущенная чем-то, крепко кутала плечи и грудь в шерстяной платок, движения были мягкие и осторожные.

— Озяб, наверно? — спросила она негромко. — Садись, чаю налью. Я слушала по радио, как ты говорил... Хорошо, — похвалила она. — Видно, выучил наизусть... Мне почему-то бывает совестно, когда люди читают речи по бумажке и запинаятся. А ты говорил хорошо, прямо с ратор... — и улыбнулась, не поднимая глаз.

...Они сидели на диване рядышком, редко и неохотно прерывали молчание, заполненное светлыми и волнующими думами. Настольная лампа под синеватым абажуром освещала комнату лунным полумраком. Сидеть было тепло и уютно. Наконец Антон пошевелился, промолвил:

— Надо успеть на метро...

Таня встала, подойдя к окну и отогнув занавеску, взглянула: на улице в отвсетах фонаря наискось чертили воздух падающие снежинки.

— Ветер, снег... Куда ты опять в холод пойдешь... — Она произнесла это тихо, как бы проверяя свои мысли. — Оставайся здесь... — И, повернувшись, взглянула на него тревожно, строго и гордо. Он приблизился к ней, полный неизяснимого и великого чувства. Обнявшись, они стояли посреди комнаты долго, безмолвно, не дыша.

Вместо эпилога

И снова весна...

Антон разбудили телефонные звонки, — он спал после вечерней смены. Соседка, должно быть, ушла в магазин, к телефону никто не подходил, а вставать не хотелось.

«Вот прицепился кто-то! — с недовольством думал Антон сквозь сладкую дремоту. — Пусть его: позвонит-позвонит, да и отступится — догадается, что никого нет дома».

Но звонки не прекращались, настойчивые, пронзительные и какие-то захлебывающиеся. Делать нечего — пришлось подыматься. Сняв трубку, Антон услышал то-

ропливый и возбужденный голос Тани: она просила его немедленно приехать в кузницу.

— Что-нибудь случилось?

— Да, случилось; — ответила Таня. — Ты очень нужен. Приезжай скорее.

Антон с недоумением постоял возле телефона: что бы могло произойти?

Быстро одевшись, Антон вышел на улицу. Медленно занималось хмурое мартовское утро, небо нависло над самыми крышами домов, неприветливое, мглистое; косо и стремительно падали редкие снежинки и, коснувшись асфальта, тут же таяли; в холодноватом воздухе, едва внятный и волнующий, чувствовался аромат мимозы: мохнатые кусты ранних весенних цветов желтели в палатках и у цветочниц на углах улиц.

Взволнованный голос жены, как бы продолжая звучать в ушах, заставлял Антона торопиться. Пройдя в завод, он поднялся к Володе Безводову — там было пусто. Громкие и неразборчивые голоса слышались из партбюро. Здесь Антон застал Безводова, Фирсонова, Фому Прохоровича, Самылкина, Таню и еще многих знакомых. Все они были чем-то взбудоражены, шумны.

При появлении Антона все смолкли, выжидательно и с любопытством поглядели на него. Володя Безводов, шурша газетой, рванулся было к Антону:

— Спишь и не знаешь, что произошло!

Но Володю остановил Фома Прохорович. Старый кузнец подступил к Антону и, кашлянув, сказал торжественно:

— Для нас, Антон, сегодня великий день: нам с тобой присудили Сталинскую премию. Володя, подай газету.

Безводов ткнул пальцем в обведенное чернилами место. Опять все примолкли, с интересом наблюдая за кузнецом, пока он читал и перечитывал коротенькие строчки. Рядом с именами рабочих других заводов Антон увидел фамилию свою и Фомы Прохоровича, пробежал глазами заключительную фразу: «За коренное усовершенствование производственной работы».

Потом Антон шагнул к Полутенину и крепко обнял его.

— Спасибо вам, Фома Прохорович, за все, — сказал он глухо и повернулся к Фирсонову. — И вам, Алексей

Кузьмич, спасибо... И вообще спасибо людям, товарищам...

— Премия дана тебе в самом начале твоего пути, — сказал Алексей Кузьмич. — Она обязывает тебя не останавливаться на месте, а идти вперед, искать новое... Я рад за тебя. Поздравляю!

Василий Тимофеевич удивленно всплеснул руками.

— Пришел мальчишкой, нагревальщиком. Давно ли я, гляди, парень, ругал тебя, на черную страничку заносил? А теперь — лауреат Сталинской премии, все равно что академик или народный артист какой!.. Ай-яй, что делается в мире!..

Антон приблизился к окну, взглянул на плотно сомкнутые ряды корпусов, на трубы вдали... Снег перестал. Над заводом в разорванных облаках голубыми прогалинами сияло радостное небо, прогалины ширились, синева обнимала пространство все больше, и от этой синевы или от внезапно нахлынувших, теснивших грудь чувств было необыкновенно ясно вокруг. И Антон как бы увидел на миг путь свой, недлинный, но беспокойный, вспомнил отца, когда тот уходил на войну, его последние слова: «Помогай матери, сын. Работай, не ленись. Полюбишь работу — всего в жизни добьешься, чего пожелаешь, работа все тебе даст...» Вспомнил ремесленное училище, где получил первые навыки в труде... Увидел мать, когда она читала известие о гибели отца... Потом приезд сюда, на завод, первые свои шаги, первые поковки... Здесь вступил в партию. Здесь обрел свое счастье — Таню, жену, товарища, спутника...

Антон круто повернул голову. Таня стояла рядом, глаза ее ласково и нежно лучились.

— У меня нет слов, чтобы сказать, как я люблю тебя, Таня.

Она чуть прислонилась плечом к его плечу, прошептала:

— И я...

* * *

Прозвенел капелью апрель, остался позади Первомай, — город был обтянут кумачом, будто пожаром занялся. Возглавляя праздничное шествие демонстрантов, Антон в группе знатных людей столицы прошел по Красной площади мимо Мавзолея, сопровождая знамя Москвы...

Дни проносились стремительно, заполненные работой, подготовкой к экзаменам, семейными заботами. Но весенняя настроенность, ощущение взволнованности не покидали Антона: он жил, как бы озаренный чем-то.

В один из майских дней Антон и Таня вышли из дому, направляясь в партком завода. День был теплый и девственно чистый, на фоне синего неба акварелью легко рисовались очертания зданий; все вокруг молодо зеленело и тянулось к солнцу; в сквере перед Большим театром яблони раскинули белые цветущие ветви, легкий ветерок нес нежнейший аромат лепестков. Свежей листвою шелестели липы.

— Как хорошо-то, Антон! — повторяла Таня, подставляя лицо ветру.

Они спустились в метро и доехали до завода.

Проходя мимо детского сада, откуда слышались звонкие детские голоса, Антон увидел возле калитки женщину, которая, присев, обнимала девочку лет четырех. Женщина эта показалась Антону знакомой. Вот она распрямилась, и Антон узнал ее: это была Марина Барохта. Она чуть отступила в смущении, точно ее уличили в чем-то. Воспользовавшись заминкой, девочка убежала к своим подружкам.

Антон невольно приостановился.

— Здравствуйте! — он улыбнулся и, обращаясь к жене, сказал: — Познакомься, Таня: это Марина Барохта, мы сидим в школе на одной парте. А это — моя жена...

— А мы как будто знакомы, — ответила Марина. — Во всяком случае, я вас давно знаю.

— Да, мы нередко встречались... — подтвердила Таня. — Мне нравилось глядеть на вас, на ваше лицо... И дочка в маму пошла, красавицей будет...

— Так вы замужем? — удивленно спросил Антон.

Марина молча потупила глаза, покраснела и ответила отрывисто:

— Нет, я не замужем.

— Кто же ее отец? — вырвалось у него.

— Есть такой... — Марина тряхнула волосами и прямо взглянула в лицо Тани. — Иван Матвеевич Семиёнов, если вас это интересует.

— Не может быть! — прошептала Таня. — Как же так?..

— Да так уж вот... — горько усмехнулась Марина. — Я и не заметила, как он ко мне подобрался... Слова говорил — точно цветами осыпал... И я поверила: девчонкой была... А цветы-то оказались бумажными, фальшивыми... А дочка у меня замечательная, радуюсь на нее... — И Антон впервые увидел, как осветилось ее лицо трогательной, мягкой и счастливой улыбкой. Как бы спохватившись, Марина заторопилась и ушла вслед за дочкой к ребятишкам.

— Вот оно что... — проговорил Антон в раздумье; шагая рядом с ним, Таня отозвалась:

— А мы часто осуждаем, не разобравшись в человеке, не заглянув в его душу...

В парткоме Таня осталась в приемной, а Антон прошел в кабинет. Секретарь вышел из-за стола навстречу кузнецу и, пожав ему руку, подвел к креслу. У стола сидел и Алексей Кузьмич Фирсонов.

— Ты знаешь, зачем мы тебя вызвали? — спросил секретарь парткома. Антон отрицательно покачал головой.

— Готовься к большому путешествию, — весело произнес Алексей Кузьмич.

— В Китай выезжает советская делегация. Центральный комитет профсоюза решил послать человека с нашего завода. Назвали тебя... Мы согласились. — Секретарь парткома помолчал и прибавил: — Находясь в далеком Китае, помни, что ты гражданин Советского Союза, знаешь, как у Маяковского сказано? Помни, что ты рабочий одного из крупнейших заводов столицы... Можешь собраться быстро?

— Могу.

— Тогда иди, собирайся.

Антон вышел из кабинета вместе с Алексеем Кузьмичем. На вопросительный взгляд жены почти прокричал:

— Таня, я еду в Китай!

Выйдя из парткома, они втроем не спеша направились к бульвару. Здесь сели на скамеечку.

— Это невероятно, товарищи! — возбужденно воскликнул Антон. — В какое время живем, Алексей Кузьмич! Совсем недавно, кажется, только вчера я был мальчишкой-нагревальщиком. А теперь еду в Китай. Простой парень, кузнец, а едет в великую древнюю страну передавать опыт и учиться... Что делается в мире! На-

роды стали учиться друг у друга. И чему? Как лучше и легче трудиться, как быстрее и лучше создавать, строить, как легче жить... Это же невероятно, честное слово!

Через два дня Антон с делегацией вылетел в Китай. Таня провожала его до аэропорта. Было еще рано. Из-за дальнего леса взошло солнце, на огромном зеленом поле заблестели капельки росы. Тихо шагая по траве, Антон улыбнулся и спросил примолкшую жену:

— Будешь немножко скучать обо мне, думать?

— Я все время буду с тобой. — Глаза у Тани были большие, любящие, чуть грустные.

Антон поцеловал ее и решительно направился к самолету.

Взревели моторы. Самолет тронулся с места, вышел на стартовую дорожку, потом, разбежавшись, оторвался от земли и стал медленно подниматься. С каждой минутой, удаляясь, он все уменьшался и уменьшался, будто таял в безоблачной синеве, и Таня, не спуская с него глаз, едва слышно и растроганно шептала:

— Счастливого пути!.. Счастливого пути!..

